

05
0-52
000-178305

Октябрь

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
Ж У Р Н А Л

1943г.

10

ГОСЛИТИЗДАТ

1943

МИКОЛА БАЖАН

Харьков, 1943

Здесь каждая стена — свидетель славы,
Здесь каждый дом — родной, любимый,
свой.

Кровавых лап немецких след кровавый
Со стен своих святых навеки смой!

Везде еще чернеют вражки трупы,
И где-то рядом длится жаркий бой.
Но праздника серебряные трубы
Уже гремят победно над тобой.

Священны вы, победных труб раскаты.
Ваш великий голос юношески нов.
Вас слышат Минск, и Киев, и Карпаты.
И Черноморье, и высокий Львов...

Тебе открылся свет освобожденья,
Хотя еще гремит орудий гром.
Ты был борцом, не знавшим примиренья,
Был пленником, но вовсе не рабом...

Ты ведал горе и не знал покоя,
Ты был всегда на истинном пути
И ждал прихода воинов-героев.
Ты знал: они не могут не прийти.

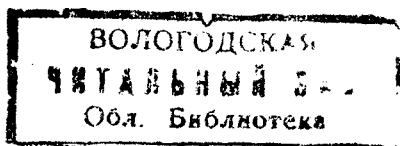
Они прошли по огненному полю,
А воля их сильна, — прочней, чем сталь.
И с харьковского неба солнце воли
Всей Украине озаряет даль.

Ты поднял ныне красные знамена,
Твоя земля еще в дыму, в крови,
Своих сынов ты знаешь поименно,
На новый подвиг их благослови.

Мужай в борьбе, и в гордости, и в чести.
Мы шли к тебе, родимый. Мы пришли.
Сияй звездой в негаснущем созвездьи
Свободных городов родной земли.

*Перевод с украинского
ЛЬВА ОЗЕРОВА*

ЖС-178305



Иван Суханов

В ночь темную-претемную, грозящую бедой,
Идет Иван Суханов, разведчик молодой.

За ним его товарищи в ночь темную идут,
Гранаты, автоматы их нигде не подведут.

Летит в глаза Суханову лишь ночь со всех сторон
Де горла песен у него, а петь не может он!

Безмолвна тьма нависшая, лиха ее стезя,
Как много слов к товарищам, а высказать нельзя!

Нельзя сказать, нельзя сказать, промолвить не спеша,
В каком саду, каким огнем горит его душа!

Молчи, Суханов, здесь враги подстерегают нас
Плзи, Суханов, в добрый час, ползи в недобрый час!

Здесь каждый шаг твой стерегут — с лесов, с болот, с высот,
...Бьет пулеметная струя, и люди видят дзот,

И жмут разведчиков к земле смертельные огни.
Пятьсот мгновений или семьсот — не считаны они!

Сейчас зальется свора вся, залает наугад...
«Ты у меня замолкнешь, гад, сейчас замолкнешь, гад!»

Суханов крикнул.

И вперед, на пять прыжков вперед,
И в амбразуру, как в окно, он очередь даст.

И все же лает пулемет, и все ж он не замолк,
И пышет желтым фосфором на человека волк.

«Тогда прощай, Россия-мать, прощай Россия-мать,
Ведь за тебя, прекрасную, не страшно умирать!»

Прощайте, кровные друзья, кто дорог, люб я миз!» —
И амбразуру черную он грудью заслонил.

И льется кровь геройская, как алая заря,
И бьют волков богатыри за кровь богатыря!

Не убежишь, щетиня шерсть, нет, врешь, не убежишь,
Нет, вместе с тысячей волков, как падаль, полежишь.

А нас, Сухановых, не смять, не выбить, не сломать,
Живи, живи, Россия-мать, цветы, Россия-мать!

Пропал без вести

Поэма

1

Корчилась, вздрагивала дубрава,
Судорогой исходило пламя,
Будто металась слева и справа
Пегухи с отрубленными головами.

Здесь, посреди тишины и воя
Возле воронки лежали двое.

Вполз муравей одному на щеку,
Камнем поваяло незнакомо.
Лапки раскидывала широко,
Медленно он перешел к другому,
И деловито скользнув над ухом,
Лоб миновал, побегал на брови,
Черными усиками разнюхал
Свежий и приторный запах крови.
Только хотел залезть под ресницы,
Начали веки чуть шевелиться.
Открылись глаз голубые раны,
Взрывом отброшенная на тропинку,
Каска валялась с дырою рваной,
А из дыры торчала травинка.
Странно — еще не заметно боли.
Тихо и сладко уходят силы.
Стал он будить товарища: «Коля,
Коля, вставай, просыпайся, милый!»
Руки раскинув, лежал послушно...
Коля в небо смотрел равнодушно,

Вдруг не виденье ль: сбоку дороги,
Перед собой держа автоматы,
Как на плапу поднимая ноги,
В легких шинелях идут солдаты.
Близко, не больше чем метров двести...

Раненый замер рядом с убитым:
Видишь, товарищ, мы снова вместе,
Снова шинелью одной укрыты!..
Лоб освежает росы остуда...
Наши войска отошли отсюда.

Значит и жизнь отошла по шляху,
Чтоб ее гибель не окружила,
И окровавленную, как плаху,
Землю под голову положила.
Солнце теперь уступает мраку...

Он застонал, револьвер свой тронув:
Утром три раза водил в атаку,

И в барабанах уж нет патронов,
Значит и в смерти своей неволен.
Отдан во власть подступившей боли.
Был ты всегда молодым да ранимым,
Рано и встретился с умирающим.

2

Говор, похожий на дребезг жести,
Лязг амуниции, шаг военный.
Нет у тебя ни жизни, ни чести,
Ты не мертвец еще, только пленный.
Ты щебетал октябреньком в школе,
Детство повязывал красной косынкой,
Вольную юность провел в комсомоле,
В партию принят на фронте физском.
Жизнь молодую прожил недаром
В русском просторном и светлом доме.

...Отброшенный коротким ударом
Валяешься на гнилой соломе.
Рядом сапог, подкованный грубо,
Пояс и фляга, приклад отвесный.
Встал часовой и свистит сквозь зубы
Легкий мотивчик солдатской песни.
Точно сошедший с наших плакатов,
Сложен солдат из серых квадратов.

Был ты веселым, горячим, смелым,
Был заводила и запевала.
Только не дрогни перед расстрелом,
Чтобы убийце холодно стало.
Пленный, полнятый новым ударом,
Чувствуя привкус железа и серы,
Вышел под солнце — тяжелый, старый,
Бурый от крови, от горя серый...
Нет, не стреляют. Ведут куда-то.
Ноги ступают по мягкой пыли.
Раненых русских клалут солдаты
В высокооборотные автомобили.
Брежут с баки — деревня справа.
Медом запахло — должно быть поле.
Шелест деревьев — это дубрава,
Да заметенная ветром воля,
Стонут товарищи на ухабах,
Кровь проступает сквозь перевязки.
Ветер качает угрюмых, слабых,
С лицами пыльными, словно маскл.

Мало ль, что может случиться в жизни —
Выстой, выдержки, зубы стисни!

Насколько помню, на этом месте
 Была птицеферма. Прошло немного
 С той милой поры, как пропавший без вести
 Ехал на эжке этой дорогой.
 Птичьи загоны и пыль простора,
 Гомон индюшек, базар куриный.
 Рядом с собой посадив шофера,
 Сидел он за круглым рулем машины.
 Его увлекало это движение,
 Послушность руля на пути покатом,
 И он следил за своим отражением
 В маленьком зеркале продолговатом.
 На фоне дороги, в мельканье скором,
 В зеркале, словно ждали участия,
 Глаза, как синие солнца, которым
 Выпало видеть начало счастья:
 Юность далекого Комсомольска,
 Светлые линии Днепростроя,
 Красную площадь, рассвет московский,
 Крымские мраморы в час прибоя.
 Дорога струилась плавно,
 И проплывали в белом овале
 Губы, которые так недавно
 Пели, смеялись и целовали.

По этой дороге, под флагом пыли
 Шагают сегодня темные каски,
 Мчатся широкие автомобили,
 Серостальной, нерусской скраски.
 В гладкой французской малолитражке
 Сидит офицер в высокой фуражке.
 В зеркальце прыгает отражение
 Глаз водяных, наблюдавших спокойно,
 Как умирают поля и селенья,
 Как над Европой взрываются войны,
 Смотревших на дымный пазор Парижа,
 Видевших сломанные границы.
 Вот он глядит, надменный и рыжий,
 На раскаленный загон для птицы,
 Где, оплетенные смертью сонной,
 Лежат у кормушек, зловонных и горьких,
 Пленные красноармейцы в темных,
 Кровью пропитанных гимнастерках.
 Думая когда-нибудь ты о плене,
 Как о судьбе, о своем страданье?
 Нет! — как о подлости, об измене,
 Что ж ты найдешь теперь в оправданье?
 Стынет в пыли полумертвое тело.
 Сдавлено сердце болью туною.
 Родина! Родина! Что мне делать?
 Может быть я виноват пред тобою?
 Только скажи мне одно хоть слово,
 Только скажи — не молчи, не надо!
 Пусть оно будет, как смерть, сурово,
 Твой приговор — для меня награда.

Низко клубится, нависла тучей
 Пыль над пылающей жертвенкой,

Стонет за проволокой колючей
 Родина в шрамах колес немецких.

Пленный устало смежил ресницы:
 Нет, все равно уже не подняться.
 И начинается такое сниться —
 Если бы вовсе не просыпаться:
 Шла ты дорогой цветов навстречу,
 Вся золотая, в том самом платье.
 Птицы садились тебе на плечи,
 Мир открывал для тебя объятья.
 Снился ему карнавал веселый —
 Это видал перед смертью каждый.
 Только проспунелся он: голод! голод!
 Рот словно каменный: жажда! жажда!
 Помнишь ли ты холодную воду?
 Ею улицы в городе поливали,
 С сиропом яблочным и крем-содой
 Около Пушкина продавали;
 Целые реки текли. Купаясь,
 Если нам в рот она попадала.
 Фыркали, брызгали и плевались,
 Что ж мы тогда ее пили мало?
 Вдоволь ведь можно было напиться!
 Что ж мы не выпили в прошлой жизни
 Все ручейки, родники, криницы,
 Капли росы, дождевые брызги?

Рапы набухли, опухли, стали
 Твердыми от воспаленного зноя,
 Черную марлю уже пропитали
 Желтозеленые пятна гноя.
 В тысячу раз бы мне больше боли,
 Голода, жажды, — но только воли!

4

Было воскресенье. В этот день
 Дали дохлую конину жрать.
 Шаткими зубами стала тень
 Посиневшие волокна рвать.
 На бугор потом согнали всех.
 Вышел голенастый офицер —
 Оглушительный немецкий смех,
 И углы презренья на лице:
 «Песню русскую хотите спеть?
 Это будет спято для кино.
 Можете не петь колючею. Но...»
 И крутнул резиновую плеть.
 Шло волной молчанье по рядам,
 Плеть вилаась, как серая змея.
 Песню? Нет, я песню не отдам!
 Ни за что не дам! Она моя!
 Песню дать, чтоб после солдатня
 Гоготала, слушая ее,
 Чтoб клубок расплавленного дня
 Превратился в мирное житье,
 Чтoб жена того, кого штыком

Не успел я во-время согреть,
Шла в кинематограф вечерком
Покоренных русских посмотреть?
День пылал, как доменная печь...
Но плечам дубинки стали жечь,
Но сердечному велению вторя,
Вдруг открылся чей-то черный рот:
«По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед».
Переводчик вскрикнул: Перестать!
Песня стихла, а потом опять,
Песню дальше, под руки вели,
Стигнув кулаки, сменив ряды.
Только слезы по щекам текли,
Оставляя светлые следы.
Выстрелы. Короткий свист свинца.
Запевала медленно упал.
Но допели песню до конца,
Дохрипели те, кто умирал.

5

Кровавое солнце ушло за гору,
Ветер принес дуновение сада.
Как ты мила, даже в нашем горе.
Вечера меденная прохлада.

Стали сползаться, стали шептаться:
«Даром нас что ли земля носила?
Ночью сегодня пора подниматься
Нас ведь немало, мы тоже сила.
Пальцами всех часовых задупим,
Боль не погибнем, то к нашим выйдем!»

Кто ж в себе вырастил черную душу,
Кто же подполз, подслушал и выдал?
Лагерь обставили пулеметы,
Голос залаял в радиорупор:
«Не смей вставать, кому не охота
На этой земле оставаться трупом!
Кроме того, как германцам известно,
Пленные спрятали комиссара.
Кто выдаст его, сегодня же, честно,
Получит за голову двести марок».
Комиссар — врага леденящее слово,
Строгое имя людей из стали.
Не знаю, тебя или кого другого
Именем этим они назвали.

Товарищи, так вот она стоит сколько,
Твоя бедовая и молодая,
Твоя расколотая осколком,
Твоя с недавней поры седая,
Где сохранился, горяч и жарок,
В лоб или висок понелуй нежовкий, —
Все продается за двести марок,
Все покупается по дешовке!

Продали! Между лежащих пленных
Ходят угромо солдаты. С ними

С черным лицом, как шакал презренный,
Ходит предатель и шепчет имя —
Уж не твое ли? Мое! Я вижу,
Я по движению губ заметил.
Ближе подходят. Подходят ближе.
В страхе отшатывается ветер.
Может быть мне отползти?
Но поздно.
Спящим мне что ль притвориться?
Будят...
Ночь эта будет прохладной, звездной,
Только меня уже в ней не будет.
«Эй, комиссар, поднимайся, что ли!»
К твердой земле прилипают люди.
Я медленно встал и, скривясь от боли.
Прямо в глаза посмотрел иуде.
Надо запомнить его навеки,
Как он стоит, опустивши веки,
С яблоком в потной руке зажатым,
Рядом с ослабившимся солдатом.

...Я никогда комиссаром не был,
Не был я вражьей грозой — чекистом,
Только я рос под советским небом,
Ясным, как русское сердце чистым.
Только за это, только за это
Завтра я не увижу рассвета.
Чтож, если так, пусть я нынче стану
Всем, что они ненавидят яро,
Стану чекистом и комиссаром,
Стану я мстителем неустанным.
Это рождает силу и твердость,
Это моя последняя гордость.

Вывралось — «Халт!» из солдатской насти.
Смертник с друзьями простился тихо.
«Дай вам удачи, друзья, по несчастью,
Не поминайте, ребята, лихо».
И повели. Под ногами камень
Мягким казался, когда в дороге
Били прикладами и кулаками
Немцы, мордатые, как бульдоги.
Но не склонись, не поддайся ударам —
Они ведь считают тебя комиссаром.
Пленный замедленно и устало,
Как заводной, принимал побои.
Вышли из лагеря. Ночь настала.
Землю окутала в голубое.
Как хорошо в этом мире сонном,
Пахнущем медом и повилжикой!
Был ли когда-нибудь ты влюбленным,
Думал когда-нибудь о великом?
Будешь расстрелян ты по приказу —
У одного из солдат бумага.
Странный порядок — стрелять не сразу —
Метров пятьсот еще до оврага.
Вдруг он почувствовал, что мчится
В ночь, в темноту, никуда не глядя.
Плечи расправив, летит как птица...

Выстрелы хлещут клутами сзади.
Дальше ползком, в волдырях крапивы,
Вдоль по оврагу, путем обходным.
Не задохнуться б таким счастливым,
Не умереть бы — таким свободным!

6

Выгнав кез на золотом рассвете,
К явнякам, где ручеек бежит,
Увидали маленькие дети,
Что в овраге человек лежит.
С почерневшею рукой разбитой,
С красною от крови головой,
Очень бледный, только не убитый,
Шевелится — до сих пор живой.
Он, наверное, бежал из плена,
Вывался недавно из беды.
Опустившись на одно колено,
Девочка дала ему воды.
Пил он так, как будто бы впервые
Освежала рот ему вода,
Будто капли серебра живые
Не глотал он в жизни никогда.
Он лежал, печально в небо глядя,
И спросила девочка его:
«Ой, наверно очень больно, дядя?»
Человек ответил: «Ничего!» —
«Подожди, я сбегая до мамы,
Так лежать ведь тяжко на земле». —
Головою замотав упрямо,
Застонал: «А немцы есть в селе?» —
«Нету!» — «Ну, тогда беги, дочурка,
Только лоб водою мне омой». —
Меж деревьев проскользнувши юрко,
Побежала девочка домой.
Он лежал, к земле прижавшись ухом,
Слушал утренний далекий гул.
Одуванчик сероватым пухом
К обескровленной щеке прильнул;
В тень оврага пропустили лозы
Два широких солнечных луча.
Возле ручейка ходили козы,
Легкими копытцами стуча.

Мать пришла и встала, пригорюпясь.
Тридцати еще не будет ей.
Словно улетающая юность —
Черные раскрытия бровей.
Головою закачала мерно,
Подала пшеничный хлеб и сыр
И спросила: «Командир наверно?»
И беглец ответил: «Командир!» —
«Если можешь встать, пойдем до хаты,
Отдохнешь и перебулешь тут.
Дай нам бог, немецкие солдаты
В наш куток и вовсе не зайдут».

Помогла подняться, и обходом,
Гумнами, сквозь шаткие плетни,

Садиком вишневым, огородом
Очень медленно прошли они.
Голова, как раньше, не дрожала,
И земля была ногам легка.
В обессилевшей руке лежала
Жесткая крестьянская рука.
...На кровать прищельца уложила,
По полу рассыпала поlying,
Печь сухой соломою протопила,
И по хате потекла теплынь.
Через час начальник начал бредить,
Канул в лихорадочную тьму,
Злые сны, как черные медведи,
Разрывали голову ему.
Бороздили судороги тело,
Вырастало пламя на стене,
И шаги вчерашнего расстрела
Раздавались в гулкой тишине.

Сколько суток не спала хозяйка
Около кровати беглеца,
Детскую рассказывала байку,
Песню без начала и конца:
«Мой наверно тоже где-то ходит,
И твоя наверно тоже ждет...»
Истово молилась на восходе,
От учительки послала йод
И червей из рапы выпимала
Пальцами. «Терпи и не кричи!»
А потом с ухватом колдовала
Около пылающей печи.
Но страшлась беда. В вечернем мраке
Фуры громыхнули тяжело,
Яростно залаяли собаки:
Немцы снова въехали в село.
Поздно прятаться. Ввалились в хату
Два солдата, развалив покой,
Оглядели полки воровато
И к кровати: «Это кто такой?» —
«Это муж. Пришел он издалече, —
Отвечала, сдерживая дрожь.
— На дороге бомбой искалечен,
Больше никуда уже не пож».

Немец хапал молоко и мясо,
Пил сырые яйца, как хорек,
А потом от похоти затрясся,
И к себе он женщину привлек.

«Окаянный, при живом-то муже!»
Ненавистью немца обожгла,
Косу темную свернув потуже,
Молча рядом с пенником легла.
Немцы развалились по перинам,
Затворивши двери на засов,
Храном пережатистым, звериным
Заглушая тиканье часов.

Надрывалась над вишневым садом
Словья певучая душа.

Женщина лежала с пленным рядом,
Незнакомой теплотой дыша
И шепча: «Не убивай их, милый,
Ветерки, не век продлится ночь.
Я б сама ножом их порешила,
Только знаешь — у меня ведь дочь.
До тебя не допущу беду я,
Примиришь же с мукою такой».
...До рассвета голову седую
Гладила шершавою рукой.
Он не спал. Солдаты встали рано,
Покопались в сундуках, ушли.
От волненья разболелась рана,
Стены пред глазами поплыли...
Женщина ушла локоть корову,
Закрывая хусткою лицо.

Одеяло сняв рукой здоровой,
Встал беглец и вышел на крыльцо.
«Что ж, хозяйка, вот и ходят поги,
У тебя я поднабрался сил.
Напеки мне пышек для дороги,
Не сердись, что долго потостил».
Глянула глазами молодыми,
Прошптала быстрые слова:
«Приходи скорее со своими,
Может буду я еще жива».

Кем была ты, Вербина Христина?
Деревенской женщиной простой?
Милою крайной — Украиной?
Сказкой счастья? Вечной красотой?

7

Ветер изменчив — то в спину, то в грудь,
Снова рассвет золотой и чудесный.
Путь беглеца — нескончаемый путь,
Что не украшен ни словом, ни песней.
Ноги распухшие колет стерня,
Смерть поджидает за каждым пригорком.

«Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой».

Друг бы тебя не узнал нипочем:
Косоворотка в лиловую краску,
Торба пустая висит за плечом,
Заячья шапка скрывает повязку.
Нет ни тепла, ни покоя нигде —
Выдадут, скажут, заметят, услышат.

Можно бы спать на пшеничной скирде,
Если б не жадные черные мыши:
Тишь деревенскую рвут на клочки
Хрустом, вознею и писком нестройным.
Зря не расскажут примет старики —
Черные мыши сопутствуют войнам.
Помниться будет тебе и во сне
Рек серебро в черноземной оправе,
Как умирает закат на Десне;
Как созревают сады на Полтаве;
Как нестерпимо под солнцем горят,
Кровоточат незажившие раны.
Все-таки счастье пришло. — Говорят, —
В этом овраге живут партизаны.
Он их искал среди пыльных дорог,
В темных ночах и предутренней рани,
Так ищет разбитый корабль — островок
В бушующем океане.

Вышел навстречу костлявый старик,
Облик его показался знакомым:
Сельский, да видно науку постиг,
Был он бухгалтером или агрономом.
«Кто ты такой и откуда бредешь?» —
Трубочку выбив, спросил он степенно. —
«Ты на солдата совсем не похож...» —
«Я командир, убежавший из плена». —
«Трудно поверить. Ну что ж, докажи,
Что ты здесь жлешь, что боронишь и сеешь.
Хочешь, партийный билет покажи,
Может еще документы имешь?» —
«Я без сознания валялся в пыли,
В час, когда наши полки отступали,
Видно решили, что умер — ушли,
Все документы с собою забрали.
Только поверьте, примите в отряд,
Буду до смерти служить беззавестно».
Грустный, а все же не ласковый взгляд
Из-под бровей покачнулся ответно.
«Вот тебе сала хороший кусок,
Хлеба захочешь — и хлебом поможем.
Солнце покажет пути на восток.
Прямо иди, только будь осторожен.
Если ты Родину посетишь в груди,
Выйдешь к своим, повоюешь на славу.
Так мы не можем привать. Уходи!
Сам понимаешь — немисливо, право!»

Снова полей бесконечный простор.
Тяжко дыша, словно в гору крутую,
Пленный влачил по земле свой позор —
Заячью шапку и торбу пустую.
Где-то есть армия, где-то Москва.
Дом. Комнатунка с рисунками брата...
Что же с Москвою — жива? Не жива?
Может быть немцы идут по Арбату?
В селгах — подобия страшных ворот,
Черные трупы висят на веревке...

Часто стирая струящийся пот,
Взглядом пытливым ты ищешь листовки.
Вот она! Втоптана в грязь сапогом.
Господи, как ты схватил ее жадно!
В ней ведь о самом твоём дорогом.
Том, что уйти не могло безвозвратно.
Прыгают перед глазами слова:
«Русские люди, боритесь и ждите!»
И долгожданная подпись:
«Москва».
Значит незыблема, значит жива,
Ты вместе с нею — и ты победитель!

После, когда мы шагали вперед,
В дни сталинградской святой эпопеи.
Свой сорок первый трагический год
Я вспоминал, ни о чем не жалея.
Если ты выдержал, если ты мог
Верить в победу под дулом винтовки,
Честь твоя, втоптана в землю дорог,
Не умирала подобно листовке.

Снова сухое пылание дна,
Снова овраги, долины, пригорки,
«Хлебом кормили крестьянки меша,
Марни снабжали махоркой».

8

Поле цветущей розовой гречки,
Пчел несмолкающая работа,
И темносиние человечки
Возле игрушечного самолета.
Это увидел вдали бродяга
В заячьей шапке, худой, небритый,
Вылезший только что из оврага,
Где он до полдня спал как убитый.
Что это? Сон, беглеца томящий?
Образ, рожденный воздушным током?
Нет, самолет стоит настоящий,
С красной звездой на хвосте высоком!

Пчел и цветов первобытный хаос.
И дюралюминиевое сверканье!
Он побежал, побежал, здыхаясь:
Снова вступив с судьбой в состязанье.
Он иступленно кричал: «Товарищ!»
Падал, потом поднимался снова.
Эхо вдали отвечало: «...варись».
Глупое эхо — лесное слово!

Нет, не услышат. Лишь ветер холодный
С криком его по степям помчался.
Может быть чучелом огородным
Летчикам издали он казался?

Медом от гречки тянуло сладко,
Черные руки вытер механик.
Кончилась вынужденная посадка,
Дрогнул мотор, затаив дыханье,
И заревел. И пошла стелаться
Гречка под ветром неукротимым.
И побежала по полю птица.
Солнце обдав синеватым дымом.
Пленный за ней, стремительней мысли,
С сердцем, стучащим, как бубен, несся.

Но над землею уже повисли
И затянулись в крыло колеса.
Так что он видел блики металла.
Профиль пилота, стеклянный гребень,
Так, что он видел, как улетала
Родина в синем-пресинем небе.

Рухнул на землю беглец, рыдая,
Глухо, зло, как плачут мужчины.
Билась его голова седая
О землю измученной Украины.
Не замечая его печали,
На поле подсолнечном, неподалеку,
Тысячи маленьких солнц стояли,
Как на молитве — лицом к востоку.

9

Согнувшись, как будто под грузом тяжелым.
Все дальше и дальше тянул он свой путь.
Намаявшись вдоволь, в местечко вошел он.
Мечтая умыться, поесть, отдохнуть.
Но здесь каждый домик был страшен,
как череп —
Лишенные жизни глазницы пусты,
Гнилыми зубами ощерились двери,
Как сфинксы сидят на крылечках коты.
Зияли вокруг разоренье и дикость,
Разруха чернела в проулке любом.
Валялись на площади сломанный фикус
И старый, в застезках, семейный альбом.

Искал он людей, оглядывал их, но тщетно.
Лишь хлопали ставни, игрушки ветров.
Местечко молчало в тоске безответной.
Вот домик последний, за домиком ров.
И ворон пад рвом чернокрылый и строгий,
И красное что-то в колючих кустах,
И только торчат беззащитные ноги
В заштопаных крестиком черных чулках.
Молчанье расскажет, как били прикладом,
Орали и лаiali: «жид» или «рус».
А маленьким губы намазали ядом,
Мертвящим не сразу и сладким на вкус.

Ты отдыха ищешь, но разве ты смеешь
Хоть час отдохнуть, не дойдя до своих,
Не мстить, ненавидя, душою измерив
Бездонную пропасть страданий людских?
Ты дышишь еще? Так иди же, иди же
Туда, где в бою изнывают друзья.
Чем раньше на фронт, тем скорее и ближе
Твое возвращение в эти края,
Затем, чтобы немцы вовек не вернулись
В свой старый, наполненный краденым дом,
Чтоб здесь, далеко от готических улиц,
Им готика обернулась штыком!

Любитель поэзии, песен красивых
Не жди от меня. Я их петь не могу —
Я полз окровавленный, впиявший, в жарывах,
Как хлебом, питаюсь лишь злобой к врагу.

10

Не разбудит под утро петух,
Пожелав пешеходу удачи.—
Разве тот, что недавно потух,
Золотым гребешком отмаячив,
Чтоб колеса машины, крутясь,
Не сползали в колесные реки,
Стелют немцы в дорожную грязь
Книги харьковской библиотеки.
Серый дождик заткал полземли,
Путь поток преграждает потоку.
К югу, к югу летят журавли,
А тебе лишь — к востоку, к востоку.
А на зорях уже холодок.
Села мертвые в горестном дыме.
На серебряных лужах ледок
Он ломает ногами босыми.

Нет. Не вырваться мне из беды.
Нет конца этой страшной дороге.
Из рубашки не выжать воды,
Не согреть посиневшие ноги.
Я уж вижу последнюю тьму
В черноземном, раскиснувшем тесте.
Тяжело умирать одному,
Жизнь закончить пропавшим без вестей

Нет, уже невозможно шагать,
Скоро ветер сознание потасит.
Он упал и поднялся опять,
И упал, как подрубленный ясень.

И последний свой воздух сырой
Он вбирает хрипящею грудью.
Что за рокот и гул за горой?
Ты прислушайся —
Это орудья!
Значит линия фронта близка.
Что там слабость, болезнь и усталость.
Там сражаются наши войска:
Доживи! Уж немного осталось.
Доживи, доборись, доползи.
Не слаете твое поколение!
И ползет он в октябрьской грязи,
На разбитых локтях и коленях.

В желтых травах обрывистый склон
И картавые крики патруля.
Прожужжав над землею вдогон,
Снова руку ужалила пуля.
Ничего! Доберусь, доползу...
Кровь толчками выходит из раны.
Вот глубокий овраг. Там, внизу,
Штык мёрцает — четырехгранный.
Там боец в карауле стоит
Со звездой на старой пилотке,
Мокр до нитки, устал и небрит
В потемневшей шинели короткой.
Он увидел в траве беглеца,
Наклонился, взгляделся пытливо
В синеватую бледность лица,
Что ему показалось счастливым.
О, какое блаженство лежать,
Победителем муку приемля.
Окровавленным ртом целовать
Эту верную, мокрую землю!
Штык струился лучом золотым,
День был светлый, как солнце, горячий

...Наконец я добрался к своим.
Мне легко. Не смотри, что я плачу.

Действующая армия, 1943

Орел

За Сталинград полковник Прянишников получил генерала. На долю его дивизии выпала судьба сделать последний выстрел в Сталинграде. Это было неподалеку от завода «Баррикады» в так называемом районе бензиновых баков. Назывался он так потому, что на этом участке, уже давно потерявшем всякое подобие городских улиц, когда-то, в начале боев, высились большие бензохранилища, от которых к последним дням остались только разкиданные по берегу огромные перегоревшие и покоробленные куски железа. Когда уже в южной части города все было кончено, здесь, в районе бензобаков, еще держались остатки немецкого саперного батальона. Эти немецкие саперы дрались отчаянно и сдались в плен последними в городе. Они подняли белый флаг на исходе 3 февраля и несколько десятков их вылезло из окопов и пошло навстречу красноармейцам.

Дивизия теперь была гвардейской и называлась Сталинградской, и все ее бойцы, независимо от того, старые они были или новые, должны были называться гвардейцами-сталинградцами и должны были оправдывать это наименование. Прянишников много думал над тем, как сделать сталинградские традиции не только прошлым дивизии, но и будущим. Внешне традиция выглядела просто: гвардейский значок на правой стороне груди и медаль за Сталинград на левой. Но внутренне это было гораздо сложнее, — внутренне это значило воспитать несколько тысяч людей, никогда не бывших в Сталинграде, так, как будто они там были, как будто у них за плечами были боевые схватки под Сталинградом.

Дни боев в Сталинграде летели с такой быстротой, складывались из такого бесконечного количества дел и забот, что только потом, когда отгремел последний выстрел, Прянишников, по-настоящему, задумался над тем, что же представляют собою люди, которых стали называть сталинградцами, — его бойцы,

его командиры, он сам, наконец. Ему необходимо было это уяснить и решить совершенно твердо, потому что, только появив все это, можно было попытаться тысячи новых людей сделать похожими на сталинградцев. Прежде всего, Прянишникову казалось, что слова «стоять насмерть» родились именно в Сталинграде и они были там не лозунгом, а просто естественным отношением к существовавшему положению вещей, потому что стоять там действительно можно было только насмерть. Бойцы, дравшиеся в Сталинграде, сцепились с немцами так плотно, что оторваться, отступить из своих окопов и блиндажей могли только ценой бессмысленной гибели. Сражаясь, они могли умереть, но выжить они могли только сражаясь. Сталинградцы привыкли к тому, что можно сражаться и не отступать перед сильнейшим врагом, то есть, в сущности, не признавать его сильнейшим, несмотря на его очевидное превосходство в силах. Это казалось Прянишникову чрезвычайно важным с точки зрения будущего, потому что не трудно было предвидеть, что и в будущем, если мы сумеем в одном месте сосредоточить подавляющее превосходство сил, то и немцы сумеют это сделать в другом месте.

Третье, что, по мнению Прянишникова, было отличительным свойством сталинградцев, это то, что они знали себе цену. В самые тяжелые дни обороны, когда потери дивизии были велики, в Сталинграде перед ней ставились задачи дивизии, а перед ротой — роты, и эти задачи выполнялись. Это приучило человека, вооруженного автоматом, подюжной гранат или пулеметом, считать себя, что бы ни творилось кругом, сплыв, которая может задержать много (иногда очень много) немцев. Этот скупой счет на людей, который тогда был тягостным и вынужденным, тем, кто это пережил, давал ощущение внутренней силы и самостоятельности в поступках.

Было и еще многое другое, что в большей степени относилось к командирам, чем к бойцам: привычка в случае необходимости разумно экономить все, начиная от снарядов и кончая хлебом, привычка постоянно чувствовать врага тут же, рядом с собой, и не нервничать от этого, наконец, привычка все видеть и проверять самому, знать почти каждого бойца в лицо.

Когда весной дивизию перестроили, дополнили и, в месяцы затишья, направили под Орел, в ближний тыл армии, во второй эшелон, Прянишников имел свои уже совершенно твердые взгляды на то, как именно он будет воспитывать дивизию в сталинградских традициях. И когда в армии ему однажды намекнули, что, в сущности, его бы никто не упрекнул, если бы он попросил неделю отпуска, чтобы съездить в Москву повидать семью и в конце концов просто отдохнуть после сталинградских боев, он разволновался, полпочи проходил по избе, одержимый самыми соблазнительными мыслями о Москве, семье и отдыхе, но к утру пришел к убеждению, что сделать этого он не может, потому что именно сейчас ему придется работать не покладая рук, если он хочет, чтобы имя «сталинградец» по справедливости носил каждый боец его дивизии.

Прянишников не только не успел съездить к семье, но, когда ему присвоили генеральское звание, он даже не успелшить себе генеральский китель и, как нашёл ему на старую гимнастерку доморощенный дивизионный портной полевые генеральские погоны, так и остался он ходить в этой гимнастерке, и только иногда, глядя на себя в зеркало, во время бритья, он с досадой думал: «Вот бы сейчас и китель надел, как бы хорошо».

С утра до ночи он бывал в поле. Все, что было вырыто в дивизии, он заставил вырыть основательно, по-сталинградски, так, словно немецкие бомбы и снаряды должны были обрушиться именно на эти окопы и блиндажи. К неудовольствию многих своих командиров, он категорически запретил использовать сапер для рытья окопов и блиндажей.

— Пехота сама себе сапер,— говорил он.— Бросьте вы эти барские замашки. А блиндажи чтобы все равно были.

Что же до сапер, то он заставлял их паводить переправы, производить миппрованше и размипрованше, справедливо считая, что это первое дело сапера, а блиндаж он себе вырыть всегда и успеет и сумеет.

Пехоту он «обкатывал танками», как только мог. Не раз и сам, во время этих импровизированных танковых атак сидел в окопе, вместе с бойцами. Он наблюдал при этом за

людьми: они вели себя по-разному. Одни, когда к ним на большой скорости приближался танк, бежали по окопу так, чтобы он прошел где-нибудь в стороне, не над их головой, другие, наоборот, с обычным русским азартом сами бежали под танк и старались очутиться как раз под ним, чтобы испытать это ощущение и приучить себя к нему. Таких с течением времени становилось все больше и больше.

— Крепостей для солдата не строят,— говорил Прянишников.— Солдат сам себе строит крепость.

Он стремился каждому бойцу своей дивизии привить убеждение, что крепость именно там, где стоит дивизия: где бы дивизия ни стояла, там и крепость. Удобные рубежи обороны, естественные препятствия — все это были хорошие старые военные термины, и он от них не отказывался. Но отношение к этим терминам у него было свое собственное и совершенно твердое. Тот рубеж, на котором стоит дивизия, когда на нее нападает враг, — удобный рубеж, и сделать именно этот рубеж еще более удобным, это забота командиров и бойцов. Сзади дивизии никаких удобных рубежей и выгодных условий местности нет, а если есть более удобный рубеж, чем тот, на котором стоит дивизия, то этот рубеж может лежать только впереди, но не сзади ее.

Это понятие о военной географии, выраженное в свойственных ему энергичных словах, он старался сделать законом для каждого из своих подчиненных.

Наедине с самим собой, Прянишников много, и подчас тревожно, думал о будущем. Затишье, которое тянулось четвертый месяц, уже стало казаться ему чреватых близкими и грозными событиями. Может быть потому, что так много пришлось пережить под Сталинградом, Прянишникову думалось, что и теперь в предстоящих боях его дивизии придется принимать на себя удары немцев и держать их, давая возможность другим нашим войскам перейти в наступление. Предчувствуя военную угрозу, он в конце июня много исподволь разговаривал со своими командирами. Самая конфигурация фронта и тот участок, который на нем занимала дивизия, невольно заставляли думать о том, что если немцы, вообще, будут наступать, то удар они нанесут, согласно всем шаблонам своей стратегии, именно здесь или где-то рядом.

Разговаривая с командирами, Прянишников чувствовал, что тревожится не он один. Когда он видел и слышал, как у нас подтягиваются к фронту все новые части, танковые бригады, тяжелая и самоходная артиллерия, он невольно думал, что подобное творится

сейчас и у немцев. И мысль о том, каким будет первое столкновение после такого долгого перерыва и какими силами немцы нанесут удар (а на этом участке, очевидно, будут наносить удар именно они), эта мысль, естественно, волновала его. В нем были те же самые общие твердость и спокойствие, которые, он чувствовал, были во всей армии,— спокойствие за общий исход войны и даже за исход летней кампании, как бы она ни началась. Но самое начало его тревожило. Он больше всего на свете не хотел, чтобы это началось так, как в прошлом году; тогда пришлось каверствовать потерянное. Теперь он не хотел наверстывать и, значит, не хотел терять. Казалось, все было сделано для того, чтобы это не повторилось, и все-таки он все время думал о наших неудачах и не мог отделаться от этой мысли. Он чувствовал, что если немцы ударят летом так, как раньше, и нам удастся дать отпор им,— это окажет необыкновенное влияние на весь ход войны.

4 июля стоял теплый летний вечер. Пришибников вышел из душевой избы на крылечко покурить. Было тихо. Ничто не напоминало о войне. Далеко ввиду, в лесистой долине, тихо посвистывали знаменитые курские соловьи. И если бы сейчас с ним рядом, на завалинке, сидела жена, то в этом, право, не было бы ничего удивительного, так тихо и по-дачному спокойна была эта ночь.

Чиркнув спичкой, при свете ее, Пришибников увидел стоявшего на часах автоматчика. Это был старый знакомый, рослый, курносый парень, охранявший штаб Пришибникова еще в Сталинграде. Насколько генерал помнил, этот часовой был одним из моряков, пришедших к нему целым батальоном на исполнение в Сталинград.

— Тихо, а? — сказал Пришибников, обращаясь к моряку.

— Точно, товарищ генерал, — сказал тот. — Не то, что в Сталинграде.

Ему, видимо, не терпелось напомнить генералу о том, что он был с ним в Сталинграде. Он стоял с перекинутым через шею автоматом, большой, кренко сколоченный, прочный. Посмотрев на автомат, Пришибников улыбнулся. Он вспомнил, как эти моряки пришли к нему вдвойне вооруженные: у многих из них были одновременно и винтовки и автоматы. Винтовки потому, что моряки тогда о них лучше умели обращаться, а автоматы потому, что они им нравились и жаль было с ними расстаться.

— Ну, как думаешь, — спросил Пришибников, — скоро опять война начнется?

— Должно быть, скоро, товарищ гене-

рал, — сказал моряк. — Вроде как друг друга ожидаем.

— Почему же ожидаем? — заинтересовался Пришибников.

— Потому, что кто кого перехитрит, — убежденно сказал моряк.

— Ну? И кто же кого перехитрит?

— Мы, — сказал моряк еще убежденнее. — Он пачнет, мы ему сперва юшку пустим, потом сами жару дадим.

Стратегический план моряка относительно того, чтобы «сначала пустить юшку, а потом дать жару», в общих чертах совпадал с представлениями Пришибникова о том, как развернутся бои, и хотя, по всей очевидности, мнение моряка не могло играть решающей роли в том или ином развертывании будущих событий, но в этот момент Пришибникову почему-то стало приятно, что их мнения совпадают. Он задумчиво промолчал про себя решив, что, очевидно, так и будет.

Утром 5-го, когда с переднего края доносился долгий, перекатывающийся грохот артиллерийской канонады, Пришибников, подняв дивизию по боевой тревоге, вдруг почувствовал, что его собственная тревога, овладевшая им в последний месяц, сразу исчезла. Ожидание кончилось, предстояло дело, и каким бы трудным оно ни было, выполнять его было спокойнее, чем ждать. На душе у него (он чувствовал, что и у его командиров) сегодня, когда все это стало совершившимся фактом, было спокойнее, чем вчера, в тихий летний, но предвещавший ничего плохого, вечер.

Б полудню он получил из штаба армии приказ о выдвижении дивизии на тридцать километров вперед, на боевой участок. Через десять минут первые части уже двинулись, а он еще полтора часа отдавал приказания о движении остальных частей, своих и приданных: танков, гвардейских минометных дивизионов, тяжелых артиллерийских дивизионов, полковых самоходных пушек и многих других частей, которыми, в предвидении будущих боев, обросла его дивизия. В эти часы, отдавая первые распоряжения к бою, он с особой ясностью почувствовал, как окрепла его дивизия за весну, как она укрепилась, и какое могучее количество всякого рода техники сосредоточено сейчас в его руках.

День выдался жаркий и ясный. Деревья стояли неподвижно, ни один лист не трепетал на них. Линия фронта проходила в тридцати километрах, и лишь далекие отзвуки канонады доносились сюда. День продолжал оставаться мирным, и только в три часа, когда дивизия двинулась к передовым, она наполнила его войной. Дороги заглубились далеко в сто-

роны стлавшейся пылью, деревонские улицы наполнились грохотом гусениц, скрипом колес, звонкими ударами копыт о булыжник, глухим топотом пехоты.

Задержавшийся в штабе и теперь обгонявший войска на своем маленьком открытом «билдсе», Прянишников невольно залюбовался этой картиной военной мощи, петоропльвым движением тяжелой артиллерии, гарпованнем конноартиллерийских батарей, равномерным колыханием штыков шедшей ускоренным маршем пехоты. Как ни были привычны для него все зрелища, связанные с войной и армией, в которой он провел двадцать пять лет жизни, вид хорошо идущего сильного войска волновал его душу. Он чувствовал гордость за то, что это войско сильно и что через несколько часов оно покажет эту свою силу, непременно покажет, иначе грош пена ему, Прянишникову, который командует всем этим идущим, ползущим, шедшим, скачущим по дорогам.

Авиация почти не беспокоила. Изредка появлялись отдельные самолеты, но зато впереди, по мере приближения к фронту, все отчетливее слышался беспрерывный тяжкий гул бомбежки, легко отличимой опытным ухом от канонады.

— Пшь, долбят,— говорили в рядах.

— Не меньше, как двухсотками лупят,— подтверждал кто-то.

— А ты откуда знаешь?

— По звуку слышать.

И хотя все были рады, что немецкая авиация не застигает их в самый неприятный момент, на марше, но то, что слышалось и что происходило впереди, представлялось всем очень серьезным и тяжелым, тем более, что через три-четыре часа им самим предстояло попасть туда.

По всем расчетам Прянишникова, дивизия должна была прибыть в назначенный ей район в темноте и, если немцы окончательно не переменились, в бой дивизии предстояло вступить только с рассветом. Это было бы наиболее удачным вариантом, ибо тогда им удалось бы за несколько ночных часов после марша привести дивизию в порядок, расставить артиллерию и заставить бойцов вырыть себе хоть небольшие укрытия.

Они подошли к передовым действительно почти в полной темноте, когда бой начал затихать. Небо над вечер заволкло тучами, и впереди, в непроглядной темноте, то там, то здесь вспыхивала перестрелка.

Ровно в одиннадцать вечера к Прянишникову прибыл офицер связи из армии с приказом. В приказе были некоторые неприятные новости. Дивизия первого эшелона, прикрывавшая вначале участок, за которым сейчас

стоял Прянишников, приняла на себя первый удар немцев и к исходу дня потеря ее были немалые. Немцы прошли через ее боевые порядки и в общем продвинулись на этом участке на восемь километров. Теперь, как гласил приказ и как понимал это сам Прянишников по звукам затихавшего боя, впереди него находились вперемежку прорвавшиеся немецкие танки и пехота и части дивизии, засевшие в своих блиндажах и окопах и продолжавшие сопротивление уже позади прорвавшихся немецких танков. Когда Прянишников начинал марш, он еще не представлял себе ясно всей картины и только теперь, когда он узнал, что немцы все-таки прорвали первую линию обороны и впереди стоящая дивизия понесла большой урон, его поразило то, что он не встретил на дорогах никаких признаков отступления и неудачно начатого боя. По дорогам, навстречу ему, ехали весь день санитарные машины, шли легко раненые, ползли на заправку бензиноповозки, сновали грузовики со снарядами ящиками, но никаких признаков общего движения назад не было. Положение было тяжелым, дивизия впереди продолжала ожесточенно драться и немцы, очевидно, эти восемь взятых километров щедро полили своей кровью и завязли, занятые уничтожением бесчисленных маленьких гарнизонов, сидевших по всей глубине обороны, ждавших выручки и не испытывавших никакой склонности куда-либо отступать.

В приказе дивизии Прянишникова была поставлена задача с утра атаковать немцев, прорвавших первую линию обороны, не допустить ни расширения, ни углубления прорыва и контрударом отбросить немцев в исходное положение. Прянишников всю ночь объезжал свои части, перетаскивал с места на место артиллерию, с таким расчетом, чтобы она могла как можно дольше поддерживать завтрашнюю контратаку, а на случай «неблагоприятных обстоятельств» могла бы воспрепятствовать дальнейшему прорыву немцами нашей линии обороны. В войсках было тихо. Многие притомились после марша и снали. Другие неторопливо переговаривались между собой и, сидя вдвоем или втроем, накрыв голову одной плащпалаткой, перекуривали. Чувствовались: серьезность положения, общее, тщательно сдерживаемое волнение и та особая неразговорчивость, которая рождается у людей перед неизбежным и тяжелым испытанием.

В три часа ночи к Прянишникову прибыл капитан — один из командиров штаба дивизии впереди дивизии. Это было уже молодой для своего звания, видимо призван-

ный из запаса, офицер, высокий, сутуловатый, с отрывистой хрипловатой речью и лицом, на котором застыл отпечаток большой усталости. Он рассказывал обо всем происшедшем за день короткими точными фразами, как будто боясь сказать что-нибудь лишнее, не относящееся к делу. Когда Прянишников задавал вопросы, он отвечал на них не сразу, близко придвигаясь к Прянишникову и переспрашивал. Только на пятом или шестом вопросе Прянишников понял, что капитан, очевидно, контужен, ему трудно говорить и он плохо слышит.

— Вы контужены?— спросил Прянишников.

— Да.

Прянишникову все больше нравилось то, как велет себя этот человек и как он рассказывает о бое.

— Сейчас мы и немцы,— как слоеный пирог,— сказал капитан.— Меня, пока я пробрался, два раза наши окликали и два раза немцы.

Прянишников спросил его о расположении дивизии.

— Я не могу вам точно сказать,— ответил капитан,— потому что телефонная связь прервана и рации почти все разбиты. Но я могу вам указать,— и он развернул карту,— где стояли утром. Там же и сейчас, очевидно, стоят, если не все убиты.

Он показал по карте расположение полков и артиллерийских батарей.

— Мы в штабе по звуку чувствуем,— сказал он,— что в большинстве мест еще держат, стреляют.

У него было усталое и огорченное лицо, но никак не растерянное. Он был, видимо, утомлен чувством страшной, неотвратимой опасности, висевшей над ним весь день. Однако растерянности от общего положения у него не было, и в том, как он говорил с Прянишниковым, чувствовалась уверенность, что этот генерал, перед которым он сидит, должен завтра исправить положение.

Доложив обстановку, капитан попросил разрешения уйти.

— Выпейте чаю,— сказал Прянишников, и офицер, считая это за приказание, быстро налил в жестяную кружку кипятку.

Капитан поблагодарил, обжигаясь, в несколько глотков, выпил кружку до дна и повторил:

— Можно идти?

— Вы куда собираетесь?

— Обратно, к себе в штаб.

— Хорошо,— сказал Прянишников.— Я вам дам своего офицера для связи.

Когда капитан с офицером связи вышли из

калатки Прянишникова, он невольно посмотрел им вслед. «Да,— подумал он,— кажется, у нас начинают воевать не только смело, но и спокойно».

Бой завязался утром, в начале шестого. За ночь саперы вырыли для Прянишникова и его штаба несколько маленьких блиндажей на склоне лесистого оврага. Со всеми частями была установлена, дублируемая по радио, телефонная связь, и Прянишников видел, как все, до последней, нити сошлись в его руках. Уже светало. Он вышел из блиндажа и сделал шагов двадцать наверх,— туда, откуда в синей утренней дымке виднелась широко расстилавшаяся впереди холмистая равнина и, развернув в руках карту, прикинул ее на местности. Местность эта была ему хорошо знакома — в мае и в июне он несколько раз рекогносцировал ее с большинством своих командиров,— и сейчас, когда он глядел на карту, он почти реально видел на ней все холмы, низменности, овраги и дороги.

— Товарищ генерал, к телефону,— крикнул снизу телефонист.

Он спустился к телефону. Из корпуса сообщали, что с наших аэродромов поднялось шесть бомбардировщиков и в ближайшие минуты они будут бомбить немцев перед участком дивизии. Прянишников повеселел. Он подумал о том, какое хорошее чувство испытывают бойцы, которым через пять минут идти в атаку, когда над их головами по направлению к немецким позициям пройдут десятки своих бомбардировщиков. Это ни с чем несравнимое чувство — в нем и сила, и гордость, и предзнаменование удачи. Еще в ту секунду, когда бомбардировщики шли прямо над головами, над дивизией, немцы уже открыли по ним зенитный огонь; они нервничали и хотели встретить самолеты, как можно раньше, и кроме того, быть может, наделись, что, обманутые слишком ранними зенитными разрывами, бомбардировщики спутают, где действительный передний край и отбомбятся по своим войскам. Впрочем, этого, как и следовало ожидать, не случилось: бомбардировщики спокойно прошли через зенитный огонь и один за другим черные столбы земли и дыма стали подниматься там, где были немцы. Прянишников отдал последние приказания и не успел затихнуть грохот бомбежки, как по всему фронту дивизии началась ожесточенная артиллерийская канонада. Дивизионная артиллерия, приданные ей тяжелые танковые полки одновременно открыли огонь, покрывая им большую часть глубины расположения немцев, километров на шесть, на семь от переднего края. Огонь мог быть еще мощнее, если бы Прянишников ввел сразу в бой все имевшиеся в его распоряжении артил-

герийские средства. Но этого не было сделано: еще ряд тяжелых батарей, гвардейские минометные дивизионы безмолвно стояли, скрытые за складками местности, и молча ждали своей очереди. Дивизия двигалась вперед, но надо было готовым быть ко всему, и Прияшников стремился сохранить в своих руках все возможности для новых неожиданных ударов и контрударов.

Дивизия двинулась ровно в пять. Впереди на пересеченной равнине то там, то здесь словно выскакивали из земли короткие дымы миных разрывов. За ближайшими холмами, как доложил наблюдатель, передвигались немецкие танки. Иные из них были видны отсюда в бинокль. Очевидно, наблюдая за полем боя, то одна, то другая машина выскакивала на гребень холма. Вдоль всего гребня ложились сплошные разрывы нашей тяжелой артиллерии. Впереди на равнине, еле видными отсюда, мелкими точками двигалась перешедшая в контратаку пехота двух полков первого эшелона. По всему полю рвались немецкие снаряды. Тяжелые чемоданы 240-миллиметровых немецких батарей уже залетали сюда, в глубину, где штаб дивизии, и еще дальше позади, на скрещении дорог, по которым везли снаряды.

Бой разгорался. Немцам, вместо того, чтобы развивать успех предыдущего дня, на первых порах приходилось заботиться о том, чтобы устоять на тех позициях, которые они заняли вчера. Оставив за себя в бляндаже начальника штаба, Прияшников поехал в полки.

На одной из полевых дорог генерал обогнал стрелковую роту, еще подходившую походным строем к месту развертывания. Впереди нее шла батарея легких противотанковых пушек, бронебойщики тащили на плечах свои длинные «дегтяревки», но тем не менее у многих из солдат на поясах висели бутылки с горючей жидкостью. Прияшников остановил машину и подозвал к себе одного из бойцов, на поясе которого в холщевый мешок были аккуратно засунуты три бутылки с КС.

— Будешь танки поджигать?— спросил Прияшников.

— А как же?— сказал солдат.

Прияшников увидел его немолодое скуластое лицо с плотно, решительно, сжатыми губами и зеленую ленточку сталинградской метали на левой стороне груди. Лицо его показалось генералу знакомым: он, очевидно, видел его в Сталинграде. Впрочем, всегда, когда он видел зеленую сталинградскую ленточку, ему казалось, что он помнит в лицо этого человека и, очевидно, это так и было,

потому что где-нибудь, в течение сталинградской осени, он его, конечно, видел.

— А если «тигр»? Все равно поможешь?— спросил генерал.

— «Тигр»? Как раз, аккурат, для него и припас. Тут, разрешите доложить, товарищ генерал, бойцы раненые шли вчерась. Так все говорят: «Тигр, тигр, бронебойка средний танк берет, а его не берет». А от бутылки, говорят, горят эти «тигры» очень спокойно.

— Значит, ты и запаса?

— Вот я и запаса,— сказал солдат, с удовольствием легонько хлопнув себя по мешку с бутылками.— Сожжем их.

Он сказал это без тени бахвальства, с полной убежденностью, что, если он встретится с «тигром», то действительно его сожжет.

Когда Прияшников приехал в штаб полка, размещавшийся в наскоро вырытых окопах за гребнем маленького холмика, бой разгорелся уже с полным ожесточением. Пехота на левом фланге того полка, в который прибыл Прияшников, двигалась удачно, прошла уже больше двух километров и в двух или трех местах соединилась с частями дравшейся тут вчера дивизии, просидевшей ночь в окружении немцев. Он связался по телефону с начальником штаба. На правом фланге было менее благополучно. Начальник штаба, полковник Гриценко, медлительный в речах и спокойный при всех обстоятельствах украинец, своим, как всегда ленивым голосом, сообщил Прияшникову, что на правом фланге танковая бригада, поддерживающая дивизию, остановлена немецкими танками, там у немцев танков втрое больше и много наших уже сгорело. Сейчас он принял меры, чтобы в лесок (который в дивизии условно назывался «Зеленое яблоко») переместилась самоходная артиллерия и не допустила дальнейшего прорыва немецких танков в тыл дивизии.

— Да, да,— сказал Прияшников,— и на всякий случай из глубины подтяните гвардейские минометы. В случае, если все-таки прорвут, или обойдут еще глубже, чтобы накрыли их. Не разобьют, так оглушат. Давайте, выполняйте.

Он не добавил никаких подробностей, так как знал, что если немецкие танки обойдут его с правого фланга, они пойдут именно по ложине, что южнее рощи «Зеленое яблоко», и что все это заранее условлено между ним, начальником штаба, и начальником артиллерии и что именно там будут накрывать немцев «катюши» и для этого не нужно никаких дополнительных приказаний. Вообще же он чувствовал, что, очевидно, немцы шамерены, дав ему возможность продвинуться вперед

левым флангом, задержать правый, обойти его и взять всю дивизию в мешок. И с лишним раз подумал, как хорошо сделал, что не ввел сразу в бой всю артиллерию, заставив немцев заблуждаться относительно количества енд, находящихся в его распоряжении. Он не ввел их в бой сразу, и теперь Гринченко спокойно маневрировал ими.

Здесь, на левом фланге, немцы тоже попробовали двинуть в атаку танки. Штук пятьдесят их показалось на гребне высот, перевалили через гребень и двинулись навстречу пехоте.

Командир полка майор Ясинский, еще в Сталинграде отличившийся своей невозмутимостью, и здесь не изменил себе. Он, в присутствии генерала, не нервничал, спокойно распоряжался всей своей артиллерией. Она встречала танки по рубежам, и поражения, наносимые ею танкам, были на этом, широко открывавшемся глазам поле, как бы наглядной диаграммой все возраставшей силы сопротивления. Вдалеке, почти на самом гребне холма, горели две машины. Ближе, на нижних скатах, горели еще три. На равнине, которую они пересекли для того, чтобы подойти вплотную к нашей наступавшей пехоте, было подожжено пять машин. Дальше начинался передний край. Здесь вступили в действие 45-миллиметровые противотанковые пушки и бронебойки. Поле боя то завлакивалось дымом разрывов, то снова открывалось глазу. Когда, огорившись от телефона, Ясинский с долгим вздохом облегчения сказал: «Начинают отходить»,— перед самыми позициями пехоты, в глубине их, уже стояло, насколько Прияшников мог сосчитать глазом, еще одиннадцать немецких сожженных или подбитых машин.

Отбив атаку танков, полк продолжал уже медленное, но все так же цепко продвигаться дальше под сплошным огнем немецкой артиллерии, главным образом минометов. Здесь все как будто обстояло в порядке. Прияшников решил переехать на правый фланг.

Как только они отъехали от штаба полка, в небе густо появилась немецкая авиация. До сих пор первые два часа она бомбила небольшими группами, по пять—восемь самолетов. Теперь шло сразу около полутора сотен машин. Несколько раз по дороге Прияшникову с адъютантом и шофером приходилось вылезать из машины и ложиться на землю. В воздухе стоял оглушительный треск наших зениток, перекрывавший даже грохот разрыва бомб. «Наконец-то наша пехота не беззащитна»,— с удовольствием подумал Прияшников. Все небо пестрело пятнами разрывов и

хотя сравнительно малый процент самолетов был подбит этим огнем, все же, это была уже не та бомбежка, которую могли ожидать немцы. Теперь им приходилось бомбить с большой высоты, червю, наспех.

Переезжая с левого фланга на правый, Прияшников с удовольствием убедился в том, что его постоянные требования уметь зарываться в землю исполнялись. Там, где люди остановились, они зарылись. У всех артиллерийских позиций были открыты щели. Пехота лежала хотя и в мелких, но в окопах, и продолжала рыть их. Только один или два раза он столкнулся с презренным русским «авось», когда солдаты, копнув два раза лопаткой для очистки совести, лежали под бомбежкой прямо на земле, надеясь, что «дай бог», да «авось» пронесут.

Когда он выбрался на правый фланг и подъехал к рощице, в которой должен был помещаться, по его расчетам, штаб правого флангового полка и вокруг которой шла оглушительная стрельба, навстречу ему из-за рощи выскочил грузовик с пустыми снаряженными ящиками. Увидев генерала на «виллис», шофер на секунду притормозил, крикнув возмущенным голосом: «Не ездите, товарищ генерал, там танки»,— и, дав газ, умчался. Прияшников приказал притормозить «виллис», вышел и огляделся: может быть, правда, следовало дальше идти пешком. В это время слева, прямо из травы, показались сбитая набекрень пилотка, курносое молодое лицо и длинный ствол противотанкового ружья.

— Товарищ генерал,— приложив руку к плечку, сказал боец.— Чего он зря про танки говорит. Никаких тут танков нету.

И были в этих словах, при отсутствии должной официальной почтительности, такое спокойствие и презрение к панике, что Прияшников рассмеялся.

— А где же штаб полка? — спросил он.

— А вот тут, в рощице.

— А ты тут чего один сидишь?

— А я не один. Тут мы кругом сидим, замаскированные, чтобы не видеть. Так с утра и сидим, на случай, если танки сюда выйдут. Вот вы войдете в рощицу, валево и штаб будет.

Прияшников сел в машину и, пробираясь через кустарники, въехал в рощу. Штаб полка помещался в русле высохшего ручья. Один берег был подрыт и в двух или трех ямках, закрытых плащпалатками, разместился штаб.

— Два раза танки сзади нас на дорогу выходили,— сказал командир полка полковник Сухов.

— Ну?

— Отбивали.

— Связь есть с дивизией?

— А как же? Три раза рвалась, три раза устанавливали.

Прянишников вновь связался по телефону с начальником штаба. Ленивый голос полковника Гриценко, как всегда, действовал на него успокаивающе.

— Насколько я понимаю, — медленно выговаривая слова, сказал Гриценко, — первые контратаки немцев мы по всему фронту отбили. Сейчас они перегруживаются. Может, вы подъедете, товарищ генерал.

— Скоро приеду, — ответил Прянишников.

Он почувствовал, что, пожалуй, Гриценко сейчас был прав и, преодолев в себе с начала войны укоренившуюся привычку — во время боя быть непременно где-нибудь в полку или в батальоне, решил немедленно вернуться. При наличии связи отсюда, из штаба, ему, пожалуй, легче будет все видеть. Он вспомнил о недавнем совещании у командующего армией, на котором тот, касаясь вопроса о месте командира в бою, раздражительно сказал: «То, что мы все с начала войны во время боя торчали в полках, а то и в батальонах, объясняется меньше всего действительной необходимостью и больше всего отвратительно поставленной связью».

Тогда слова командующего показались Прянишникову, пожалуй, излишне безапелляционными, но сейчас, в бою, когда связь работала так хорошо, он почувствовал, что действительно, при наличии такой связи, из штаба дивизии увидишь больше, чем с передовой.

— Уезжаете, товарищ генерал? — спросил Сухов.

— Да.

— Полюбопытствуйте. Тут у нас в роще-то бой был.

— Какой бой?

— Сюда час назад прорвались все-таки их танки, но мы отбили.

— А что же вы сразу не сказали?

— А чего же? Отбили. Так тут стоят два «тигра». Может, полюбопытствуете. Не видели?

— Не видал.

— Я тоже раньше не видал. Интересная машина.

— А где? — спросил Прянишников.

— А метрах в четырехстах.

Они сели в машину и, проехав вдоль опушки рощи, на самом краю ее, увидели несколько сожженных немецких танков. Один из них был «тигр». Это была тяжелая машина, грубо сделанная и, видимо, неповорот-

ливая, но с такой толстой броней, какой Прянишников еще никогда не видел. На также виднелись вдавлины от нескольких попавших туда и не пробивших его снарядов.

— А вот этот пробил, — сказал Сухов, обходя танк сбоку и показывая небольшое отверстие, развороченное в броне 45-миллиметровым снарядом. — В лоб не бьет, а так пробивает. Там, в ложине, второй «тигр». Хотите дйти?

Прянишников хотел дйти и до второго «тигра», но в этот момент, залыхавшись, подбежал адъютант командира полка и, стараясь сдерживать возбужденное от быстрого бега дыхание, чтобы не подумали, что причиной этому волнение, а не просто поспешность, сказал:

— Начальник штаба вас просит, товарищ полковник. Опять танки идут.

Они не стали возвращаться на командный пункт, а сразу, вдоль края рощи вышли на пригорок, где помещался наблюдательный пункт. Прянишников решил остаться здесь, впредь до отражения этой атаки.

На расположение полка двигалось на этот раз около трех десятков танков, — во всяком случае, столько их было в поле видимости. Большинство из них, повидимому, были тяжелые. На этот раз, очевидно, учтя опыт предыдущей неудачной атаки, немцы решили, одновременно с движением танков, подавить нашу артиллерию. Несколько тяжелых немецких дивизионов било по расположению наших, приблизительно засеченных ими, батарей. Батареи сначала отвечали, но когда танки приблизились на дистанцию тысяча двести метров, они перенесли огонь по танкам. Через десять минут на скатах холмов стала показываться пехота за танками немецкая пехота. Несколько десятков немецких тяжелых снарядов разорвалось на опушке рощи, где был наблюдательный пункт. Один — совсем рядом. Бойцы и генерал упали на землю, и когда Прянишников поднялся, он увидел, шагах в десяти от себя, огромную дымящуюся воронку и нескольких человек, которые уже не поднялись. Среди них был и адъютант Сухова, только недавно подбегавший к нему. Танки продолжали двигаться.

— Донесли в дивизию о движении танков? — спросил Прянишников начальника штаба полка.

— Так точно, донес.

Прянишников, сев на землю, развернул на коленях свою карту.

Танки уже начали входить в ложину, которая узкой горловиной шла к рощице, где они сидели. Он проверил свою карту. Еще с утра на эту ложину был нацелен дивизион

не вступавших в бой гвардейских минометов. Уверенные в успехе, танки подтормозили и ждали пехоту. Она вслед за ними начинала спускаться в ложину и в то же время старалась распространиться вправо и влево, против оставшихся там и продолжавших вести по ней огонь наших передовых рот. Прянишников проверял еще раз по карте. «Да, точно, если в дивизию сообщено, то Гриценко должен сейчас дать сюда огонь «катюш». Очевидно, это будет через минуту или через две, но не позже, только не позже». Он посмотрел на часы. Боже мой, как летело время: было уже 11.52 — почти семь часов боя.

— Прикажите подвинуть самоходную батарею на опушку, быть в готовности, — охрипшим, вдруг ставшим отрывистым от волнения голосом сказал Сухов начальнику штаба.

— Связи нет. Порвало.

— Восстанавливают?

— Да.

— Давайте, быстрее восстанавливайте, а тем временем пошлите пешех связных.

Прошли еще одна-две томительных минуты. Прянишникову не хотелось звонить в штаб. Ему казалось, что все должно быть так, как намечено, без его звонка. Но сейчас уже не время было заниматься проверкой точности работы штаба. Он приказал соединить себя с Гриценко.

— Гриценко, — крикнул он в телефон.

— Слушаю, товарищ генерал.

В эту секунду рев снарядов заглушил все. Залил жег поперек всей ложины, по которой двигались немцы. Сплошной черный дым поднялся впереди, и длинные раскаты еще продолжали греметь кругом.

— Что, товарищ генерал? — не слыша голоса Прянишникова, спросил в телефон Гриценко.

— Ничего, — крикнул Прянишников. — Теперь ничего. Скоро приеду, — и положил трубку.

Он был удовлетворен: в дивизию все шло так, как он предполагал.

Когда дым в ложине начал рассеиваться, взору Прянишникова открылось такое зрелище: посередине ложины горели три танка, пораженных прямыми попаданиями. Среди стлавшегося по земле дыма неподвижными точками лежала мертвая немецкая пехота. Большинство танков беспорядочно отходило назад. Но десяток танков, не попавших в зону действия, уже выскочил из ложины и двигался прямо к лесу. В это время из-за опушки один за другим раздались несколько артиллерийских выстрелов.

— Стодвадцатидвухмиллиметровые, — определил по звуку Прянишников.

— Да, самоходные бьют, — сказал Сухов. Снаряды ударялись в землю между танками, но ни один из них не попал. Следующий залп был удачнее: сначала один танк, потом другой, вспыхнули. От удара танк как-то сразу завалился набок.

— Стодвадцатидвухмиллиметровые. Как орехи колет, — удовлетворенно сказал Сухов. — Что, наладили связь?

— Нет, товарищ полковник, — сказал начальник штаба. — И связные еще не могли поспеть. Наверное, по обстановке решили.

— Кто командир батареи? — спросил Прянишников.

— Васильев.

Прянишников поместил эту фамилию на краю карты. В таких случаях он не любил забывать людей, а память за время войны должно быть от усталости, все чаще стал изменять ему.

Самоходные орудия продолжали стрелять. Загорелся третий танк. Остальные повернули, но им вдогонку еще летели снаряды и на самом гребне высоты задымился последний, четвертый, танк. Шесть перевалили через высоту и скрылись.

— Где Коля? — сказал Прянишников.

— Здесь, — поднялся с земли молодой парень, выполнявший обязанности шофера, разбитной московский таксомоторщик, который в Сталинграде, за неимением и ненужностью машины, был при Прянишникове ординарцем. Глаз и щека его были завязаны окровавленным платком.

— Тебя задело?

— Да. Осколков штук двенадцать, — сказал Коля. — Маленькие, маленькие, как булавочная головка. И откуда, скажите, пожалуйста: снаряд такой здоровый, а осколки такие маленькие. Поехали, товарищ генерал!

— Поехали.

После неудачной танковой атаки немцы опять начали бомбежку, но Прянишников торопился в штаб и, несмотря на увещевания Коли, приказал гнать машину во-всю, не слезая с нее. Они благополучно проскочили во время бомбежки и на перекрестке дорог чуть не наехали на шедшую по дороге, видимо с левого фланга, группу раненых. Коля затормозил.

— Ну, как, горячо? — спросил Прянишников.

— Горячо, товарищ генерал, — сказал пешехий впереди сержант, несмотря на ранение в шею и в руку сохранявший боевую выправку. — Горячо, — повторил он, отковыряв левой, здоровой, рукой. — Бьемся.

— Товарищ генерал, — вдруг выскочил в рядов рослый человек с перевязанной голо-

вой, в разорванной гимнастерке, под которой перекрещивались через плечо бинты.— Я же вам говорил, что пожгу эти «тигры». Вот и пожег.

Прянишников узнал в нем того, давшего бронебойщика, которого он шеренгал по дороге на передовые.

— Как же ты его пожег?

— «Тигра»-то? — сказал бронебойщик с таким выражением, словно «тигр» был его старым знакомым.— Тремя бутылками пожег. Все три истратил.

— Ну, как же, все-таки?

— Он через окоп пошел. Я выскочил, и по нему — бутылку. Одна соскочила, другая попала и он загорелся. Уже он загорелся, а я в него третью кинул. В западе был, до конца дожечь хотел.

— Я тоже сжег, — крикнул кто-то из толпы.

— Сгорел? — спросил Прянишников.

— Сгорел, товарищ генерал. Справно горят.

Прянишников приказал адъютанту записать фамилии бронебойщиков, вытаскил портсигар, закурил и дал раненым. Они брали папиросы неторопливо, аккуратно, с достоинством, но, как только папиросы попадали им в руки, они закуривали быстро и с жадностью, чувствовалось, что им досмерти хотелось курить.

— Записал? — спросил Прянишников.

— Записал.

— Ну, поехали. Желаю поправляться, — крикнул он раненым, когда машина уже тронулась.

В штабе, пока Гриценко докладывал Прянишникову «обстановку», Коля, вынужденно откуда всегда возимую им с собою щетку, обчищал генеральскую гимнастерку и брюки.

— Пообдало вас земляцей, товарищ генерал.

Действительно, гимнастерка и штаны были в грязи и в пыли.

— Дай умыться, — сказал Прянишников.

Ему принесли кружку воды. Он умыл лицо, полил водой голову и, расстегнув гимнастерку, зачерпнул две полных пригоршни воды и с удовольствием вылил их под гимнастерку. Только сейчас он почувствовал, что дело было жаркое.

— Какой теперь час? — спросил он у Гриценко.

— Пятнадцать пятьдесят.

— Да ну?

На часах Прянишникова было попрежнему 11.52.

— Скажи пожалуйста. Стали, — сказал он.

— Это вы, наверное, повредили, когда упали, как снаряд разорвался, — напомнил Коля.

Положение рисовалось сложным, но в общем утешительным. На левом фланге и в центре прошли четыре километра, на правом несколько меньше. Судя по донесениям и пленным, на участке дивизии к разгару боя уже дрались немецкая танковая и пехотная дивизии и какой-то еще гренадерский полк, о котором Прянишников никогда не слышал.

— Какие приказания сверху? — спросил он у Гриценко.

— Приказывают удерживать занятые позиции.

— А как левее дела?

— Примерно такие, как и у нас. Ничего.

— Ну, что же? Будем удерживать. Обедом покормить?

— Пожалуйста, только остыл.

— Ничего. Холодным.

Прянишников наскоро съел суп и котлету. Но если бы даже через полчаса его спросили, что он ел, — не вспомнил бы, так был он поглощен другими мыслями.

Бой продолжался. В пять и в семь земцы повторили атаку крупными силами пехоты и танков. Но уже по какому-то ощущению, носившемуся в воздухе, Прянишников чувствовал, что на сегодня они утомлены, что хотя дивизии за день и не удалось вернуть все восемь километров, потерянных здесь накануне, зато и немцам с тех четырех километров, что дивизия заняла уже сегодня, ее не высадить.

Несколько раз над головой в ту и в другую сторону проходили то наши, то немецкие бомбардировщики, несколько раз высоко в воздухе возникали воздушные бои между истребителями, и любители этого зрелища старались разглядеть в бинокли какой — чей, причем, как всегда водится, о каждом из самолетов существовали два диаметрально противоположных мнения. Перед самым вечером, за пять минут до последней бомбежки, вдруг наступила полная тишина. Не было слышно ни одного выстрела.

— Ну, вот и милиционер родился, — сказал Прянишников, и все улыбнулся.

Поговорка была старая, сталинградская, но, видимо, навсегда любимая. «Милиционер родился» и сразу навел порядок и тишину.

Через пять минут началась последняя немецкая бомбежка.

— Под завес, — сказал Прянишников.

И действительно, когда она прекратилась, все понемногу начало затихать. Бой в этот день исчерпал с обеих сторон все человеческие силы и медленно начал потасать до

утра. К Прянишникову с докладом явился начальник тыла, толстый веселый подполковник с тихой, смешной фамилией Овечка. Он долго служил в армии, был старше Прянишникова лет на десять и поэтому генерал звал его батюкой.

— Ну, как, батюка? — спросил Прянишников, когда тот доложил о поставке снарядов и продовольствия. — Могу я водки теперь выпить?

— А почему же нет, товарищ генерал?

— Ну, это зависит только от тебя.

— Почему, товарищ генерал?

— А потому. Знаешь, у меня привычка фляжку откупоривать только тогда, когда все бойцы норму свою получили. Так как же, выдал ты сегодня водку?

— Можете откупоривать, — сказал Овечка. — Совершенно спокойно можете откупоривать.

— Ну, хорошо. Тогда и тебя угощу.

Прянишников взял флягу и налил в походные стаканчики себе, Гриценко и Овечке. Он налил по половине стаканчика, боясь невероятной дневной усталости, которую он только сейчас почувствовал.

— А помнишь, какие к нам месяц назад листовки падали, Гриценко? — вдруг вспомнил Прянишников, поморщившись и закусив корочкой хлеба.

— Какие? Ведь много бросали.

— Да те, про Сталинград. Как они там писали? «Нам известно, что сюда на фронт прибыли сталинградские головорезы. Войска германской армии горят желанием встретиться с ними». Ну, что же, пускай горят. Сколько танков от этого желания у них сегодня сгорело?

— Всего девяносто три.

— Ну, впредь до уточнения скинь треть, потому что один и тот же танк иногда в одном полку справа считают, а в другом слева, так что считай пока шестьдесят три. Да...

Он потянулся, встал и, долгим взглядом «кинув ту сторону, где в темноте лежали позиции немцев, медленно и серьезно сказал:

— Ну, что же. Вот и встретились.

В эту ночь Прянишников так и не лег спать. Вся короткая ночь в дивизии ушла на передвижения. Подтягивались и перемещались на новые позиции батареи, из тыла подошла и стала на левый фланг дивизии танковая бригада, еще не введенный в этот день в бой 3-й полк полковника Бессонова. Прянишников за ночь подтянул вперед, один батальон оставил в дивизионном резерве, а два заставил закопаться позади своего левого, выдвинутого вперед фланга. Он предвидел, что завтра главный удар немцев придется

именно сюда, и на всякий случай принимал меры. Свой наблюдательный пункт, на котором он в этот день сам так и не был, он передвинул несколько назад и вправо, — именно так, чтобы теперь в поле зрения находились все позиции, занимаемые дивизией и чтобы при любых обстоятельствах постыртся не менять его завтра.

Ночью он еще раз объехал полки и настойчиво, придирчиво требовал, чтобы продолжали окапываться. Для этого кое-где приходилось будить и поднимать бесконечно утомленных боем бойцов и командиров, но Прянишников был на этот раз беспощаден. Если во время боя он старался удерживаться и редко говорил горькие слова командирам, то сейчас он так и сыпал ими и при малейшей оплошности ругался, не стесняясь в выражениях. Ему с несомненностью представлялось: то, что дивизия с ходу вступила во встречный бой, слухало карты немцев. Накануне, продвинувшись на восемь километров, они считали, что фронт уже прорван, и сегодня вступили во встречный бой не со всеми силами, какими располагали. Наткнувшись на жестокое сопротивление, они, несомненно, за ночь подтянут крупные силы именно здесь и — Прянишников это чувствовал — придется приложить все усилия, чтобы удержаться, не отступить.

Ночью Прянишников не только поехал сам, но и послал половину офицеров своего штаба проверять готовность полков к завтрашнему дню.

— Главное, чтобы зарыты были, как следует зарыты, — повторял он офицерам. — Если плохо зарыты, если спят — поднять, устали — все равно поднять, пусть роют. Если не поспят, завтра горячка боя спят не даст — взвинтит нервы, а если не зароятся — погибнут.

Незадолго до рассвета генерал имел крупный разговор с полковником Бессоновым, который, видимо, считая, что его полк попрежнему находится во втором эшелоне, и ему, быть может, завтра предстоит только передвинуться, не проявил особой рачительности в укреплении своих позиций.

— Стоите во втором эшелоне? — раздраженно говорил Прянишников в лицо, стоящему перед ним навтыжку Бессонову. — Я вижу, вы за эти три месяца засиделись в тылу, отвыкли от условий современной войны. Сейчас стоите во втором эшелоне, а через полчаса будете принимать на себя всю тяжесть боя, весь удар. Что вы думаете? Что у вас слишком много артиллерии, да? Целиком надеетесь на нее? Напрасно. Могу часть отобрать, если слишком много. Чтобы из-

лишне не надеялись. «Немецкие танки не пройдут». Имейте в виду, это общая формула. Вообще не пройдут — да, но в частности завтра могут пройти на каком-то участке. Не здесь, так там, падо это помнить. Думаете, я вас передвину? Леня рыть окопы. Так это мое дело, передвину я вас или нет, а ваше дело устроить так, чтобы там, где вы стоите, была неприступная позиция, хотя бы вы тут стояли всего шесть часов.

Прянишников приехал к себе на наблюдательный пункт, когда уже начинало светать. Наблюдательный пункт был устроен на вершине холма, с которого можно было наблюдать центр поля боя, весь левый фланг и кусочек правого. Вернее, наблюдательный пункт был расположен не на самом гребне холма, а немного позади, на скате его, и только две замаскированных траншеи выходили на самый гребень холма, где в узких, глубоко отрытых щелях стояли стереотрубы. Блиндаж наблюдательного пункта был глубоко врыт в землю и перекрыт четырьмя накатами бревен. Блиндаж был довольно просторен: там стояли стол и из нетесанных досок скамейки, так что можно было удобно, почти комфортабельно работать.

— Сколько накатов? — спросил Прянишников у командира саперного взвода, который со своими саперами заканчивал устройство блиндажа.

— Четыре.

— Почему четыре? — уже сердясь, спросил он. — Если вы хотите сделать блиндаж безопасным от прямого попадания мйн и семидесятишестимиллиметровых снарядов, то достаточно трех, а если хотите обезопасить от двухсотсорокамиллиметровых, тяжелых, то четыре наката — это филькина грамота, нужно — шесть. Что, нужно заставить вас перечитать устав? Два наката еще, сейчас же. Я не собираюсь менять наблюдательный пункт из-за того, что по мне пристреляется тяжелая артиллерия. Понятно?

В течение часа, оставшегося до полного рассвета, саперы уложили еще пятый и шестой накат.

— Вот это так, — сказал Прянишников, вернувшись из хода сообщения, где он просматривал в стереотрубу поле боя. — Вот это так. Теперь я буду, как у Христа за пазухой, — сказал он с откровенностью человека, который не считает признаком трусости привычку добиваться безопасности там, где это можно сделать. — Теперь пусть хоть целым дивизионом пристреливаются.

Уже совсем рассвело, а немцы все еще не начинали.

— Проверьте радио, — говорил Прянишников Гриценко, — проверьте как следует. Со

всеми полками и дивизионами. От этого много будет зависеть, быть может все. В течение первого часа, ручаюсь чем угодно, все телефонные провода порвут.

Гриценко доложил, что связь по радио проверена и что дублированная связь на все время боя обеспечена.

— Ну, хорошо, — сказал Прянишников. — Что же они не начинают?

Словно отвечая на его слова, немцы действительно начали.

— Шесть ноль ноль, — сказал Прянишников, посмотрев на часы. — Все-таки, как ни говорите, — обратился он к Гриценко, — а они большие любители «порядка».

Все, что Прянишников предвидел с ночи, начинало оправдываться. Уже к 6.30, после короткой, но решительной артиллерийской подготовки, насколько можно было судить по донесениям из всех полков, перед фронтом дивизии появилось больше двухсот танков.

— Полнокомплектная танковая дивизия, — сказал Прянишников. — Я не думаю, чтобы они за одну ночь пополнили вчерашние и позавчерашние потери. Скорее всего наши предшественники и мы за эти два дня уже вывели одну танковую дивизию из строя. По-моему, это новая. Как вы думаете?

— Весьма вероятно, — ответил Гриценко.

— Очень вероятно.

Из полков все время поступали сведения о подбитых и сожженных немецких танках. Через два часа общее число их дошло до шестидесяти. По привычке скинув одну треть, Прянишников исчислял это количество в сорок штук.

— Для начала хорошо, — сказал он. — А главное хорошо то, что мы еще не ввели всю артиллерию. Это самое хорошее.

К девяти часам утра, после того как связь с левофланговым полком Ясинского прерывалась три раза, она прервалась окончательно, и Прянишников получил донесение, что немецкие танки и самоходные орудия обошли поле Ясинского справа и слева и, в сущности, замкнув его в кольцо, двигались дальше, причем главная масса их, обойдя дивизию слева, стремилась сейчас выйти за правый фланг соседа, на его тылы.

— Придется тронуть танковую бригаду, — сказал Прянишников. — Отдайте ей приказание вступать в бой.

Гриценко связался по радио с командиром танковой бригады и через двадцать минут с левого фланга, от Бессонова уже донесли, что перед фронтом полка и левее его идет ожесточенный танковый бой, судя по началу его, складывавшийся не в пользу немцев.

— Ну, да, неожиданность,— сказал Пришибников.— Они там не ожидали встретить наши танки. Но бригада у нас не такая уж сильная, и, когда немцы освоятся с обстановкой, танкистам придется туго. Оттяните половину самоходных орудий назад, на высоту в деревне Подосиновка.

— Назад? — переспросил Гриценко.

— Да, да, назад,— на тот случай, если немцы сомнут бригаду. А что же вы думаете? Я предпочитаю сегодня обойтись без боя в окружении. И запросите по радио танкистов, чтобы прислали мне оттуда одного командира. Радио — хорошее дело, но я хочу посмотреть ему в лицо. Что, с Ясинским нет связи?

— Нет. Очевидно, рацию разбили.

— Пошлите офицера связи. Пошлите двух сразу, пусть попробуют добраться разными маршрутами.

В последующий час пришли три донесения о первых потерях в офицерском составе. У Сухова прямым попаданием снаряда были сразу убиты начальник штаба и заместитель. Сам Сухов был ранен, но остался руководить боем. С Бессоновым была еще телефонная связь: он доносил, что часть танков развернулась против его полка, сейчас он отбивает ожесточенную танковую атаку и ждет пехотной атаки, потому что, по его наблюдениям, в близлежащих ложбинах уже скопилось больше полка немецкой пехоты.

— Минут на десять связь прервется, товарищ генерал,— кричал в телефон Бессонов.

— Почему?

— Меняю наблюдательный пункт.

— Почему?

— Сильно накрывает артиллерия. Нащупали.

— Вперед наука будет,— крикнул в телефон Пришибников:— Будешь как следует наблюдательные пункты строить. Меняй, но только скорей.

Наблюдательный пункт самого Пришибникова немецкая артиллерия еще не нащупала, и только два или три раза весь холм содрогался от ожесточенной бомбежки.

— Ишь, сколько высыпало,— говорил Пришибников, глядя в небо, откуда, вырываясь из мелких тучек, словно из рога изобилия, пикировали немецкие самолеты.

Во время бомбежки Пришибников сидел в узком ходе сообщения у стереотрубы, справедливо считая, что и шесть накатов, пожалуй, не спасут от удара двухсотпятидесятикилограммовой бомбы, а сидеть на воздухе, наблюдая за тем, как пикируют немецкие самолеты, было все-таки веселее. Впрочем, наблюдать за ними он не особенно успевал:

донесения шли одно за другим. Положение усложнилось, а от Ясинского попрежнему не было сведений. Наконец от него пришло радио. Он сообщал, что рация была повреждена и ее исправляли, что немецкие танки находятся уже позади него, но полк продолжает оставаться на прежних позициях и ведет бой сейчас главным образом с пехотой противника.

— Запросите его, прибыли ли к нему офицеры связи и пусть пришлет офицеров с докладом,— сказал Пришибников.

Но когда по радио передали это приказание Ясинскому и потребовали его подтверждения, то подтверждения не последовало,— видимо, рация опять была повреждена или разбита.

Тучи над головой понемногу рассеялись. Небо стало синим и палашее июльское солнце припекало голову. Во втором часу дня, наконец, прибыл офицер связи из танковой бригады. Последние два километра он прошел пешком, так как его броневик разбило по дороге при бомбежке, гимнастерка его и брюки были в темных пятнах крови убитого водителя.

— Ну, как там?— спросил Пришибников, когда офицер отрапортовал.

— Ведем бой,— ответил тот.

— Знаю, что ведете. Что, сами видели, как бой идет? Рассказывайте.

Танкист, помрачнев, стал рассказывать о том, какие потери в машинах они уже понесли за первые два часа боя, причем с каждой фразой-лицо его все больше искажалось так, как будто это сообщение доставляло ему физическую боль. Он рассказывал о том, как удачно начался бой, как они, выйдя неожиданно с исходных позиций из лесу, встретили обтекающие лес немецкие «тигры» и «фердинанды». Фланговым огнем в первые же пятнадцать минут боя сожгли одиннадцать тяжелых немецких танков и несколько легких, а потом на них с трех сторон обрушились главные силы немецкой танковой дивизии и трудно сказать, в каком положении дело теперь, после того как он час добирался сюда.

— Сколько, по вашим подсчетам, вы уже потеряли машин?

— Около двадцати,— сказал танкист.

Он сделал длинную паузу и потом, колеблясь, словно боясь осудить действия своего командира, сказал:

— Как пожгли мы этих одиннадцать «тигров», так зарвались немного — в лоб вышли. Тут нас и накрыли. Сильные все-таки эти машины.

— Да, надо было маневрировать. Ну, хорошо. Проезжайте, и передайте нашему

полковнику, что я приказал, не выходя из этого района, в случае окружения танками, занять круговую оборону. Будет нужно — закопайте танки, но не уходите. Передайте ему, что на поддержку сзади него подходит самоходная артиллерия. Если вас окружают, то пусть знает, что не надолго. Поезжайте.

Танкист замаялся:

— Не на чем, товарищ генерал.

— Ах, да, у вас же броневик разбили. Ну, ладно. Найдите моего шофера, — сказал Прянишников начальнику штаба, — пусть до- ставит на моем «виллисе». И обратно чтобы с последними сведениями приехал.

— Есть, — сказал танкист.

— Поезжайте.

От Ясинского сведений все еще не было. Сухов регулярно доносил о ходе боя и хотя в общем обстановка складывалась у него благоприятно, — перед позициями горело уже больше двадцати танков, и немцы почти нигде не продвинулись, — но Сухову не везло сегодня с командным составом: за последние два часа у него убитыми или ранеными вы- было несколько командиров.

К трем часам дня выяснилась новая не- приятность: начальник артиллерии доносил, что, отбивая ожесточенные танковые атаки, артиллеристы израсходовали значительно больше снарядов, чем предполагалось. Коли- чество снарядов в некоторых батареях уже подходило к цифре неприкосновенного запаса. Видимо, грузовики со снарядами застряли где-то по дороге, под непрерывной бомбежкой. Подполковник Овечка с утра был где-то в тылах, и Прянишникову все не удавалось связаться с ним, чтобы запросить о поло- жении со снарядами.

— Василий Акимович, — обратился к Пря- нишникову заместитель по политической ча- сти, полковник Прохоров, его бывший комис- сар еще по Сталинграду, — я поеду насчет снарядов.

— Да, да, поезжай, Андрей Семенович, — сказал Прянишников. — Поезжай и вытщи. Сейчас это главное. Наверное, не туда заеха- ли или застряли, или где-нибудь мосты по- били, так вместо того, чтобы раз, раз и мост исправить, объезды на пять километров устраивают. Чертюва привычка! Поезжай.

Прохоров уехал, и Прянишников про себя лишний раз подумал то, что он уже думал много раз: какой золотой человек его быв- ший комиссар и как он здорово в своем но- вом положении заместителя нашел свое место. С утра он уже побывал в своих полках и сейчас поедет вытаскивать грузовики со сна- рядами и заставит построить мосты, если они

разбиты, и вытщит снаряды, обязательно вытщит. А потом вернется, незаметно про- будет здесь на наблюдательном пункте пол- часа, прислушиваясь и нащупывая то место, куда ему нужно будет поехать, и опять ска- жет: «Василий Акимович, я поеду туда-то или туда-то», — и опять поедет, и опять сде- лает. И, вернувшись, снова скажет ему, командиру дивизии, что-то негромко своим спокойным, ласковым голосом, — такое, отчего на душе станет хорошо.

С Бессоновым связь рвалась два раза и дважды восстанавливалась снова. Он доно- сил, что держится прочно, но предвидел еще более ожесточенные атаки и просил на этот случай, для большей надежности, вернуть ему забранный у него Прянишниковым третий батальон. Прянишников знал по себе, что командир полка у которого забрали батальон, так же, как командир дивизии, у которого за- брали полк, как бы хорошо ни понимал он обстановку, все равно в душе чувствует себя обокраденным и все время помнит об этом отобранном батальоне или полке, как будто ему должны его вот-вот вернуть. Несмотря на серьезность обстановки, Прянишников же- лательно улыбнулся этим своим мыслям и, приободрив Бессонова, сказал, что держится он молодцом.

— Что же касается батальона, — добавил он, — то ты представь себе, что его никогда у тебя не было. Про него забудь, представь себе, что у тебя всегда было два батальона, вот с ними и держись.

Бессонов пробовал что-то возразить.

— Все, — сказал Прянишников. — Все. Се- годня еще не последний день боя. Еще завтра бои будут. Держись с тем, что есть.

В четыре часа с левого фланга донесли, что танковая бригада, понеся тяжелые по- тери, полчаса назад, была окончательно обо- йдена немецкими танками, но поставленные сзади нее два дивизиона самоходных орудий остановили немцев и, попав под фланговый огонь, немецкие танки начали отход.

— Ну, как ты думаешь, Гриценко? Что дальше будет? — спросил Прянишников.

— Теперь в другом месте ткнутся, — сказал Гриценко.

— Совершенно верно. Ну-ка, запроси Су- хова, что у него там с танками. Много ли наблюдается немецких танков?

Через пять минут Гриценко сообщил до- несение Сухова о том, что перед фронтом его полка действует главным образом немецкая пехота, а с танками относительно тихо.

— Прикажи, чтобы держали в готовности все противотанковые средства, — сказал Пря-

нишников.— И отдай приказание, чтобы подготовили огонь «катюш» по тем же лощинам, что и вчера. Если немцы пойдут, больше им негде прорываться, как по этим лощинам. Пусть сейчас же подготовят огонь.

Чутьем человека, уже хорошо знающего немцев, он предвидел, что, потерпев неудачу на левом фланге, у Бессонова, и считая, что Ясинский все равно уже окружен и является их добычей, немцы сейчас перегруппируются и бросят свои главные силы направо, на Сухова.

С четырех до шести установилось относительно затишье. Немецкие танки ослабели не только перед фронтом Сухова, но и перед фронтом Бессонова. Все это лишний раз подтверждало соображения Прянишникова относительно немецкой перегруппировки.

Прянишников тоже занялся некоторой перегруппировкой, главным образом, артиллерии. У него уже не было не введенных в бой артиллерийских резервов, и он рискнул, к огорчению Бессонова, перетащить от него один тяжелый артиллерийский дивизион несколько ближе к правому флангу и приказал начальнику артиллерии отдать распоряжение об уточнении данных для стрельбы по холмам, на которых сейчас стоял правофланговый батальон Сухова. Он делал это на тот случай, если у Сухова потеснят правый фланг, тогда на этом пространстве окажутся немцы и можно будет сразу накрыть их сильным огнем.

Ровно в шесть часов вернулся из тылов Прохоров.

— Ну, как, Андрей Семенович?

— Подтащили снаряды,— сказал Прохоров.— Теперь опять почти комплект будет. Так и есть, два мостика расковыряли немцы бомбежкой, так объезд через гать, через топь начали, пятьдесят грузовиков стояли, вместо того чтобы мостик навести.

— Ну, навели теперь?

— Навели. Что слышно, Василий Акимович?

— Пока ничего,— сказал Прянишников,— но полагаю, что сейчас должны начать нажимать на Сухова. Будут новую щель искать, куда пролезть можно.

— Хорошо,— сказал Прохоров,— я поеду к Сухову.

— Поезжай, он там раненый. Ты посмотри, Андрей Семенович; он говорит, что легко, а может быть, его все-таки нужно вывезти. В общем, поезжай. Что тебе говорить? Сам знаешь.

Только Прохоров уехал, как началось то, чего уже два часа ожидал Прянишников. Около сотни немецких танков и, судя по

всему, не меньше полутора-двух полков пехоты, двинулись на позиции, занимаемые Суховым. В течение двух часов там бы суший ад. Ожегшись еще утром, потеря много танков, немцы на этот раз поддерживали свою танковую атаку огнем, по крайней мере трех артиллерийских полков. Минутами поле боя казалось отсюда окутанным сплошными дымками разрывов. В критический момент, стремясь не допустить разрыва между своими батальонами, Сухов запросил по ради разрешения загнуть фланг и несколько отойти своим правофланговым батальонам.

— Запросите, подготовлены ли снаряды по позиции?— приказал Прянишников.

Через пять минут Гриценко сообщил, что Сухов доносит, что приготовлены.

— Тогда разрешите,— сказал Прянишников.— Подготовлены данные у артиллерии?

— Подготовлены.

Через десять минут после того, как правофланговый батальон Сухова начал медленно отходить и немецкие танки и пехота высочили на только что занимавшиеся батальоном высоты и начали перекатываться через них, по личной команде Прянишникова, хладнокровно ожидавшего, чтобы на высотах накопилось как можно больше немцев, тут ударили последовательно залпы трех дивизионов «катюш». И сразу же вслед за этим, давая передышки, пристреляв заранее этот рубеж, по нему начала бить тяжелая артиллерия. Это был самый напряженный момент боя.

Насколько мог судить Прянишников, ряды суховского полка к этому времени уже поредели, у батальонной и полковой артиллерии снаряды были на исходе, и если бы теперь не удалось удержать немцев сплошным огнем валом, то последствия могли быть, если не катастрофические, то во всяком случае очень тяжелые. Но расчет оказался правильным. Немцы, застигнутые огнем батарей на открытом месте, скатились с высот не вперед, а назад. И на этот день у них уже не хватало наступательного порыва для того, чтобы снова подняться на высоты. Бой здесь начал понемногу затихать, и только на отдельных участках, где частям немецкой пехоты удалось проникнуть между позициями наших рот, происходили еще мелкие ожесточенные схватки, в ходе которых с обеих сторон естественно выравнивалась линия фронта.

Теперь главное внимание Прянишников было привлечено к полку Ясинского. Представлялось совершенно несомненным, что немцы перед новой атакой на фронт дивизии во что бы то ни стало постараются уничтожить окруженный, попавший в тяжелое по-

можене полка Ясинского. Между тем от Ясинского не было еще никаких сведений ни по радио, ни через офицеров связи, судя же по всем наблюдениям, там, впереди, у Ясинского продолжал идти ожесточенный бой.

Прянишников подтянул к переднему краю свой резервный батальон и дивизион самоходных орудий. Он намерен был ночной атакой в центре, на господствовавшую высоту, лежащую против левого фланга Сухова и занятую сегодня немцами, отвлечь внимание немцев от полка Ясинского, помочь ему расчистить коридор и отойти.

Когда Прянишников отдавал последние распоряжения на этот счет, к нему, наконец, явился офицер связи от Ясинского. По его виду сразу можно было определить, что он кобывал в самом пекле боя. Был он весь забрызган грязью и запылен, гимнастерка у него была порвана в двух местах, глаза покраснели от усталости. Подойдя к генералу, он старался иметь возможно более подтянутый вид, но чувствовалось, что он почти падает от усталости. Прянишников, заметив его состояние, повел его в блиндаж и, прежде чем он начал рассказывать, заставил его сесть. Сведения, привезенные офицером связи, были невеселые, но все же менее трагические, чем можно было предполагать. Потери в полку были значительные. Противотанковая артиллерия, по допесению Ясинского, подожженная за день шестьдесят один танк, была в свою очередь почти целиком уничтожена и частью раздавлена немецкими танками. Сам Ясинский был легко ранен, но тяжело контужен, и, как сказал офицер связи, искал его допесение жска. Заместитель его майор Лавров был убит. Хорошее в этом общем тяжелом положении было то, что остатки всех трех батальонов имели между собою связь и в ходе боя были стянуты Ясинским, предвидевшим необходимость последующего выхода из окружения. Донося о ходе дневного боя, Ясинский сообщал, что, несмотря на строго оборонительный характер боя, им все же удалось захватить до трех десятков пленных. Немецкие танки, пушенные на полк в огромном количестве, подвели за собой немецкую нехоту к самому переднему краю, а отдельные десанты затащили даже в глубину. Бой, что случалось очень редко, три или четыре раза за день переходил в рукопашный, обе стороны забрасывали друг друга гранатами и дрались с большим ожесточением. Именно в ходе этих рукопашных схваток и были захвачены пленные.

Ясинский, наблюдая за общим ходом боя, правильно предполагал (так оно и было), что общая линия обороны в ходе боя установи-

лась позади него, и хотел ночью, сосредоточив впереди батальонов оставшиеся противотанковые пушки, прорваться назад и выйти на общие позиции дивизии. Именно на это он и испрашивал разрешения у Прянишникова.

Общие потери дивизии за этот день, а также и подавляющее превосходство сил, которые сосредоточили немцы на этом участке, не позволяли Прянишникову принять то решение, которое он принял бы при несколько ином соотношении сил. Он не мог сейчас позволить себе пытаться выйти всей дивизией на уровень полка Ясинского. Следовательно, оставалось именно то, что предлагал Ясинский: с боем пробиться и отвести полк на уровень общей линии обороны, как она сложилась сейчас.

Прянишников написал письменное приказание и с офицером связи отправил к Ясинскому своего начальника разведки капитана Глушенко, уже давно вместе с ним воевавшего и прославившегося в дивизии смелыми ночными действиями. Перед отъездом офицера связи и Глушенко, он собственноручно вместе с ними нанес на карту всю обстановку на фронте дивизии, предполагаемый коридор, по которому должен был прорваться Ясинский, а также и направление демонстративного удара, который он предполагал нанести ночью, ровно в двадцать два ноль ноль, для облегчения участи окруженного полка. Ясинский тоже ровно в двадцать два ноль ноль должен был начать выравниваться.

Когда офицер связи и Глушенко уехали, Прянишников вызвал начальника артиллерии и установил рубежи, по которым тот должен был открыть огонь с таким расчетом, чтобы под прикрытием огня Ясинский мог спокойно оторваться от немцев, которые были впереди него, и драться только с теми, кто преграждал ему путь назад.

Бессонову и всей приданной ему артиллерии было приказано сейчас же, с наступлением темноты, начать постоянный беспрепятственный огонь по немцам, находившимся между ним и Ясинским.

— Ты должен взвинтить им нервы, понимаешь? — сказал Прянишников Бессонову по только что установленному телефону. — Не дать им ни сна, ни отдыха.

Теперь, когда положение Ясинского рисовалось в более радужном свете, чем это первоначально казалось Прянишникову, и он, по всей видимости, мог пробиться почти самостоятельно, генерал решил не вводить в бой весь резервный батальон, а, отобрав человека с автоматчиков, произвести ночную демонстрацию против высоты с максимальным шумом и минимальными потерями в людях.

Операция началась, как и предполагалось. Ровно в двадцать два часа, прямо с мощной артиллерийской обработки немецкого переднего края. У немцев по всему переднему краю одна за другой стали взлетать белые осветительные ракеты, они по всему фронту стали отвечать беспорядочным, главным образом, минометным огнем, а когда отряд автоматчиков начал свою демонстрацию, зазвонилась ожесточенная пулеметная перестрелка.

Потом сильный бой разгорелся впереди позиции Бессонова, — в том коридоре, по которому пробивался Ясинский. В двенадцать часов ночи Прянишников получил первое донесение о том, что подразделения Ясинского начали выходить на правый фланг Бессонова. Генерал сейчас же выехал туда.

Ночь была совершенно темная, и только по всему горизонту то и дело вспыхивали ответы орудийных выстрелов. Люди Ясинского выходили в полном изнеможении, но с оружием в руках, влоча за собой пулеметы и минометы. Многие были ранены, иные тяжело, но они все-таки шли. Добравшись до своих, некоторые сразу падали на землю и засыпали от страшной усталости.

Кроме Прянишникова, сюда приехал и Прохоров, взяв с собой всех свободных работников политотдела дивизии. Предстояла трудная задача заставить этих, вышедших из окружения, смертельно усталых людей сейчас же, ночью, вырыть себе хоть какие-нибудь окопы, чтобы не стать на утро легкой добычей немецкой авиации. Прянишников приказал Бессонову уплотнить свой фронт несколько влево, а Сухову — вправо и таким образом часть окопов освободилась для людей Ясинского.

Но много окопов приходилось рыть заново. На этот раз, поступив против своего обыкновения, Прянишников вызвал на помощь саперную роту для того, чтобы отрыть наблюдательные и командные пункты и сделать перекрытия на блиндажах.

Роты Ясинского выходили одна за другой. Артиллеристы с окровавленными перебинтованными головами тащили за собой подбитые противотанковые пушки, лошади были убиты, и пушки всю дорогу пришлось везти на себе.

Наконец появился сам Ясинский. Осколок попал ему в шею, она была туго перевязана, и Ясинский не поворачивал головы. Он почти ничего не слышал от контузии. Прянишников сделал шаг навстречу и крепко обнял его. Они сразу ничего не сказали друг другу, но когда, войдя в блиндаж, Прянишников задал Ясинскому какой-то вопрос и, не получив ответа, посмотрел на Ясинского, он увидел,

что тот заснул в ту же минуту, как сам. И вдруг Прянишников почувствовал, что и сам он смертельно устал, и что если он присядет, то через минуту тоже уснет.

Он вышел из блиндажа. Кругом копошились и устравались люди. Оставив Прохорова размещать их, налаживать порядок, и обещав еще раз приехать сюда под утро, он вернулся к себе на командный пункт.

— Ну, как со снарядами? — спросил он у подполковника Овечка, который там уже ждал его.

— Все в порядке, товарищ генерал, к утру будет полтора комплекта.

— Смотри, Овечка, — сказал Прянишников, — все зависит от этого. Теперь они нас не собьют, ни за что не собьют с позиций. Но это в том случае, если будет достаточно боеприпасов, а малейший перебой — и придется туго. Как с дорогами?

— Только под вечер опять мосты разбили, — сказал Овечка. — Сейчас уже из тыла весь народ собран, саперный взвод строит и основные и запасные мостики.

— Вот непременно запасные, — сказал Прянишников. — А ну поедем, посмотрим, как строят. Я хочу своими глазами убедиться.

И они в полной темноте, одному только ноферу Коле известными путями, поехали на генеральском «виллисе» туда, где в такой же тьме, наощупь, сотни людей строили временные мостики через ручейки и овраги, преграждавшие путь из тыла на передовые позиции.

Время уже приблизилось к рассвету. Начинались третьи сутки боя.

Когда впоследствии Прянишников вспоминал о третьем, четвертом, пятом дне этих боев, в памяти его они вставали как одно целое, большое и непрерывное. Если в первые же часы боя у всех в дивизии родилось, подчас поражавшее даже их самих внутреннее спокойствие, то на третьи сутки боя к этому спокойствию еще начала прибавляться уверенность в том, что немцы не только вообще не пройдут, но и не пройдут именно вот здесь, на этой позиции, которую к исходу вторых суток заняла дивизия и с которой она уже больше не отступала ни на шаг.

Третьи сутки были гораздо тише того, что было в первые дни, и того, что последовало потом. Очевидно немцы понесли невосполнимые потери; а главное их командование еще колебалось давать новые резервы, и на третьи сутки немцы больше делали вид, что наступают, чем наступали на самом деле. Прянишников воспользовался этим для того, чтобы заставить всех лихорадочно укреплять позиции. Это было не так-то просто сделать:

люди смертельно устали и засыпали при каждом удобном случае. Но он все-таки заставил, и когда на четвертый день немцы, пополнившись танками и подбросив на поле боя еще одну пехотную дивизию, начали наступать с прежней яростью, они были встречены по всем правилам военного искусства, начиная с первого же рубежа, на который они пытались продвинуться. Ни в этот, ни в следующий, пятый, день боев, хотя перед фронтом дивизии несколько раз одновременно действовали по двести танков, ни одному из них не удалось прорваться даже на уровень командных пунктов батальонов. Все они, сгоревшие и подбитые, оставались или перед передним краем, или на уровне первой линии окопов. Их уже перестали делить на простые «лягушки» и «тигры», а говорили обо всех «танках», или обо всех «тиграх», в зависимости от темперамента говорившего. Этим однообразным, в обоих случаях, названием подчеркивали, что в конце концов подбивать и лечь можно и те и другие. Спокойствие бойцов рождалось оттого, что они своими руками поджигали танки и, сидя в окопах, когда танки подходили вплотную, оставались живыми, и оттого, что на их глазах артиллерия, «почем зря», как они выражались, подбивала «тигры», и оттого, что в приказах командиров, в их спокойствии, в самом воздухе боя чувствовалась непробиваемость нашей обороны.

Прянишников, к которому сходились все эти боя и который знал больше, чем все остальные, был спокоен, потому что дивизия выдержала первое, самое страшное, и еще потому, что она выдержала это с меньшими силами, чем она располагала теперь. Ему постепенно подбрасывали артиллерию, а на исходе четвертого дня пододвинули в его распоряжение новую танковую бригаду, взамен той, которая во второй день приняла на себя главный удар немецких танков и теперь перестроившись в тылу. Вновь приданная бригада была предназначена для ввода в бой в критическую минуту. Несколько раз казалось, что эта критическая минута наступит, но Прянишников ни один из острых моментов боя все-таки не признал этой критической минутой. Он предчувствовал возможность будущего наступления и с какой-то особенной купостью берег для этого танки.

Когда в середине пятого дня боя немцы ввели в действие наибольшее количество танков и, казалось, вот-вот они прорвут оборону, тогда командир танковой бригады, наблюдавший все это, снесся по телефону с Прянишниковым и сам просил разрешения немедленно ввести его бригаду в бой, Прянишников ответил, что не нужно, что он обойдется и

одной своей артиллерией. И действительно, это оказалось ненужным. Когда танки ворвались в ротные районы полка Бессонова, Прянишников ввел в бой сразу одним ударом два полка артиллерии, подвезенных к нему еще вчера, но до сих пор не сделавших ни одного выстрела, и танки были остановлены.

К утру шестого дня боев на участке дивизии находились, не считая собственного артиллерийского полка, еще восемь постепенно подтянутых полков артиллерии, часть из которых Прянишников еще ни разу не вводил в бой. Все пространство перед передним краем и самый передний край были пристреляны заранее и перекрывались тройным огнем — огнем батальонной, полковой и дивизионной противотанковой артиллерии, огнем тяжелой артиллерии и, наконец, огнем «катюш». Каждый квадрат поля боя, как в шахматах, был трижды защищен, не говоря уже о чисто пехотных средствах, — таких, как гранаты или противотанковые ружья.

При наличии таких средств, оценивая эту оборону, как неприступную, Прянишников весь шестой день, который отличался общим затишьем, с нетерпением ждал, когда немцы бросят на его участок новые силы. Ему хотелось перемолот здесь как можно больше танков, а он чувствовал, что сколько бы немцы ни бросили их — двести или триста — он все равно их теперь перемелет.

Но немцы перестали наступать и на шестой день молчали к большому огорчению Прянишникова, жаждавшего померяться с ними силами. Примерно то же самое, с небольшими вариантами, творилось и перед фронтом остальных дивизий. В пятидневных боях немецкое наступление выдохлось, и теперь немцы должны были повторить его снова или... Это «или» в последние дни чувствовалось в воздухе, и его с нетерпением ожидал Прянишников.

В десять часов вечера, на седьмые сутки, артиллерийская канонада с немецкой стороны вдруг потрясла воздух, сотни и тысячи снарядов и мин всех калибров разом обрушились на наши позиции, и в течение двух часов был сущий артиллерийский ад, какого не было даже ни в один из этих дней наступления. Затем сразу все оборвалось. Прянишников находился в блиндаже, где он пережидал артиллерийский налет. Он отдал по телефону приказание во все полки немедленно выслать усиленную разведку и вести разведку боем, преследуя отступающего противника.

— Понимаете, отступающего противника, — и, положив трубку, обратился к Гринченко: — отступающего, верно? Как ты считаешь?

— Думаю, что да,— сказал Гриценко.

— А я убежден,— сказал Прянишников.— Через час мы это выясним точно. Они сделали эту ложную артиллерийскую подготовку, чтобы напугать нас предстоящей атакой, а сами под прикрытием ее отходят. Честное слово, отходят.

— Куда, вы думаете, они отходят?— спросил Гриценко.

— На прежние, весенние, позиции, с которых начали наступление. Они же тут не выгодно расположены. Где мы их остановили, там они и застряли. Если бы мы вдруг перешли в контрнаступление, им тут не устоять, не зацепиться. А если уж начнут они отступать, то с хода могут проскочить, отступить и за основные позиции.

Через час из полков донесли, что немцы, действительно начали отход, но при этом прикрывают его сильными заслонами и разведка всюду натывается на ожесточенное сопротивление.

— Ничего,— сказал Прянишников.— Пусть дерутся. Утром всей дивизией будем преследовать. Эти километры, насколько я продвину, мы пройдем легко, а вот если захотим прорвать их старый передний край, то тут придется повозиться.

В эту минуту он был вполне счастлив. Он чувствовал то главное, что произошло. Немцы отступали под нашим ударом. Это значило, что, независимо от будущих событий, уже сейчас, вот сегодня, дух немцев, если не сломлен, то надломлен, и все жертвы, которые они понесли в течение семи дней боев, оказались напрасными, и те сотни танков, которые сгорели на этой площади, сгорели зря. И ощущение, что на этом участке его, Прянишникова, дивизия надломил немецкий наступательный порыв, остановила немцев и вот сейчас заставляет их отступать — это ощущение было для Прянишникова высшим счастьем и наградой. Несправедливый почти все эти дни, он сладко потянулся, стащил с себя сапоги, лег на стоявшую в блиндаже раскладную койку и сказал, что если все будет идти так, как идет, чтобы его не будили до пяти утра,— он хочет спать.

Проснувшись утром и узнав, что ночные предположения подтвердились и что немцы с боем продолжают отходить, повидимому на прежние позиции, Прянишников приказал начать еще более решительное, чем раньше, преследование и затребовал из штаба данные о наличном составе дивизии. В течение семи дней боев дивизия поредела. Это были, конечно, тяжелые потери. Особенно тяжелые поте-

му, что, как всегда водится, главные потери приходились на пехоту, на батальоны, в роты,— на те активные штыки, которым предстояло свершить главное дело в наступлении.

Но было одно обстоятельство исключительной важности, которое вселяло в Прянишникова полную уверенность в то, что и при таких потерях, с этими поредевшими батальонами, можно успешно вести наступление. Если раньше у него в дивизии была только четверть людей, прошедших тяжелую сталинградскую школу, все испытанных и поэтому уверенных в себе, то теперь люди его дивизии испытали труднейшие дни, не уступавшие по своему напряжению сталинградским. После всего пережитого за эти дни, и после того психологического подъема, который рдился, когда немцы были остановлены, отбиты, сломлены и вынуждены отступить — после этого каждый из его солдат стоил двукратно и вселяло в Прянишникова полную уверенность в возможности наступления.

Начавшееся с рассветом преследование немцев шло весь день, хотя, собственно говоря, на ряде участков назвать это преследованием было бы не совсем верно. После того как немцам не удалось обмануть Прянишникова и под прикрытием мнимой артподготовки оторваться, спокойно отойти на прежние позиции, их части, прикрываясь отход, стали ожесточенно цепляться за все промежуточные рубежи, стараясь нанести нам возможно большие потери. Прянишников в свою очередь, считая, что главная задача начинается перед старым передним краем немцев, старался избежать больших потерь и приказал вести преследование в бой энергично, но с применением возможно меньшего количества живой силы. В каждой полку преследовало немцев непосредственно по одному батальону, а остальные только подтягивались вслед за ними. Прянишников приказал идти вперед с наступающими частями максимально большему количеству артиллерийских наблюдателей, которые каждые полчаса, или час, давали непосредственно с поля боя новые данные о перемещении немцев, и артиллерия благодаря этому покрывала их в течение дня с большой точностью всюду, где они задерживались, не давая им нигде прочно зацепиться.

В конце дня, когда определилось, что и ночи наши передовые части доберутся до новых, весенних позиций и по всему фронту войдут уже в тесное соприкосновение с постоянной немецкой обороной, Прянишников выехал вперед и выбрал себе новый наблюдательный пункт километров на пять впе-

да от старого. Это было очень удобное место — гребень одного из холмов, позади которого лежал глубокий, заросший зеленью овражек.

Прикрывая отход своей части, немецкая авиация все время летала над полем боя, и ельа Прянишников успел переехать на новый наблюдательный пункт, где ему должны были отрыть блиндаж, как тотчас же попал под бомбежку. К счастью, бомбежка была безрезультатной, но поблизости оказались всего три-четыре сапера и работа подвигалась медленно. Прянишников послал свой «виллис» назад, чтобы да нем привезли сапер, и сам продолжал с пригорка наблюдать за полем боя. В это время к нему привели двух немцев, только что захваченных в полку Сухова.

Обтрепанные, унылые, поеживаясь от вечернего холода, пленные молча топтались перед генералом. Он задал им через переводчика несколько вопросов о номерах дивизий, которые вели здесь бой и о подходе резервов. Немцы с быстротой, даже с угодливостью, которая, как всегда при неудачах, приходит у них на смену наглости, отвечали на все вопросы и, судя по показаниям других пленных, говорили в общем правду. Расспрашивать об их настроении Прянишников считал излишним, оно было ясно и по их унылым лицам, и еще более ясно было по тем событиям, которые происходили на фронте. Прянишников решил, что с ними больше не чем разговаривать. Он осмотрелся, ища кого-нибудь, кто бы мог отвести их в тыл, и его взгляд остановился на двух саперах, рывших щель. Они торопились, как могли, работали бесшумно, рубахи их взмокли от пота, и капли его градом катились по их лицам.

— А ну-ка, — сказал Прянишников саперам, — отведите пленных в штаб.

К ночи все полки вплотную подошли к переднему краю немцев. Уже в темноте Прянишников прошел по окопам. У людей было хорошее настроение оттого, что они, наконец, наступали и оттого, что их глазам в этот день представились результаты большого боя: немцы успели зарыть большинство трупов, во разбитые лунки и минометы, пустые коробки подбитых и сожженных танков десятками стояли на поле боя, их сегодня своими глазами видел каждый боец. То, что, грохоча и взрыгая железо, шло на них, теперь стояло здесь тихое и безвредное. И хотя сами бойцы поджигали немало танков, сейчас, когда они могли пройти мимо и потрогать их руками и посмотреть, — это вызывало у них чувство несказанного удовольствия и гордости.

Утром из армии был получен приказ о

переходе к общему наступлению и подготовке к прорыву немецких позиций. Одновременно для сведения Прянишникова сообщали, что началось и в полном разгаре идет наше большое наступление в районах Орла и Белгорода. Он сейчас же вызвал Прохорова и рассказал ему об этом, для того чтобы весть о нашем наступлении уже сегодня, в середине дня, была известна каждому бойцу. Сам Прянишников, вызвав к себе начальника штаба и начальника артиллерии, стал разрабатывать план прорыва немецких позиций на своем участке. Район этот был хорошо разведан еще весной, и сейчас у Прянишникова на карте была отмечена вся система немецких окопов и довольно многочисленных дзотов. Часть артиллерийских полков из резерва главного командования, приданных ему в критические дни немецкого наступления, теперь ушла от него на юг или на север, — туда, где происходили события наибольшего масштаба. Но полк его собственной артиллерии, да три еще оставшихся у него, из приданных, представляли собой силу, с которой можно было пойти на прорыв оборонительной полосы.

— Главное, — сказал он начальнику штаба и начальнику артиллерии, — это система их дзотов. В общем, насколько я знаю, из нашего участка их больше пятидесяти. Я думаю брать их в основном по-сталинградски — штурмовыми группами, одновременно сочетая действия этих штурмовых групп с обычным наступлением цепями. Если это провести точно и аккуратно, то должно выйти хорошо. Танки будут действовать главным образом против линий окопов, а штурмовые группы брать дзоты.

Он тут же составил приказ, по которому в каждом из полков создавалось по десять — пятнадцать штурмовых групп, каждая по сталинградскому примеру, из двенадцати — пятнадцати человек. В состав входили автоматчики, саперы и по одному легкому штурмовому орудию для стрельбы прямой наводкой. Сталинградский опыт показал, что при решительных и смелых действиях таких небольших штурмовых групп даже наилучшим образом укрепленные дзоты берутся в кратчайший срок и с наименьшими потерями. Этот способ действия, по мнению Прянишникова, должен был оправдать себя и здесь, только надо было пересмотреть его, в зависимости от разных условий. Здесь, где дзоты разбросаны были на сравнительно большом пространстве и между ними шли изрядные промежутки окопов, целесообразно было соединить, сталинградского типа, штурмующие группы с обычной, действующей по уставу в полевых условиях, наступающей пехотой.

Весь этот день длилась тщательная, и в то же время стремительная подготовка к завтрашнему штурму. Прянишников чувствовал, что немцы в значительной степени деморализованы и неудачным наступлением и своим последующим отходом и чем меньший промежуток времени будет у них для того, чтобы освоиться на своих старых укреплениях и притти в себя, тем больше шансов на успех имеет атака. Эта же мысль, как он понимал, была заложена и в общем приказе по армии.

Отдав общие распоряжения по дивизии, Прянишников почти весь день провел в полках, лично наблюдая за формированием штурмующих групп, стараясь добиться того, чтобы в каждой из них было хотя бы два-три сталинградца. Чем больше в этот день разговаривал он с командирами и бойцами, тем более в нем крепла уверенность в том, что его дивизия, несмотря на потери, все равно ощущает себя полноценной более, чем когда бы то ни было. Среди солдат распространилось то великолепное убеждение, которое он наблюдал в конце сталинградской осады у своих бойцов,—убеждение в том, что немцев вполне можно бить. Люди вкусили сладость трудной и заслуженной победы и сейчас, победив немцев в обороне, каким-то шестым чувством ощущали, что они победят немцев и в наступлении. Когда Прянишников вернулся к себе на наблюдательный пункт, казалось все уже было подготовлено к завтрашнему штурму. Он еще раз проверил, выполнены ли все его распоряжения, вплоть до самых мелких, проверил по карте правильность позиций, занимаемых артиллерией и каждый раз осведомился и уточнил, на какую глубину с этих позиций артиллерия сможет сопровождать пехоту, в случае удачного прорыва и дальнейшего продвижения вперед. Несмотря на то, что все, казалось, было готово, Прянишников волновался. Он два раза пробовал прилечь поспать, но это ему не удавалось. Разные мысли обуревали его, и он еще и еще раз спохватывался и проверял мелочи, которые, все без исключения, сегодня казались ему важными. Наконец, желая быть завтра «в форме» и чувствовать себя бодрым, он заставил себя заснуть на час.

Когда он проснулся, было еще темно. На горизонте чуть-чуть начинала сереть полоска рассвета. Он потребовал к себе парикмахера и побрился в блиндаже при свете двух свечей. Потом он снял гимнастерку, вытащил из-под койки чемодан, достал оттуда свежий воротничок и приказал пришить его. Когда все эти приготовления были закончены, и он, посвежевший, подтянутый, вышел из блиндажа, было уже совсем светло, и стрелки часов подходили к пяти.

— Ну, начинаем сейчас, товарищ генерал?—сказал подошедший к нему Гриценко тоже свежесбривший и державшийся как-то несколько даже торжественно.

— Начинаем,—сказал Прянишников.

Ровно в пять его артиллерия заговорила один голос с артиллерией соседних дивизий и после короткой, но сильной артиллерийской подготовки, в половине шестого пехота таща рядом с собой полковые и батальонные пушки, пошла в атаку.

С наблюдательного пункта были хорошо видны дымные разрывы по всей немецкой линии укреплений и вспышки ответных выстрелов немцев. Над головами, тяжело гудя в большом количестве прошла наша штурмовая авиация, и в первые же минуты атака на линиях немецких укреплений словно вырос темносиний лес густых разрывов авиационных бомб.

Наблюдательный пункт был выбран удачно, и поле боя, особенно правый фланг его, можно было отчетливо наблюдать в бинокль. Пехота дружно шла цепями, от которых, как можно было различить опытным глазом, отделялись штурмовые группы, то там, то здесь начинавшие вплотную подходить к немецким дзотам.

Прянишников, совсем вблизи видевший все это в Сталинграде, сейчас следил в бинокль за движением маленьких точек и в уме все становившаяся картина штурма этих дзотов. Вот саперы поползли вперед со своими железными шупами, разминировав путь. Выкатили на передовые позиции штурмовые орудия и ведут огонь по амбразурам дзотов. Вот дзот, в свою очередь, переносит главный огонь по орудиям и ввязывается в борьбу с ними. Тем временем автоматчики ползут вперед. Вот они делятся на двое и большая часть их остается в непосредственной близости к дзоту, ведя из укрытий яростный огонь по амбразурам, а двое или трое тем временем ползут в обход, ползут по-пластунски, прижимаясь к земле, вернее, вжимаясь в нее как можно теснее и, наконец, кто-то один потеряв своих товарищей ранеными по дороге, подползает вплотную к самому дзоту и свиряет в амбразуру связку гранат.

Все поле пестрело дымками разрывов и в стеклах бинокля беспрестанно двигались, ползли все вперед и вперед маленькие точки атакующей пехоты. Артиллерия переносила огонь все глубже, и в глубине немецких позиций беспрерывно, то там, то здесь, вставали фонтаны земли. Прянишников с трудом удержал себя от желания сейчас же поехать вперед, хотя бы на наблюдательный пункт полка, чтобы видеть все происходящее как можно ближе. Он запросил по телефону а

всех полков сведения о продвижении. Сначала он поговорил с Суховым, потом с Бессоновым и под конец вызвал Ясинского, наступавшего в центре. Когда задание было дано и, по всей очевидности, правильно выполнялось, он не любил занимать своих командиров лишними разговорами по телефону и сейчас только большое волнение и нетерпение заставило его изменить своей привычке и позвонить раньше, чем, быть может, это было нужно.

— Ну, соединили с Ясинским?— спросил он.

— Да,— сказал телефонист.

— Говорит тридцать первый,— сказал Прянишников,— Ясинский?

— Нет, Кудрявцев,— ответил в телефон голос начальника штаба полка.

— А где Ясинский?

— Только что убит.

— Как убит?

— Миной на наблюдательном пункте. Сейчас выносим с поля боя.

— Как положение?— спросил Прянишников.

— Метров тридцать-сорок от первой линии. Когда ворвутся, доложу,— сказал Кудрявцев.

— Хорошо. Доложите.

Прянишников положил трубку. Убит Ясинский. Ясинский, у которого он столько раз бывал в полку в Сталинграде, которого четыре раза там ранили, и каждый раз легко, которого прозвали за это «бессмертным», и который еще так недавно вышел из окружения, и на этот раз только легко раненый. И его убили.

— Ясинского убили,— сказал он, обращаясь к Гриценко.— Представляете? Жалко.

Он продолжал следить в бинокль за полем боя, но все не мог отделаться от мысли о Ясинском. Он вспоминал, как тот вышел из окружения, как он его обнял и как, неожиданно для себя, тогда растрогался и чуть не пустил слезу, увидав живым и здоровым этого всегда спокойного, холодноватого и такого дорогого ему человека.

— Ясинский вас вызывает,— сказал телефонист, который знал для себя только полк Ясинского, и жив или убит Ясинский,— все еще долго, наверно, будет говорить: «Ясинский вас вызывает».

Прянишников взял трубку.

— Ворвались,— доложил Кудрявцев.

— В первую линию ворвались?

— Нет, во вторую ворвались,— издали глухим голосом крикнул Кудрявцев,— Сейчас же, как в первую линию, так и во вторую ворвались, прямо с хода, на плечах. Сейчас связь прервется на десять минут, товарищ генерал. Переношу свой наблюдательный пункт прямо к ним в окопы. Как перейду, ояты доложу.

Прянишников снова взялся за бинокль. Подул северный ветер, и поле боя все заволело дымом и пылью. Только изредка были кое-где видны крошечные, перебегающие фигурки людей и столбы минных разрывов. Шло наступление. Наконец, шло наше летнее наступление.

— Гриценко,— сказал Прянишников.

— Да?

— По-моему, мы сегодня прорвем всю эту линию их позиций.

— Да, должны, товарищ генерал.

— Не должны, а прорвем. Уже чувствую, что прорвем,— сказал Прянишников.— Это я утром говорил, что должны. А сейчас чувствую, прорвем. Сколько сейчас километров от Сталинграда до нас, а?

— Да километров семьсот-восемьсот.

— Восемьсот? Если уж мне, как Ясинскому, не суждено будет дожить до самого конца войны,— сказал Прянишников с неожиданным воодушевлением,— то хочу помереть на поле боя так, чтобы от моей спины до Сталинграда было по крайней мере двести тысяч километров, и ни одной русской деревни впереди, чтобы все позади были. Красиво а, Гриценко?

— Красиво, товарищ генерал.

— А ну-ка,— сказал Прянишников обычным голосом,— прикажите дивизиону «катуш» открыть огонь по развилке дорог, что у отметки сто девятнадцать. Если мне не изменяет чутье, они в центре начали отходить и именно по этой дороге. Сейчас мы их там накроем. Ну, скорей.

Он подождал с минуту, поднимая голову и прислушиваясь, и когда над ним пронеслись в сторону немцев стремительные золотые стрелы залпов, поднял голову еще выше, закинул ее и проводил эти пылающие слитки огня и металла счастливым взглядом человека, любящего бой и охваченного восторгом победы.

Действующая армия



Нам долго будут сниться
и потом,
когда домой вернемся мы с тобою,
поля и перелески под Орлом
и черные дороги после боя,
и та полоска мертвая вдали
земли ничьей,

где мы в тот день засели,
не вная, как пройдем,
и все ж — прошли,
прошли и оглядеться не успели.

И ничего не помня:
где — ползком,
где — в рост, где — наклонясь,
сквозь дым кровавый,
одним дыханьем
и одним броском
на мины, на ежи колючки ржавой,
и дальше, дальше:
все забыв в тот миг,
не отставая,
за громовым валом,
вперед, вперед;
и ненависть, как вихрь,
через огонь и дым несла живых
и даже падавших не покидала.

И сам я тоже ранен был тогда,
и в смолкшем поле,
на земле проторклой
лежал ничком:
и темная вода,
как смерть
мне застилала взгляд незоркий.

Нам долго будут сниться
и потом,
когда домой вернемся мы с тобою,
немецкие окопы под Орлом
и мертвые в дыму на поле боя,
и как мы вновь поднялись,
как пошли,
шатаясь,
по проложенному следу,
и крови горький дух,
и теплый дух земли,
и трудное дыханье победы.

Пройдет война:
и зашумят опять
хлеба, хлеба бескрайними полями.
Но как о том, что было,
рассказать
прямыми и бессмертными словами?

Воин

Павлу Гапачко

Как рыбаку — кидать в лазурь морскую сеть,
Ребенку — тешиться, а пахарю — пахать,
Так саду — расцветать, и листьям —
шелестеть,
А солнцу — в розовом тумане утопать.

Я видел, как боец, усталый от похода,
Готовясь в новый путь и новый, тяжкий бой,
Хозяйскою рукой в долбленную колоду
Сбирал пронизанный горячим солнцем рой.

Он знал, что впереди нелегкий путь
и длинный,

Что часто смерть таят опушки и кусты.
Придется ли ему отведать мед пчелиный
С гречихи, молоком разлившейся густым?

И все ж приветлива была его беседа.
Он нам рассказывал про ароматный мед,
И про цветенье лип на пасеке у деда,
Про пчел, про их жизнь и брачный их полет.

Века людских трудов так внятно говорили
Умелыми его движениями руки...

Казалось, потому и ласточки чертили
Так дружески над ним зигзаги и круги.

И синие глаза у девочки-сиротки
Светились жаждою науку перенять.
Но вот звучит приказ. Отрывистый, короткий:
Готовиться в поход. Сегодня. Ровно в пять.

И выпрямился он. В глаза ребенку глянул.
И с детского чела откинул прядь волос.
И ветер, пролетев над солнечной поляной,
Спокойный звук шагов развеял и унес.

И парня этого я не видал доньше.
Сказали: умер он. Я не посмел тужить.
Густые потекут меда по Украине.
За них он умер, в них опять он будет жить.

*Перевод с украинского
ЕКАТЕРИНЫ ШУМСКОЙ*

ВИТАЛИЙ ЧЕРНЫХ

Над орлиными гнездами

Я в парке¹ оленьей, в ушанке мохнатой.
Со мною собака, у ног водопад.
Седые, с ресничатой кожей орлята,
В гнезде неподвижном, нахохлясь, сидят.
Клюв чистит о камень птенец серокрылый.
И молча сижу над орлиным гнездом.
И все, что душа моя долго любила,
Вмещается в этом мгновенье одним.
С двухствольным ружьем я взбирался
на скалы
За бэйкою ланью по следу копыт.
Мой пес белогрудый разлегся устало,
И руку мне лижет, и тихо визжит.

Закат золотит столб литой водопада.
На солнечных нитях пылинки дрожат
Над выступом свода. Камня громада —
Пахмуривший каменный лоб водопад!
Седея от пуха, гнездо шевелится,
И гнутые перья в ущелье летят.
Несет в своем клюве ушкана орлица
И серым крылом накрывает орлят.
Рукой заслонясь, я глаза закрываю
И слышу поднявшийся шум в глубине.
Я видел орлят беспокойную стаю
На лапе утеса, прижатой к волне.
В сухих испареньях соснового бора
Я кутаюсь в парку до утренних звезд.
Как горец природный люблю мои горы
И клетот орлиных морщинистых гнезд.

¹ Парк — доха, сшитая из шкуры оленя или лося.

Мать и дочь

Они подобрали ее на дороге. Сдвинули ее, подумали, что девочка лежит мертвая, и Гриша вильнул рулем, чтобы не раздавить ей босые ноги. Но она приподняла голову, ветер встрепал ее волосы, как выжженную траву. Гриша затормозил, Юрий, сидевший с ним, выскочил из кабинки, наклонился над девочкой.

— Лезь в грузовик.

Она пошевелилась, попыталась подняться на четвереньки и опять легла бочком в дорожную яму. Худенькое лицо ее с полу-закрытыми веками было большое и голодное, как у собачки, что сидит где-нибудь у забора с обрывком веревки на шее и, не прося, смотрит на проходящих людей. Юрий оглянулся, — в степи под мокрыми весенними облаками нигде не было видно жилья.

— Так! Понятно! — сурово сказал Юрий, хотя ничего ему не стало понятно, и поднял девочку. Голова ее закинулась, упала на его плечо, но сейчас же испуганно вжалась в плечи. У нее даже кости, кажется, были пустые, — до того худа и легка.

Юрий посадил ее в грузовик на свернутый брезент между ящиками со снарядами, вскочил в кабинку, хлопнул дверцей с грязным простреленным стеклом:

— Выжимай. Опаздываем.

Гриша сказал, вертя баранку:

— Где-нибудь поблизости живет, а мы ее, чорт знает куда завезем.

Когда проехали километров пять, Юрий ответил скрипучим, вяло-медленным голосом, как выучился говорить за время войны:

— Меня удивляет твой мыслительный аппарат.

С дороги свернули на бескрайнее прошлогоднее жнивье, увязая колесами в чепоземе, перегревая мотор, дотащились до балки степного оврага, визжа тормозами, съехали по крутому откосу и стали неподалеку от батареи, закрытой сверху сетями.

— Вряд ли от нее чего-нибудь осталось, — сказал Гриша, вытирая рукавом пот со лба. Но девочка была жива. Ее перенесли в кабинку, и Гриша сказал ей строго: «Смотри, не дотрагивайся до предметов, сиди смирно». Но чего уж, — у нее и без того едва тлелся огонек жизни под ситцевым худым платьишком. Юрий долго

глядел холодными глазами на ее поникшее лицо, на две старческие морщинки с углубленным раскрытым ртом. Когда артиллеристы кончили выгрузку, он пошел к землянке.

У блиндажа, у входа, на смарядном ящике сидел капитан — командир батареи с выбритым, широким, медно-красным лицом и курил короткую трубочку, с удовольствием потягивая дымок.

— Тишина у нас какая! А? — сказал он Юрию. — Жаворонков слышно. Утром прилетели, проклятые.

— Как живете? — спросил Юрий.

— Да вот, ночью подсыпали немчика угольков. Желаете взглянуть: с курган видны богатые результаты.

Вежливо выслушав капитана, который еще не совсем остыл от ночного дела Юрий сказал твердо:

— Трофейные конфеты имеются у вас на батарее? Шоколад, например?

— Шоколад? — удивился капитан вынул трубочку изо рта. — В первый раз слышу, чтоб старшему лейтенанту в голой степи понадобился шоколад.

— У меня в машине — девочка.

— Так бы сказал сразу.

Они пошли к грузовику. Медное лицо капитана все сморщилось от жалости, когда он увидел замученного ребенка.

— Зовут-то тебя как? Ты откуда? Ты чья? — спросил он густым голосом.

Девочка, не отвечая, опять начала втягивать голову в плечи.

— Били ее, — сказал капитан. — Дел ясное... Ах, сволочи, ах, сволочи... — и он сдержанно вздыхал, вспоминая и свою семью, также разметанную, растоптанную немцами. — Она не иначе, как из села Владимирского, с той стороны... Что же вы с ней намерены делать? (Юрий пожал плечами.) Здесь, на батарее, ей будет шумно... Пойдем искать шоколад.

★ ★ ★

— Не надо, не надо, — чуть слышно прошелестела девочка, когда капитан, Юрий и Гриша старались засунуть ей в рот кусочек трофейного шоколада. Пальцы у всех троих были грубые, толстые, у девочки ротик маленький. — странно дотронуться. Бились, уговаривали. Наконец, она почувствовала сладость на измазанных шоколадом губах!

приоткрыла зубы. Капитан, радостно засопев, засунул ей туда половину плитки.

Девочку оставили с Гришей в кабинке, Юрий стал ездить на грузовике, чтобы поглядывать на небо. Валясь со стороны на сторону, дымя маслом, потащились в обратный путь. Гриша, наконец, заметил, что девочка на него глядит, — значит, шоколад подействовал, повеселела. Отдав ей вторую половину плитки, сказал:

— Будешь ты разговаривать али нет? Чай ведь взрослая.

— Не буду, — тихо ответила она.

— Отчего так? Мы, свои. Имя скажи. Мать, отец — где у тебя?

Девочка отворнулася, и больше на него не глядела, и шоколад не съела. Ее поместили в землянке с накатом, в лесистом овраге, где неподалеку от станции был склад огнеприпасов и жили Юрий, Гриша и еще пять красноармейцев. Девочке устроили травяную постель, прикрытую шинелью. Вымыли ей голову в роднике и, отойдя, велели выкупаться с мылом. Юрий выстирал ее платишко и заштопал. Кормили ее первые дни осторожно, понемногу и часто, но так как кормили ее все семь мужиков, — она опять стала повторять, когда ей совали чего-нибудь в рот: «Не падо, не падо...» Целыми днями лежала в землянке, лицом к стене, дремала, что ли. Когда с ней шутили, — отворачивалась. Однажды Юрий вечером вздумал ей читать вслух «Мойлодыр» в отрывках, — что помнил. Девочка так тяжело поглядела на него, с таким упреком, — он расстроился, ушел из землянки — курить.

— Она порченная, — сказал ему Гриша, — у ней — не в порядке. Изловчись — отвези ее в город, пристрой где-нибудь в больницу. Совет был деловой. Но так как подал его Гриша, а не он сам, — Юрий фыркнул в трубку:

— И не больна она совсем, и не порченная... Спихнуть с себя человека — самое простое дело... В больницу ее! Иодоформу она не похала! У нее — горе детское... Вот у ней что...

На вечерней и утренней заре между звездами гудели, задыхаясь, немецкие самолеты. В стороне станции грохотали зенитки, доносились тяжелые разрывы. Спать приходилось по-птичьи — вполглаза. Юрий и Гриша однажды вернулись утром, не стали есть, едва стащили сапоги, легли. На юрину койку присел пулеметчик Ваня, — этот жил в овраге, как на курорте, потому что немцы сюда ни разу не прилетали.

— Слышишь, всю ночь она плакала,

так-то горько, как больная, — сказал Ваня, — прямо спать не дала.

Выяснилось следующее. Девчонка весь день вчера, как привязанная, ходила за Ваней, куда он — туда она, — он — на пулеметную точку, глядь — она между кустами. Он даже ей пригрозил: «Маскируйся, не обпаруживай себя». Она подползла, села перед ним (он разбирает замок) и тихоньким, отчаянным голосом позвала: «Ваня...» Он — ей: «Ну что тебе, поесть хочешь?» Она — опять: «Ваня», — да так, что у пулеметчика мороз подрал по коже.

Слушая на своей койке этот рассказ, Гриша сказал сквозь дрему:

— Правильно. У нее сердце размякло. А как зовут ее, не сказала?

— Ничего не прибавила, только — Ваня да Ваня, надоедала мне весь день. А шючью — давай плакать.

То, что у девчонки размякло сердце, показало всем, даже Юрию, убедительным. Ваня до того был прост, добродушен и нетороплив, такая распространялась от его слов и всего поведения уверенность в том, что все хорошо и будет благополучно, что девчонка, понятно, стала ходить за ним, как привязанная, и ему-то и захотела пожаловаться.

Этой же ночью Юрий проснулся и, засветив электрический фонарик, увидел, что девочка лежит, поджав колени, обхватив подушку, пабитую травой, и во сне горько плачет и зовет глуховатым, неясным голосом: «Мамынька, мамынька, где ты?» Юрий не стал ее будить, — пускай хоть во сне найдет свою маму... «Что ты прячешься, мамынька?» Девочка вдруг замолчала, задышала и слабо, радостно вскрикнула... Пашла, значит...

Юрий закурил, повернулся на спину. Не спеша потекли мысли. Было время, глухие годы, когда Иван Карамазов в тракторе спросил брата Алешу: если для счастья людей нужно принести в жертву всего одного только ребеночка, замучить его, — взялся бы ты, ради счастья людей, замучить ребеночка? Иван Карамазов полагал, что поставил перед Алешей неразрешимую загадку. Алеша тогда не ответил, промолчал... Замучить ребенка!.. Что может быть страшнее... Да хотя бы ради роскошного счастья всего человечества... Проклято было бы тогда такое счастье... А карамазовская загадка решалась просто, теперь ее отгадали: — да, да, замучил бы, но только ребенком этим пускай буду я... Да и пустая эта загадка, измышленная, умозрительная. Жизнь сама предложила другую: ради спасения от мук хотя бы одного — вот этого ребеночка, — готовы ли все, кто считает

себя человеком, встать на смерть? Вопрос прямой и ответ ясный. И Гриша, и Иван-пулеметчик, и остальные четверо, могуче похрапывающие в землянке, и он — Юрий — отвечают: готовы.

Юрий опять набил трубочку. Горло его раздувало злобой. Ладно, с философией кончим. Вопрос ставим практически: требуем счет, — три миллиона немцев за одну эту девочку, три миллиона долговязых блондинов, с коровьими ресницами и похабыми мозгами...

Валя-пулеметчик взял котелок и полез через кусты на самое дно оврага, где тек ручей и в одном месте образовался омут. Там он, когда выручалась свободная минута, ловил раков.

Валя стащил гимнастерку и рубашку, лег на живот у края омута и начал шарить руками в тише, иногда — так глубоко, что приходилось окунать голову в воду. Пацупав рака, Валя приговаривал: «Попался, Ганс-Шнапе пучеглазый... Не интересно тебе... Давай, давай, в котелок». Один раз, пуская пузыри, он ушел в студеную воду чуть не по пояс; а когда выпрямился, в руке у него был хвостом огромный зеленый рачище. За спиной Вани весело засмеялся нежный голосок. Стояя ладонью воду с волос и лица, он обернулся, — смеялась девочка... «Ты чего? Разве можно пад солдатом смеяться?» Девочка широко открыла голубые глаза, брови ее поднялись, заломились, — вот-вот расплачется...

— Шучу я с тобой, Машка, не плачь.

— И не Маша, я — Валя, — ответила девочка.

— Ага, вот я сказала, как зовут, ну — мелодичина. — У Вани зуб на зуб не попадал; он надел рубашку и гимнастерку, подсел к Вале и обнял за плечи, притянул к себе. — Раков наедемся?

— Наедемся, — ответила она.

— А откуда покурим? Ладно?

— Ладно...

Валя оторвал газетную полосочку, согнул, аппетитно насыпал махорочки из жестяной коробки, — свернул, дернул по языку:

— Ты на меня не сердчай, Валя. Лейтенант Юрий приказал мне узнать про тебя всю подноготную. Оп, конечно, строгий, но справедливый. Конечно, я не вполне приказания — мне будет бучка...

Валя вытащил из кармана «катушку», приладив, раза три ударил железкой по кремню, приятно запахло фитильком, — закурил.

— Давай, давай, рассказывай...

Из Валиных коротеньких рассказов выяснилось следующее. Валя жила с матерью, Матреной Храбровой, в селе Владимирском. Старший валин брат, Андрей, служил в Красной Армии, младший, Миша, в прошлом году пропал без вести, когда село захватили немцы.

Матрена Храброва очень боялась одного человека; увидев его в окошко, говорила про него с тихой злобой: «Опять антихрист по двору пошел, пропасти на нем нет...» Когда Валя спрашивала: «Мама, почему называешь Михея Ивановича антихристом?» — мать отвечала: «Большая будешь — узнаешь... А ты, Валька, больше помалкивай... Что мать в избе говорит — не разносит на хлосте-то... Смотри...»

Жили они голодно. У них были три курочки — две белые и одна желтенькая — и почтенный петух, который все отдавал курам, что ли найдет. Матрена их все прятала от немцев в разные места. Говорила:

«Солнышко весной пригрет, будут наши курочки пестить три яичка в день, тогда, доченька, повеселеешь...»

Однажды, на заре, недели три тому назад, Матрена разбудила Вало: «Доченька, — сказала, — ладень мой сапоги, накинь платок, сходи посмотри, на кого петух сердится, не лиса ли пробралась в сарай...»

Валя влезла в матренины сапоги, накинула платок, вышла на двор и увидела: дверь в сарае отворена, калитка отворена, кур нет, один петух бегаёт по двору, сердито хлопчет. Валя ахнула, выглянула за калитку... От их двора шел немецкий солдат, неся за ноги кур, — у них уж и крылья висели... Валя крикнула, побежала за солдатом. Он вместе с курами вскопил в крытый грузовик, откуда из-за брезента весело заревело несколько голосов, и машина укатила. Вал только — вдогонку: «Дяденька, дяденька, это же наши курочки».

На другой стороне улицы, наискосок от матрениной избы, была новая кирпичная школа. Не так давно туда приехала машина с людьми в черных шинелях и черных фуражках, парты и книги они выкинули на двор, окна замаскировали мелом, палисадник опутали колючей проволокой, и стало в школе гестапо. Мимо этого места владимирские и не ходили, а Матрена, когда нужно было отлучиться от двора, лазила через плетень в проулок.

Валя, все еще стоя на улице, увидела, как оттуда, из гестапо, вышел Михей Иванович, стуча ногами, слез мимо часового, как пьяный, мутно зашагал. Лицо у него было синее — так показалось Вале — все в морщинах, будто он воротился от све-

та. Дойдя до Вали, остановился, уперся в нее глазами:

— Ты что? Глядеть на меня? Ах, поганка! — ударил Валою по голове и стал топтать сапогом, но все мимо да мимо. А Матрена уже бежала от ворот, вскрикивала диким голосом и с хода вцепилась ногтями в налитое, круглое лицо Михея: «Ты за что, ты за что ударил мою дочь!» — повалила его на-спину и хлестала по щекам: «Антихрист проклятый!» Он был не то пьян, не то испугался и только болтал руками и ногами, и Матрена колотила его, покуда на крыльце гестапо кто-то, хлопнув дверью, не закричал резко.

Этой потасовки Михей не простил валиной матери. Ночью к ним в избу вошли с карманными фонарями два черных солдата и стали у двери. Вошел офицер с длинной шеей, с маленьким лицом без подбородка и за ним Михей Иванович...

Матрена задрожала, прислонилась к печке: «Бонец, мой, доченька...» — прошептала. Михей выдернул валину руку из ее руки и толкнул Валою за перегородку, где стояла кровать. «Прикажете произвести обыск, господин обер-лейтенант?» — Офицер сел за стол и ответил медленно, по-русски: «Делай свое дело».

В дверную щель Валя видела, как Михей вскочил на лавку и прямо полез к образнице в красный угол. «Так и есть, господин обер-лейтенант, письмо здесь от сибирского от сына Мишки...» Валя слышала, как мать ответила тихо и ясно: «Письмо подкинутое... Верьте мне, господин... Сын мой, Михаил, пропал в прошлом году, все на селе знают... Не может быть письма от него...»

Офицер вынул белую папиросницу, распыл, — сразу оттуда высунулась папироса и зажегся огонек... Михей сказал: «Хи-хи, шутро, скажите...» Офицер закурил, верхняя губа его была длиннее нижней, он поставил локти на стол и начал читать письмо. Михей, скривясь, зашептал: «Его, его письмо, Мишки, он в отряде разведчиком, с матерью сылается... А другой ее сын, Андрей, летает через фронт к этим партизанам...»

— Верьте, господин, не может он мне писать, я неграмотная... — опять проговорила Матрена.

— А вот мы сейчас узнаем — грамотная ты или неграмотная... — у офицера вдруг обозначились жилы во всю длинную шею. — Я не буду с тобой терять время. Советую тебе сразу сказать всю правду, так как боль будет ужасна. — Он завернул голову через плечо к черным солдатам. — Приготовить веревку, скамью, жаровню. — И вдруг из-под кэш козырька глубоко надетой большой фу-

ражки стал глядеть на матренины поспевшие руки, сложенные на животе.

Затем началось то, о чем Валя никак не могла рассказать даже Ване-пулеметчику: у нее стискивались зубы, выпячивалось горло и не было слов, только тоненький писк, как у мыши... Все же можно было понять, что Валя тогда несколько часов за досчатой дверью слушала пытку матери: ее стоны, оханье, вскрики боли, бормотанье — и опять — возню, и крик, и рев уже не голосом матери...

На другой день соседка, крадучись, гробралась в матренину избу. Увидела на полу кровь, клочья волос, тряпки. Валою она нашла за перегородкой на раскиданной постели среди искусанных подушек. Девочка была без памяти. Соседка перенесла ее к себе. А дверь матрениной избы подперла колом и закрыла ставни.

Дни стояли томительные, знойные, безветренные. На дорогах не улеглась пыль от бесчисленных потоков машин. Мелкое солнце жгло сквозь пыльную мглу. Юрий появлялся в землянке редко, — худой, черный, злой, — говорил сквозь зубы до того скрипуче — надоедало слушать. Все понимали, что военная проза близится, — пемцы готовят где-то удар, и он будет жестокий...

Приехал на «антилопе» капитал — командир батареи, лицо его стало еще шире, весь он — от усов до сапог — был серый от пыли. Сел под дубочком на скамью у одного столлика, с удовольствием снял фуражку, попросил ключевой водички.

— Со ставни заехал к тебе, — сказал он Юрию, — больно раки у вас в оврате хороши, подбрось полсотенки. — Он подозвал Валою и одобрительно помял пальцами ее округлившиеся щеки. — Веселая стала, ишь ты — глазастая... А помнишь — шоколад не хотела есть? — Он так густо захохотал, что Валя пошатилась. — Теперь все ешь? Молодчина, девка... Ну-ка — поди, потаскай мне раков пожирней.

Капитан выпил полтора котелка студеной воды и, закурив, стал болтать о том и о сем, о чем в часы досуга говорят на фронте: о демашнем, о мялом, о прошлом и о том, что уток и тетеревов развелось в этом году, как комаров. «Осенью получу отпуск, съезжу к матери на Урал, там похочусь...» Позавидовал Юрию, что ему по службе приходится мотаться туда и сюда... «А я, как барсуку, сижу на батарее, все мечтаю: достать бы мне сочинения Александра Дюма... Читал? А я не читал, говорят, — не оторвешься...»

— Про немцев что слышно? — проскрипел Юрий.— Скоро кончится эта канитель?

— Дней через пяток ждем... Заметно нервничают немчики. На моем участке сосредоточили артиллерийский полк,— переловили. На передовой сидели у них тотальные, теперь сменены отборными частями,— ордена, медали чуть не у каждого. Языка брать — почешешь в затылке. Танков, авиации стянули ужасное количество... Ждем, ждем... Это ты точно, что надоело.

Выпятив острый нос, Юрий сказал:

— Навернутся они на нас.

— Это точно, не сорок же первый год... Духу ему дадим...

Капитан с удовольствием переменял разговор, когда Валя в ивовой корзине принесла зеленых, сердито шевелящихся раков. Капитан надел фуражку, поднялся, потягиваясь:

— В гости на батарею не зову... Шут их знает — могут они и сегодня в ночь двинуть... Мои разведчики приказ перехватили: три дня дается на окружение Красной Армии и четыре дня на ликвидацию... Мы посмелись... Ну, прощайте... Скоро, может быть, не увидимся...

Теперь пыль пошла не от одних колес,— грохотал и застилался черной завесой весь горизонт на западе. Ревело и, надрывая уши, выло небо от невиданного числа самолетов. И так — день и ночь, пелела и другая. Сшиблись, шакопец, два многоголовых великана. Торопливо, по-муравьиному, копошился тыл, ехали и шли роты, полки, дивизии, не разбирая дорог мчались грузовики, полные снарядов, будто Волга, Урал и Сибирь полными пригоршнями швыряли раскаленные угли в эту громокипящую полосу земли, где немецкие армии в смертельной ярости силились пробиться сквозь русские армии и не могли пробиться и сломить их, и гибли, и новые болотно-зеленые роты, батальоны, полки и дивизии выскакивали из вагонов, грузовиков, мчались в танках и за танками и разрывались, сжигались, обугливались, взлетали клочьями на воздух во взрывах русской артиллерии, воздушных танков и гвардейских минометов.

В эти дни про Валю забыли. Однажды застучал Юрий за папиросами,— ввалившиеся щеки поросли щетиной, провалившиеся глаза выпвели. Он увидел: в землянке, где уже с неделю никто не жил, было чисто подметено венником, койки прибраны, на ржавой нечурке стоял крохотный желтенький букетик. Валя сидела и тихо шила из запощенного лоскута кусольную рубашку, здесь же лежала и кукла, смотанная из автомобильного

тряпья, лицо у нее было из бумажки с нарисованными глазами.

— Здравствуй, Валя, ну как — ниче одна не боишься?

— Нет, не боюсь, дядя Юра.

— А как ты без горячего?

— Спички вышли, оставьте мне спички дядя Юра... Я варила и горячее...

— Ничего... Держись, Валька... Дел идут не плохо... Прощай...

Село Владимирское было захвачено так внезапно, что не ушел оттуда ни один немец. Не успело удрасть даже гестапо,— огромный грузовик с черными солдатами и командиром был перехвачен на грунтовой дороге и сожжен со всем содержимым. Фронт продолжал продвигаться на запад. Юрий вместе с хозяйством перебрался в рощу близ села Владимирского.

Шофер Гриша, рассказывая в сумерки после ужина всякие военные новости, о которых шоферы почему-то узнают раньше других людей, сообщил между прочим:

— Наша-то Валька — такая напористая девочка,— давеча бегала в село и рассказывала про этого самого Михея Ивановича фамилия-то у него чудная — Пепей. Вернулась угрюмая: Пепей как сквозь землю провалился. Жители о нем говорят: «Хуже чумы у нас был, мы, говорят, живого бы его в землю зарыли, он это знает... Вот и ушел...»

Едва только Гриша помянул про Михея Валя появилась. Нахмуренное лицо ее было как у взрослой, губы поткаты. Села на краешек бревна рядом с Юрием. Когда все отговорили и Ваня-пулеметчик, вытаскивая немецкую губную гармонь, начал насвистывать, Валя сказала, опустив голову:

— Дядя Юрий, найдите этого человека, кто маму мою мучил.

Тогда все обернулись и посмотрели на девочку. Юрий, подергав ноздрей, ответил:

— Мы постараемся, Валя, это сделать... Товарищи, надо бы собрать о нем сведения.

За это взялся шофер Гриша. Через несколько дней, в такой же час, он мог уже кое-что рассказать.

— Михея Иванович пришел в село со стороны, лет восемь тому назад, женился на одной колхознице-вдове и вскорости вогнал ее в гроб. Про себя говорил, что он потомственный шахтер, но, вероятнее всего, его отец и он до революции были подрядчиками на шахтах. Был он зол и увертлив. Всегда у него в избе, принеся закуски или за деньгами, можно было достать самогону. Одно время стал к нему ездить пьянствовать ветери-

вар, и они вот что устроили... (Узналось об этом позже, при немцах, когда Михай сам стал хвастать своей ловкостью). Накануне шкорова, рано утром, доярка пришла в коровник и увидела — симментальская корова «Председательница», гордость колхоза, лежит на соломе дохлая, с широко оскаленными зубами. Начался переполох. Ветеринар ночевал у Михея и пришел вместе с колхозниками, осмотрел «Председательницу». — «Отойдите, товарищи, — сказал веско, — есть опасение, что это сибирка». Корову со всеми предосторожностями отволокли за село, зарыли вместе со шкурой, коровник дезинфицировали. Слава богу, падежа больше не было. А Михай и ветеринар всю зиму ели солониху. Что же сделал Михай, чем потом завалился? Взял он здоровенную картошку, ночью с поддельным ключом прокрался в коровник и картошку ловко засунул «Председательнице» в дыхательное горло, запустив по локоть руку ей в рот. А на другую ночь они с ветеринаром корову откопали и освеживали.

Когда началась война с немцами, Михайю того приободрился, что не мог скрыть злобной радости и весь этот день встречал людей и повторял, сверкая глазами: «Ох, пощелется кровушка... Ох, кровушки теперь щелются...» Когда пали, отступая, проходили через село, натаясь от усталости, голые и невеселые, и красноармейцы потучались к Михею — попросить молочка, и приподнял окошечко: «Нету, нету, родные, советская власть все подчистила». Когда вошли немцы — вслед за танками — Михай, причесанный с маслицем, в чистой рубашке и хорошем пиджаке, стоял у ворот, держа на вышитом полотенце каравай с серебряной соложкой. Он кланялся немцам до тех пор, пока один из офицеров, проходя, не взял у него каравай, передал солдату и сказал: «Отлично, хвалю...»

Вскоро Михай начал ходить по дворам и заводил разговоры, присев на крыльце, встукивая палочкой и двусмысленно поглядывая на стоявшего хмурого хозяина и хмыкну с растерянным лицом:

«Не знаю, — рассуждал, — а право не знаю, как жить теперь будем при новой власти, колхознички? Сторяча-то я, сам знаешь, хлеб-соль им поднес... Но теперь, между прочим, начал сомневаться... Все-таки советская власть кое-что дала... Конечно, при немце — порядок, частная торговля и вообще, но хозяин он крутой... И так думаешь и эдак думаешь... Вот и хожу по людям. — И оп, морщась, чесал палочкой за ухом. — Привычка... Общество... Коллектив... Гляди, — многие ведь в партизаны уходят, значит —

что-то есть... Прочно ли немцы тут основались? — тоже вопрос... Ты-то как думаешь, Степан Петрович?»

Солдаты немецкого гарнизона вначале — педелию, другую — будто не обращали особенного внимания на население. Жили, как на курорте, — производили учения, играли в футбол, дудели на трубах, расхаживали в одних трусах, бесстыжие, по улице. Но когда приехали черные и около школы на фанерном листе вывесили объявление с угрозой — по всякому поводу — смертной казни, немцы показали волчьи зубы. Ограбили село организованно — дочиста, и то, что не увезли в грузовиках черные, подчистили солдатики гарнизона.

Гестапо начало интересоваться каждой семьей. Тут и поняли владимирские, зачем к ним ходил Михай точить двусмысленные речи. Ловко, подлец, незаметно выведывал между слов — у кого сын или зять в Красной Армии, кто был связан с местными коммунистами, кто дружил с учителем Вережкным. Учитель накануне прихода немцев скрылся из села вместе с несколькими молодыми ребятами, и теперь, говорят, он в районе взрывает мосты и склады, подорвал один поезд с панцирным эсэсовским батальоном и немало съел грузовиков на дорогах.

После страшной гибели этого эшелона (со всего хода вагоны взгромоздились один на другой и повалились с высокой насыпи) черные стали брать людей — и старых и подростков — и отводили их в школу. Брли преимущественно с тех дворов, где бывал Михай. По ночам из школьного подвала в одушники вылетали такие раздражающие крики... Слышали их далеко на конце села, и люди не могли спать, сидя на лавке молили головами, старики и старухи шептали молитвы...

Про Михея начали говорить, что он бьется при пытках, помогает немцам — иначе почему на его дворе появились две коровы и бычок. Сам он теперь ходил в зеленой куртке, подстригал бороду и волосы, а один раз видели, как курил сигару. Люди, завидев, что он заворачивает к их избе, прятали еду и одежку, что осталась, усылали детей подальше. Пускать Михея не хотелось, не пустить было опасно. Он приходил к людям теперь не просто, а вытаскивал из кармана бутылку шнапсу...

«Не любят меня соотечественники, — говорил, саясь за стол, — вижу, все вижу... Не верят мне... Слетни про меня плетут, слетни... (Из другого кармана вытаскивал сало и резал его квадратными кусочками.) А я разве не человек? Зверь что ли я или

чорт? Эх, милье вы мои, скучно мне... Так мне скучно с немцами! Верят они мне с того самого часа... А уж немец поверил,—его не пошатнешь... Это — техника, организация... Ему думать некогда, он думает мало...— Михай наливал, пододвигал голодному хозяину стаканчик и сальце.— И ведь это они про меня лущают гадость, будто я в гестапо работаю... Связывают меня, чтобы Михею — в случае чего, вернется советская власть — деваться было некуда... Ну, давай, кум, выпьем, что ли... Если я по слабости не так сделал, не то сказал, простите меня, Христа ради... Вот эту бутылку у них попросил,—дали, а как? «На!» — в морду ткнули, как собаке... Вот, коровы мои тоже... Ведь эти деньги на коров давно у меня были припрятаны... Люблю молочко, а еще больше солонишку люблю.— И он лукаво подмигивал и, смеясь, наливал по второму.— Да чорт с ними, с коровами, когда такая про меня слава... Брошу все, уйду отсюда... Переберусь через фронт,—делайте со мной что хотите... А то к Веревкину пойду, упаду ему в ноги: «Кровью,—скажу,—хочу покрыть все грехи...»

Хозяин — поумнее — молчал, не глядя в глаза, хозяин — попроще — начинал верить и подкивать. А через несколько деньков за ним являлись черныи.

Юрий пошел вместе с Валею в политотдел к майору и рассказал ему про Михея. Тревожно переводя глаза с Юрия на майора, Валя с таким напряжением слушала, что казалось вся маленькая жизнь ее теплится одной надеждой — прийти этого человека, а не найдут и — замрет огонек. Майор записал данные. «Будем искать подлца...» И Валя улыбнулась, всмотрелась в него и опять тревожно затрясла лицом.

По дороге в рощу в свой лагерь Юрий шагал быстро, Валя рысцой попевала за ним...

— Дядя Юрий, а он найдет?

— Почем же я знаю, Валя... Раз сказал, значит, будет искать...

— Дядя Юрий, я сама тоже пойду искать его.

— Куда ты пойдешь! Глупости... На мину попадешь или грузовик задавит...

— Пельзя?

— И пельзя, и не приставай, и замолчи...

Несколько дней Валя грустила, отвечала только: «да», «нет», сидела в сторонке, сдвинув коротенькие приподнятые брови. Однажды утром ее не обнаружили в землянке. Убежала. Стали обсуждать, — ясно, пошла на розыски Михея. Так всем было неприятно! — чорт! — пропадет девочка. Гриша ходил в

село, расспрашивал; кое-кто действительно видел ее около заколоченной матрениной избытки, кое у кого она спрашивала про Михея, а куда пошла потом — никто не видел.

Дня через три Валя прокралась в лагерь нечесаная, исцарапанная, чумазая. Ее не ругали, не расспрашивали, обошлись сурово — и только. Валя проснала чуть не сутки, наелась, а утром ее опять не обнаружили.

Одна женщина, жена местного коммуниста, вернувшаяся с двумя детьми в разоренный дом, рассказала соседям (а через час двое мальчишек прибежали в рощу и рассказали об этом шоферу Грише), что километров пятнадцати от села на дороге, встретила матренину дочь, и та все ей поведала, так то жалобно... «И ведь какая смышлена девочка, догадалась, что Михай непременно укрывается где-нибудь на военных работах... «Все обойду, тетенька Степанида, где дерогачинят, где противотанковые рвы роют, всех в глаза погляжу...» Пошлакали мы с ней, дала ей сухарик, и она пошла...

— Дядя Юрий, а дядя Юрий, вставайте-ка скорее, пойдете.

Юрий глубоко засопел, просыпаясь. Утром чуть брезжило в маленькое окошечко землянки. Валя стояла у койки, трогала его за лицо...

— Пашлась... Здравствуй... Ну и дрянь же ты девочка... Чего меня тормозишь!

— Идете к этому дяденьке, куда мы ходили с вами... Дядя Юрий, я ведь его нашла...

У нее странно зазелен голос. Юрий, все еще соня, потянул сапоги, подносаился, приглядел вихор...

— Ну и ну! Неужели нашла?

— Ага... Там я все расскажу, только скорее.

Они пошли в политотдел к майору, который спал на двух сдвинутых лавках, завернувшись в шинель и положив портфель под голову. Валя, не дожидаясь, когда он стухается и сидит к столу, торопливо начала рассказывать, как она нашла и узнала Михея: «Двести километров исходила, все-таки он мне попался... Дяденька, он усы и борода сбрил, только я одна могу его узнать...»

Немного спустя майор с Валею выехали на то место, где чинилось подорванное немцами шоссе. Валя, стоя в открытой машине, напряженно глядела сквозь стекло. Подняла руку, обернулась и шопотом — майору:

— Здесь... — Какой-то сутулящийся человек, белый от известковой пыли, с заматанной платком головой и обернутыми тряпьем, раздвинутыми ногами, колот щебень. Когда остановилась машина, он поднял голо-

ву, прищурился, и короткошосное обритое лицо его все сморщилось, будто он взглянул на свет...

— Он! — крикнула Валя, указывая на него пальцем.

— В чем дело? — хрипло спросил этот человек у подошедшего майора. — Документ мой? Пожалуйста... Все в порядке... — И он, полоснув колючим глазом стоявшую рядом с майором девочку, низко нагнулся и опять стал колотить камешь.

Майор спросил, перелистывая паспорт.

— Ваша фамилия Павлов, Алексей Демьянович, девяносто третьего года рождения? (Холодная валяная рука схватила его руку и сжала.)

— Правильно, Павлов Алексей Демьянович, — не поднимая головы, ответил тот. — А в чем, все-таки, дело?

— А в том, что паспорт твой из немецкой юмендатуры...

Человек медленно качнул головой, усмехнулся:

— Вы меня на пушку не берите, товарищ, паспорт мой выдан смоленской милицией, я беженец из Смоленска, инвалид гражданской войны. — Он вдруг потянул пояс. — Тоже, жизнь собачья... Колоти камни, звать нечего... Пролитва кровь за советскую власть, тебе же вош что подносят: из комендатуры начпорт...

Майор до этого молчал, а как человек зашел со слезой, майор вынул пистолет:

— Встать! — Человек нехотя поднялся и сердито бросил молоток. — Подними руки... (Майор похлопал по его карманам.) Иди к машине, вперед меня...

Михей не долго запирался, — его сразу опознали свидетели. Тогда он начал все рассказывать.

— Под немцем был пьян без просыпу, сначала-то от радости, а уж потом совесть свою заливал проклятым... Не скрываю — встретил немцев с хлебом-солью, поверил, что под немцем-то стану жить, понимаете гражданин следователь — жить! Но меня они обманули, прошу дать возможность об этом объявить по радио, всенародно... С охотой, с охотой вначале-то работал у них, в качестве, как говорится, артиста... Интересно было из упрямого-то мужика выудить, что он на самом деле думает, сивозалпый... Он мне не доверяет, он унирается, а я его, как голого, вижу и сказать заставляю... Советская власть мной пренебрегла, а здесь я развернулся... Когда моих мужичков пачали таскать в гестапу, да я услышал, как они там кричат.

ах, — что я наделал! Опомнися, заметался... Руки на себя хотел наложить... Но опять — водка, опять страх перед черными... Ужасные люди, гражданин следователь... И уж тут я покатылся на дно... Лопнула в душе у меня струна, гражданин следователь... Спрашивайте, — все расскажу, все покажу... Такое, что волосы дыбом встанут...

Несколько ночей он рассказывал о муках русских людей, о пытках и казнях в гестапо. Показал яму, где зарывали трупы замученных, показал зарытые немцами в подвале школы орудия пытки: жаровню, железные крючки, которыми подвешивали за ребро, резиновые плети, деревянные иглы-занозы, вбивавшиеся под ногти...

Рассказывал о пытках тихим голосом, обстоятельно, будто о каком-нибудь кустарном заводике, где били скот и делали колбасу... «Присутствовал, при многих пытках присутствовал», — бормотал он, закрыв глаза. И вдруг упал на пол, стал погтыми скрести землю: «Вот она кровушка-то, вот она кровушка...» — и целовал земляной пол...

— Бросьте ломаться, уж очень вы противны, — сказал ему офицер, который вел следствие. Затем, уже в камере задал вопрос: — Вы, Михей Непей, думали когда-нибудь, работая на немцев, что продаете русский народ, продаете родину?

— Думал, думал... Так ведь свая рубашка к телу ближе...

Словом, для трибунала все было ясно. В присутствии жителей села Владимирского, теснившихся около школы, в самой школе и на подоконниках, суд приговорил Михея Ивановича Непея к повешению. Когда судья произнес это слово, Михей, стоявший прямо, с вытянутыми по швам руками, даже не моргнул, ничего не изменилось на его щетинистом, припухломом лице с ивиеньким лбом. В зале удовлетворенно ахнули, и сейчас же сотни рук захлопали в ладоши, и женский голос крикнул злобно:

— Мало ему, подлецу... Мало ему такой казни... Шкуру с него надо содрать...

Наутро около виселицы опять собралось все село. Михея привели под охраной четырех красноармейцев. Он шел как на ватонных ногах, низко уронив голову. Судья опять прочел приговор. Михея подвели к табуретке. Он попятился. Его подхватили, поставили... И все увидели его ненавидящие беловатые, плоские глаза.

Валя, стоявшая совсем близко от него, закричала, сжимая кулачки:

— Покричишь, как мама моя кричала...

Емельян Пугачев

Историческое повествование

Глава шестнадцатая¹

Капрал Сидорчук. Дядя Митяй и медведь Мишка. Завод распахнул перед Хлолушей ворота. „Мы — вечно-отданные люди“

1

Старый капрал полицейской службы Сидорчук, злой по природе, был вконец развращен заводской администрацией подачками, побрякками и всяческими поощрительными награждениями за верность хозяину и за ненависть к работным людям. Мужики и мастеровые боялись его, как бешеной собаки. Он наушничал управителю, оговаривал невинных, умел ловить беглых, как борзая зайцев. Ему не раз грозила народная расправа. У него пробита голова, поломаны ребра, но счастливая случайность всегда спасала его от гибели.

Старый капрал Сидорчук гонит коня по знакомой лесной дороге через тьму и начавшуюся непогоду. Ветер шел накатом: подует, приостановится да опять ударит. Снег валил. Сердце капрала радо: он счастливо сбегал от разбойников, от этого гнусавого лешего в черной сетке, от этого неминуемой петли. Ах, черти, ах каторжники!.. Вот ужю, дай срок, он им покажет нового царя, Петра Федорыча...

Капрал остановил коня, разинул рот, прислушался: слава тебе господи, погони не чуток! Да разве мыслимо в такую непогоду человека отыскать в лесу. Поди, разбойники там у костров и започуют, а он, Сидорчук, к утру на заводе будет, добрую встречу этой шайке головорезов устроить постарается. На заводе, слава богу, сила есть, — одних полицейских солдатешек да стражников полтора-ста человек, при четырех унтерах. Окромя того, дружина из мастеровых имеется. Дружинникам только водки посулить да кой-какую побрякку на работе, — ну, они покажут им царя, встретят воровскую шайку картечами да ядрами. Ха-ха!

Раздумывая так, капрал подстегивал коня, подавался довольно ходко. Холодно зато чего-

то стало. Эх, окатить бы душеньку винцом!.. Славно бы!..

Погода действительно разбушевалась не на шутку. Густой лес задвигал плечами, зашумел. Ветер теперь швырялся в лицо капрала липким снегом, слепил глаза, затруднял дыхание. Конь пошел лениво, спотыкался, воротил морду от ветра, всхрапывал. Лес загудел сплошным, непрерывным, все нарастающим гулом. Фу ты, напасть!.. Неужели доведется свернуть куда-нибудь в трущобу да огонек разжечь?

Ехал капрал, ехал и вдруг приметил: справа от дороги мутнеет сквозь сумасшедшую летучую пургу какое-то расплывчатое светлое пятно. Не иначе, как костер горит. Кто же это там? Куреня, кажись, тут не предвидится. Ну, стало быть, беглец какой не то... Вернее верного.

Капрал минутку подумал, с храброй решимостью соскочил с коня и повел его с дороги в лес. Конь то и дело всхрапывал, нервно приплясывал, сторожко косился по сторонам, словно чуял нечто недоброе.

В густом лесу было тише, чем на дороге, и костер вдали обозначился более явственно. Да уж не так далеко до костра, не будет и полтора-два сажен. Капрал осмотрелся, выбрал приметную кривую сосну и привязал к ней лошадь.

— Стой-ка тут, а то, брат, ты только трюхи-трюхи мешать мне будешь, — сказал он и, вынув из переметной сумы сложенный кольцами аркан с петлей на конце, направился в обход костра. Полкрадется сзади и набросит на человека петлю.

Он шел осторожно, чтоб не трещали под ногами сучья, и оборонял глаза от колючих веток. Не успел он пройти и сотню шагов, как перед самым его носом раздался резкий хряст чащобы. Капрал вздрогнул, метнулся прочь. Медведь рывнулся, вспрыгнул на дыбы и, дыхтя, двинулся на человека. Сзади всхрапывала, взвизгивала, била задом почуявшая зверя лошадь. Капрал обомлел. Но, мгновенно овладев собой, что есть силы взголобел:

— Мишка, Мишка!.. Я тебе!.. Прочь пошел, прочь! — И побежал к лошади: там осталось ружье со штыком. Однако медведь, бросившись за ним, ударил его лапой, свалил на землю и надел на него.

¹ См. «Октябрь» №№ 4—5, 6—7 и 8—9 за 1943 г.

Капрал, вступив в единоборство с мишкой, орал на всю тайгу, застрашивая зверя. Рывал и медведь. Капрал был одет плотно: в нагольном полушубке, в овчинных штанах, в высоких валенках. Он был увертлив, силен, он немало на своем веку ухлопал зверя. А медведь, по счастью, был не из матерых, но все же он сильно тискал человека и плевал ему в лицо, облавая горячим, как из печки, дыханием. Капрал, как можно пряча от мишки голову, старался выхватить из-за пояса нож, но ему это не удавалось: медведь прижал его к земле как раз левым боком, где был нож. Стремясь выползти из-под зверя, сбросить его с себя, капрал всячески извивался и сучил ногами, взрывая запорошенный снегом мох. Но вот острый нож в его руке. Однако рука не имела размаха. Капрал резким толчком ткнул медведя в брюхо и рванулся. Медведь рывкнул, вскочил на все четыре лапы и, разъяренный, снова напал на человека. Раздирая когтями полушубок и широко оскалив пасть, зверь целился перегрызть человеку горло. Капралу пришел последний час, капрал взмолил: «Господи, помоги!» и, изловчившись, забил в пасть зверя огромную мохнатую рукавицу из собачины. Тут прозвонел чей-то осатанелый голос:

— Бей его, бей его, чорта!— и спасительный топор хлестко ударил медведя по черепу.

Зверь бросил свою жертву и, яростно скакнув к новому человеку, отчаянно защищавшемуся топором, сразу смял его на землю и навалился на него. Человек жутко завизжал.

Вскочивший капрал кинулся на выручку и сильным взмахом всадил нож меж лопатками зверя. Медведь охнул, рывкнул, бросил человека с топором, мгновенно подмял под себя капрала и, кровожадно зарывчав, впился ему в плечо предсмертной хваткой.

— Ой, ой, ой!— завопил капрал от нестерпимой боли. Но подоспевший человек, заскрипев зубами, с размаху рубнул острым топором зверя по загривку. Зверь кинулся вперед, захрипел, скатился с капрала, рухнул набок, вытянулся, подергал лапами, протяжно вздохнул и, истекая кровью, стих.

Измученные, потрясенные, два человека дышали надсадно, с хрипом. Им казалось, что вот-вот их груди от напряжения лопнут и сердца разорвутся. Выпучив глаза и широко открыв перекосившиеся рты, они стали. Липкий пот, смешанный с растаявшим снегом, обильно стекал с их лиц, обнаженные головы взмокли. Их трепала невероятная дрожь. Люди дробно ласкали зубами, у

них поджались, как у пьяных, ноги: они хотели окликнуть один другого, но голос исчез, горло сжимала спазма. Они изнемогли от усталости в неравной схватке с разъяренным зверем.

Первым очнулся капрал. Отдуваясь и пытаясь, он подел горсть снега, стал обтирать им окровавленные руки и освежать пылавшее лицо. Его коса в схватке растрепалась, длинные, как у женщины, волосы разметались по плечам.

И вот оба — глаза в глаза — через побуревшую от снега ночную темень люди взгляделись один в другого, и оба сразу с фатальным отчаянием воскликнули:

— Сидорчук!

— Митрий!

Два давнишних врага, более опасных и яростных, чем лесные звери, вдруг испугались своих голосов и оцепенили. Непостижимая встреча и случай взаимной самоотверженной борьбы с медведем-стервятником поразили их. На них снова напало болезненное оцепенение, вся кровь ударила в мозг.

— Спасибо, что спас меня, Митрий. От неминуемой смерти спас,— задыхаясь, через силу сказал капрал.

— Еще неизвестно, спас ли... Не больно-то благодарю,— набираясь силы и мужества, мрачно буркнул дядя Митяй. В нем поднялась на дыбы давно копившаяся ненависть к насильнику.

Капрал попытался от сердито выпученных глаз своего врага, который показался ему страшнее только что убитого стервятника.

— Сволочь ты!— грубым басом выругался капрал.— Хоть и спас меня, а сволочь!..

— Кабы я ведал, что это ты, так не медведя, а тебя бы стукнул,— и Митрий, угрожающе надвигаясь на капрала, выхватил из-за кушака топор.

Капрал до-нельзя оробел. Он был безоружен. Боясь повернуться к мужику спиной, он напряженно следил за всяким его движением и быстро пятился.

— Ты итак в прошлом году мне голову, варнак, прошиб!— отступая, кричал он на мужика.— Я едва ноги уволок из вашей ватажки разбойничьей... Варнак ты, язви тебя в душу!

Допятысь до истекавшего кровью медведя, капрал проворно нагнулся и вытащил застрявший в звериной туше нож.

Обозленный Митрий азартно замахнулся топором с правого плеча и заорал:

— А ну, капральская твоя душа, управительский прислужник, стой на месте!

«Убьет, леший!.. О пожом против топора

не устоять», — испугался капрал и бросился бежать.

Ветер почти стих. На фоне снега и побелевших, облепленных пургой деревьев темнела туша поверженного зверя и чернели быстрые силуэты гнавшихся один за другим людей.

Капрал прытко поспешал к кривой сосне — где конь, но коня не оказалось. И черт его ведаст, куда запропастилось ружье со штыком!

— Стой, нечистый дух, стой! — что есть силы гомосил мужик.

— Геть с дороги!.. Убью. Так и так убью! — гремел гулким басом озверевший капрал. Он было приостановился и засверкал ножом, но, снова струсив поднятого толпы, спрятался за дерево.

Попался спасительный, в три обхвата, кедр. Враги, тяжело дыша и ругаясь, стали кружиться возле кедра. Только и слышались хруст валежника да безумные выкрики: «Убью!» «Убью!» «Молись, нечистая сила, богу!»

Увертливо кружась под защитой кедра то в ту, то в эту сторону, капрал вспомнил о висевшем у него за поясом аркане и стал выискивать случай внезапно обмануть ретивого врага. Вдруг петля жинхнула, опутала Митяя. Капрал рванул аркан, мужик упал. Капрал с победным гоготом всей тушей навалился на него.

Завязалась ожесточенная, последняя борьба. Враги хрипели, перекатывались один через другого. Силы мужика ослабевали, капрал тоже изнемогал. Но вот он сделал последнее усилие и оседлал врага.

— Только и жить тебе, проклятый! — с зубным скрежетом, торжествующе выдохнул капрал и, зажав в горсть острый нож, ожесточенно замахнулся им. Но в этот миг он получил оглушительный удар по голове калмыцким «волкобоем» — ременной нагайкой со свинцовой пулькой на конце.

— Биря-биря!... А-гык!.. — визгливо вошел верхоконный башкирец, крутя нагайкой.

А двое спешившихся казаков рванули оглушенного капрала за пиворот. Помятый дядя Митяй расхлябанно поднялся. Из подарапанной щеки его струилась кровь.

Капрал быстро пришел в чувство. Он был окружен шумными людьми. Он слышал вокруг себя издевательский, злорадный хохот и язвительные выкрики:

— С праздничком, Сидорчук! Ха-ха!..

— А и ще гораздо же далече ты утек от нас!

Капрал в удрученной позе сидел на снегу,

вытянув ноги, опершись кулаками в землю и уронив на грудь седую голову. В правую руку — кривой татарский нож.

— Вздернуты! — приподняв сетку, прыгнул зал с коня Хлопуша.

Башкирцы подобрали капральский аркан и стали готовить петлю.

Капрал встретил смерть молча.

2

На рассвете в заводский поселок прибыл капральский конь и стал ржать возле своего восточного ворот. Жирная старая капральша уже растопила печку. Пакинув на плечи шаль, она взяла чадающий каганец и поспешила войти в хозяйный двор. Но на улице не было хозяйни. Едва не стоптал капральшу, взмылся в калитку конь с оборванной уздой и чмокая копытами по вязкому навозу, просочился к яслям.

Старуха довольно долгое время кричала мужу на все лады: «Паумыч! Паумыч! Пурхаясь по сугробам, обогнула кругом пазухи, заглянула в переулок, пробралась на огорода, — нет нигде Паумыча. На нее напал страх. Запыхавшись, она бросилась в полупустую казарму:

— Ребята! Будет спать, вставайте. Капрал пропал!

Вскоре шесть верхоконных молодцов двумя ценными псами выбежали из ворот Авзяно-Петровского завода и галопом направились по лесной дороге.

В лачугах и домочках уже зажигали утренние огоньки. С востока шел рассвет. На чистом небе гасли звезды, морозные небесные просторы расширялись.

Большинство заводских еще вчера решило на работу сей день не выходить, — сей день провозить убитого Павла в могилу. Если же Ванька Каин умыслит совершить над ним какое-либо лихое дело, в обиду не даваться.

Управитель еще спал, во сне скорготил зубами и мычал. Лежавшая с ним бок о бок Домна Карповна потрясла его за плечо:

— Валя, Валя, проснись!.. Чего ты?

Управитель вскочил, испуганно осмотревшись, нахмурил брови, снова прилет на изголовье, раздражительно сказал жене:

— Не буди... Я не спал всю ночь. Сны какие-то... Нездоровится.

Но вот на деревянной колокольне с полнейшей внезапностью сполошно зазвучал набат.

— Пожар! Ой, батюшки, пожар! — И управитель со своей супругой враз вскочили.

За окнами сумятица: люди бегают, вскрикивают, слышется отрывистые выкрики.

— Ворота, ворота! Запирай ворота!— гоготали с коней стражники, стремительно несясь к заводским воротам.

— Эй! Чего стряслось?— вопрошали выскочившие из жилищ полуодетые мастеравые.

— Братцы! Кто в дружине, живчиком собрайтесь на стены, к пушкам. Орда идет!— кричал проезжавший на рыжем бегущем урядник.

По площади и через плотину торопились люди с ружьями, с железными палками, скакали стражники, урядники, строились в шеренги старые солдаты. Вся площадь шумела, суетилась. Разных мастей собачонки с лаем поскакали взад-вперед, у ворот хибарок, у колодца собирались любопытствующие бабы и ребята.

Дозорные с башни над воротами оповещали:

— Идут, идут!.. Орда идет!

И по всей площади, по всему поселку, из конца в конец испуганно передавалось:

— Орда идет!.. Орда идет!

Заводские люди не зря опасались таких набегов. Из месті хозяевам заводов, оттягавшим себе почти задаром башкирские вольные земли, пайки башкирцев то здесь, то там делали иногда набегн на русские жилища, или селенья, угоняли скот.

Ванька Каип носился на коне от крепостных ворот к цейхгаузу,— оттуда выкатывали пушки, вытаскивали самопалы, пищали, ясаки,— от цейхгауза скакал к «зеленому» (пороховому) погребу. А толпа Хлопуши уже успела подступить к самому валу. С башен и чрез щели тына уже раздавалось несколько выстрелов.

— Не стреляй, не стреляй в своих!— морали из толпы казаки и освобожденные в лесу беглецы.

Хлопуша, приподняв сетку и потрясая бумагой, гулким голосом возвестил:

— Отворяй ворота! По приказу батюшки-царя! Мы слуги царские.

— Чу! Ребята, слышали? От самого царя это, от батюшки. А нам бряжали— орда! Стало, верно слых было, что объявился государь,— раздались крикливые голоса за тыном, в телне сбежавшихся защитников. И многие из заводских людей уже покарabalнсь на тын, чтоб лично досмотреть царское пресольство.

А вверху, увидав с башен подкативших в лесу на подводах беглецов и углежогов, кричали:

— Глянь, глянь! Наши! Вот тебе Христос, наши!

Шеренга набежавших солдат и стражни-

ков, выставив ружья в бойницы бревенчатого тына, сыпала из патрусок на полку порох, готовясь открыть пальбу по толпе «набеглой сволочи».

Но в этот миг среди многолюдства сбежавшихся работников, словно из-под земли, вынырнул бородатый, большеглазый, с поцарапанным сухощежим лицом, дядя Митяй.

— Ха!— изумился народ.— Откуль ты, Митрий? Приятель дорогой!

— На задах, чрез заллот, миленькие мои, перемахнул. А ну, братцы! Подыми меня, чтоб всем слышать было.

Дядю Митяя живо подхватили и приподняли. Он взмахнул шапкой и, видимый всей толпе, закричал:

— Ребятунки! Страдальцы! Мы от государя Петра Федорыча. Я самовидцем был. Волю объявить мы прибыли. Хватай стражников, сукиных сынов! Вяжи солдат, отворяй ворота слуге царскому.

И не успел он кончить, как радостный рев: «Ура!» «Бей царских супротивников!» «Ностоем за батюшку!» «Ура, ура!»— захлестнул всю площадь. Оповещенные набатом, к заводу сбегались углежогн с ближних куреней, работные люди с шахт и окрестные жители.

Тотчас ворота были отперты, пушкари сброшены с башен, охрана связана, избита.

Под радостно-воинственный гул тысячной толпы Хлопуша чинно въехал со всем своим отрядом на Авзяно-Петровский, дворянина Демидова, завод.

3

Церковный колокол снова неумолчно бил в набат, сзывал народ с окрестных жителей, шахт, рудников, куреней, с лесных работ. Уже многим известно было, что к ним прибыл от самого государя главный царев приказчик. На саях, телегах, верхом, пешком, вприпрыжку собирались к заводу работные люди, с бабами и малыми ребятами. Всех разбирало любопытство.

Арестованный управитель сидел под надежным караулом в своем доме. Хлопуша в сопровождении дяди Митяя, приказчика Макайма Копылова и старых мастеров вот уже более двух часов осматривал заводские мастерские, домницы, склады. А когда ему сказали, что народ собрался, он снял сетку, повязал нос чистой тряпкой, сел на коня и, окруженный казаками и башкирцами, проехал на площадь к церкви.

— Здорово, работный люд!— закричал он во весь глас.

— Здорово, батюшка!— ответила вся площадь.

— Я привез вам поклон да милость от нашего великого государя Петра Федорыча!..

— Рады ему, государю, служить!— с восторгом ответили передние.

— Рады служить и работать великому государю!— подхватила вся площадь.

Хлопуша с болезненным чувством подметил, что все как-то по особому пялят на него глаза, бабы, першептываясь, указывают на него пальцами, а ребята ощупывают свои носы и плутовато улыбаются.

— Люди заводские, прислушайте,— опять прокричал Хлопуша и поправил повязку на носу.— Ведь я тоже, навроде вас, работным человеком был, да вишь ты, начальству согрубил шибко, ну за это пос-то мне и вырвали да и знаки клейменные поставили мне на щеках— всего опасудили!..

— Ой, батюшка!— раздались соболезнующие восклицания, причмокивания.— Стало, и ты претерпел?

— А вот ныне царь-государь призвал меня, пожалел, вот как пожалел, свет наш!.. И в вам направил,— едва сдерживаясь от слез, выкрикнул взволнованный Хлопуша и мотнул головой.— Вот послушайте милостивый указ царев. Приказчик, читай во весь народ гулче,— он вынул из шапки бумагу и передал приказчику Максиму Копылову.

Тот с бумагой за печатами взомел на церковное крыльцо. Толпа прихлынула вплотную к церкви, мужчины обнажили головы.

Указом, между прочим, повелевалось:

«Исправьте вы мне, великому государю, два марталя и с бомбами и в скорым поспешением ко мне представьте».

Заводским людям обещались за это награждения и всякие вольности, а в конце— угроза ослушникам.

— Батюшка, милостивец!— загомонили приписные из деревень крестьяне.— Тут в бумаге воля объявлена. Отпусти нас домой, мы, всяк в свое отечество пойдимся.

— Тихо, тихо!.. Ничего попать не можно. Не все зараз,— отмахнулся от крикунов Хлопуша.

К нему протискался из толпы коренастый дед, его побуревшее лицо заросло длинной бородой овчинный полшубок в прорехах, голова плешивая.

— Кормилец,— сказал он, кланяясь Хлопуше.— Мы вот как бежали к тебе сейчас, так промежду нас разговор был: как волюде объявят, всем в свои деревни вертаться, кто где рожден. Вот что, желанный!.. Потому как слых прошел, что по государеву приказу вся помещичья земля мужику отходит,

ну, мы и опасаемся, как бы нас тамошни мужики-то, земляки-то наши, не побидел. Вот, кормилец!..

Хлопуша, выслушав его, закричал в паре

— Старатели! Упреждаю вас, хрестьян всем миром уходить с завода не можно. Ы покинуть завод в этакое время? Государь пушки надобны да ядра. Кто делать станет. Куда царь без оружия тронется? А ежели вы государю подсобы не дадите, так и волнику не выдать!..

— Пушков мы не делаем,— опять разлились вразнобой голоса.— У нас меди ни Эфто в Воскресенском льют, пушки-то.

— Чего?— переспросил Хлопуша и, услышав сзади себя звяк железа, обернулся.— Что за люди?— обратился он к толпе помедших рудокопов. Их человек с полсотни. Почти все они в ножных кандалах, а иные прикованы цепями к тачкам. В их несчастном облике было нечто страшное. Оборванные, донельзя истощенные, с потухшим взорами, обросшие волосами, грязные, пересытые. На фоне сытых, здоровых, щекасты мастеров и подмастерьев они напоминали собой каких-то отверженцев от света и жизни. Все присутствующие взирали на них с жалостью и содроганием.

— Что вы за люди?— переспросил Хлопуша, повертывая к ним своего коня.

Высокий, согбенный, лысый старик, как выходец с кладбища, потряс цепями и хрипло загуднул:

— Мы вечно-отданные люди прозываемся... По грехам нашим, замест каторги и поселенья в Сибирь, нас на завод сослала. Батюшка, начальник, пожалей несчастных, переведи нас всех на каторгу, куда-нибудь Сибирь-землю...— он задохнулся, седая голова его упала на грудь, и он сам повалился на колени.

Загремели цепи и все вечно-отданные опстились на колени, завопив отчаянными голосами:

— Ослобони от заводской жизни, преден на каторгу!

— Встаньте, люди, вечно-отданные парней да дворянам!— громко, чтоб все слышали, сказал Хлопуша.— Будьте вы, указом государя, вечно-вольными... Кузнецы! Не мешайте с ними оковы! Приказчик! Жили распорядись влосыт накормить их, приодеть да приобуть. Вишь, у них на ногах-то ометки какие? Идите, трудники, восчувствуйте нарекую правду!

Освобожденные, обливаясь слезами, от радости завывали в голос и, подерживая один другого, поплелись вслед за кузнецами.

А в погам коня Хлопуши, всплеснув руками, повалилась старая мать замученного управителем Павла Сидорова. Смерть сына быстро состарила ее: голова старухи тряслась, она плакала, шамкала губами, что-то бормотала непонятное.

На церковные приступки поднялся тот самый мастер, у которого работал Павел Сидоров, и вкратце обрисовал Хлопуше, как было дело.

— Ах, злодей! — закричал Хлопуша, и его обезображенное лицо перекосялось. — Немедля притащить сюда этого Ваньку Капна! Веревка есть. Перекиньте-ка петлю! — могил он на два столба с перекладиной: здесь о паше была качель для парней и девек.

Пока бегали за управителем, народ выкрикивал Хлопуше свои жалобы на Ваньку Капна, на хозяйского сына Ваську Демидова, что приезжает иногда пожить сюда в свой барский дом, пощипать, покуралесить. Да приезжает не один, а с целым поездом: тут тебе и начальство из горной екатеринбургской канцелярии, и чиновники из питерской берг-коллегии, и судьи неправедные, и какие-то барыньки — то ли девки, то ли бабы.

И еще жаловались на приказчика да раскладчиков: их шестеро, они утесняют людей рабочих, обсчитывают, обмеривают. Правда, что среди них Максим Копылов мужик ничего себе, он иным часом рабочему человеку и мирволит.

Хлопуша приказал:

— Приказчиков и всех мирских супротивников, окромя Копылова, заарестовать. Их мстить не стану, а поведу на суд и расправу к батюшке.

Звонару о деревянной ноге все видно с колокольни лучше всех. Он видел, как выскочила из дома связанного по рукам Ваньку Капна, как выскочила на мороз в одном материнском растрепанном Домна Карповна. Ловила на муже, не пускает. Вот ее отшвырнули прочь. А какой-то башкирец ажму управителя и раз и два тесаком по голове. Ванька Капн рухнул, его стали топтать с таким усердием, словно специально утрамбовывали землю. Старому звонару казалось, что мужики неведомо с чего в пляс пошли. А когда, зааркавив за ноги, притащили по снегу безголовый управительский труп, звонарь, стуча деревянной ногой, опустился на колени, осенял себя крестом и прошептал:

— Царство тебе небесное, Ванька Капн! Бошь и злодей ты был, собачья шерсть, шашь и ноги по твоей милости я лишился, а во мне судить тебя. На то бог есть.

Хлопуша распорядился толково и хозяйственно. Он велел старому священнику отцу Степану всех до единого рабочих людей привести к присяге новому царю. Присягнули также и те из солдат и стражников, кои не успели убежать и передались Хлопуше.

Были свезены и стащены на площадь все сорок пушек. Хлопуша со старым солдатом-артиллеристом отобрал из них только шесть годных, а лафеты к ним велел заново окрывать железом.

Был им брошен клич идти в охотнике служить государю. Набралось до пятисот человек — все молодежь и середовичи из заводских мастеровых, приписных крестьян и людей, работавших по вольному найму, среди которых много всякого сброда: утекляцов, разбойников, бродяг, безважных каторжан, все отпетые сорви-головушки.

Набралось бы идти с Хлопушей больше тысячи, но Хлопуша резонно объяснил, что бросать заводские работы нельзя: теперь завод не Демидова, а царский.

— Надо отлить шесть пудов чугунных ядер по пуду весом да побольше картечной дроби разнокалиберных сортов.

По всем заводским жителям немолчный гомон шел: почти все многолюдство, насильно вывезенное сюда Демидовым из дальних мест, вдруг стало торопливо готовиться к отвалу в родные свои, давно покинутые края. Чинилась веревочная сбруя, латались хомуты, подновлялись сани, вырубались в лесу березовые оглобли, бабы черестиывали бельешко, зашивали прорехи на тулупах и шубенках.

Вот уже выпечены на дорогу хлеба, отрублены курам головы, у хозяев исправных переколоты овцы и свиньи: не с лустыми же руками являться на родимые места.

Через два дня все уже было готово к отъезду: возы уложены, лошадки выкорчлены, крестьяне разбиты на отряды по своим деревням — кому ехать в Котловку, кому в Чистое поле¹, кому в село Толшино, — всего в четырнадцать жительство.

Но русский крестьянин чрез опыт всей трудной судьбы своей привык жить с оглядкой и загадывать о будущем. Вот и теперь мудрые старики решили дело с отъездом законить по-умному, чтоб впоследствии было чем оправдаться.

Собрание было шумное, по к согласью пришли скоро. Сделано постановление исключительного интереса: приговор составлен в мою и от имени народа. В нем, между прочим, говорится:

¹ Ныне — г. Чистополь.

А в ногах коня Хлопуши, всплеснув руками, повалилась старая мать замученного управителем Павла Сидорова. Смерть сына быстро состарилась ее: голова старухи тряслась, она плакала, шамкала губами, что-то бормотала непонятное.

На церковные приступки поднялся тот самый мастер, у которого работал Павел Сидоров, и вкратце обсказал Хлопуше, как было дело.

— Ах, злодей! — закричал Хлопуша, и его обезображенное лицо перекошилось. — Не медля притащить сюда этого Ваньку Каина! Веревка есть. Перекиньте-ка петлю! — могил он на два столба с перекладиной: здесь у пасеки была качель для парней и девки.

Пока бегали за управителем, народ выкрикивал Хлопуше свои жалобы на Ваньку Каина, на хозяйского сына Ваську Демидова, что приезжает иногда пожить сюда в свой барский дом, по пьянствовать, покуралесить. Да приезжает не один, а с целым поездом: тут тебе и начальство из горной екатеринбургской канцелярии, и чиновники из питевской берг-коллегии, и судьи неправедные, и мне-то барыньки — то ли девки, то ли бабы.

И еще жаловались на приказчика да раскопчиков: их шестеро, они утесняют людей работных, обесчечивают, обмеривают. Правда, что среди них Максим Копылов мужик ипче себе, он иным часом работному люду и мирволит.

Хлопуша приказал:

— Приказчиков и всех мирских супротивников, окромя Копылова, заарестовать. Их вшать не стану, а поведу на суд и расправу к батюшке.

Звопарю о деревянной ноге все видно с колокольни лучше всех. Он видел, как выскочили из дома связанного по рукам Ваньку Каина, как выскочила на мороз в одном платьишке растрепанная Домна Карповна. Повисла на муже, не пугает. Вот ее отвырнули прочь. А какой-то башкирец ахнул управителя и раз и два тесаком по голове. Ванька Каин рухнул, его стали топтать таким усердием, словно снешно утрамбовывали землю. Старому звопарю казалось, что мужики неведомо с чего в пляс пошли. И когда, заарканив за ноги, притащили по плечу безголовый управительский труп, звопарь, стуча деревянной ногой, опустился на колени, осепил себя крестом и прошелтал:

— Царство тебе небесное, Ванька Каин! Ишь и злодей ты был, собачья шерсть, ишь и ноги по твоей милости я лишился, и не мне судить тебя. На то бог есть.

Хлопуша распоряжался толково и хозяйственно. Он велел старому священнику отцу Степану всех до единого работных людей привести к присяге новому царю. Присягнули также и те из солдат и стражников, кои не успели убежать и передались Хлопуше.

Были свезены и стащены на площадь все сорок пушек. Хлопуша со старым солдатом-артиллеристом отобрал из них только шесть годных, а лафеты к ним велел запово окрывать железом.

Был им брошен клич итти в охотнике служить государю. Набралось до пятисот человек — все молодежь и середовичи из заводских мастеровых, приписных крестьян к людям, работавших по вольному найму, среди которых много всякого сброда: утекловцов, разбойников, бродяг, бежавших каторжан, все отпетые сорви-головишки.

Набралось бы итти с Хлопушей больше тысячи, но Хлопуша резонно объяснил, что бросать заводские работы пельзя: теперь завод не Демидова, а царский.

— Надо отлить шесть пудов чугушных ядер по пуду весом да побольше картечной дробн разнокалиберных сортов.

По всем заводским жителям поуомолчный гомон шел: почти все многолюдство, насильно вывезенное сюда Демидовым из дальних мест, вдруг стало торопливо готовиться к отвалу в родные свои, давно покинутые края. Чинилась веревочная сбруя, гатались хомуты, подновлялись сани, вырубались в лесу берозовые оглобли, бабы перестирывали бельишко, зашивали прорехи на тулупах и шубенках.

Вот уже выпечены на дорогу хлеба, поотрублены курам головы, у хозяев исправных переколоты овцы и свиньи: не с лустыми же руками являться на родимые места.

Через два дня все уже было готово к отъезду: возы уложены, лошадины выкоралены, крестьяне разбиты на отряды по всем деревням — кому ехать в Котловку, кому в Чистое поле¹, кому в село Толшино, — всего в четырнадцать жительство.

По русский крестьянин чрез опыт всей трудной судьбы своей привык жить с оглядкой и загадывать о будущем. Вот и теперь мудрые старики решили дело с отъездом обзаконить по-умному, чтоб впоследствии было чем оправдаться.

Собрание было шумное, по к согласью пришли скоро. Сделано постановление исключительного интереса: приговор составлен в пользу и от имени народа. В нем, между прочим, говорится:

¹ Ныне — г. Чистополь.

«Мы посылаемы были на заводы в силу указов бывшей государыни Елизаветы Петровны, и тако ныне получили указ его императорского величества Петра Третьего, императора, и с тем, что не самовольно, а в силу оного указа, ехать с заводов повелено. Мы все, приписные крестьяне, оному повинились: ехать в свои отечества согласны. Избрали мы для провождения оной нашей партии тебя, Степана Понкина. В том тебя и утверждаем, которым случаем мы, все народские люди, тебя избрали. А нам, мирским людям, быть у оного выбранного послушными. А сей приговор по приказу оного народа писал крестьянин Федор Пивоваров».

Провожатый, Степан Понкин, получил из конторы на руки проездное свидетельство в том, что «он отпущен в дом свой по силе его императорского величества Петра Федоровича указу».

На третий день в ближайшей к заводу деревне священником был отслужен «в путь шествующим» молебен, огромный обоз окроплен святой водой.

Каждая многодетная семья получила от Хлопуши на дорогу по три рубля, остальные по рублю,—деньги не малые.

— Прибудете в отечества свои,—говорил им Хлопуша,—толкуйте крестьянству, шущай они барским хлебом грузят возы, берут барских коней да подвигаются под Оренбург в государеву армию.

— Не учи. Мила-ай!.. Мы таперь прозрели. Таперь мы силу заберем. Ого!

Избы заколочены, собаки с цепей спущены. Заскрипели по снегу полозья—обоз двинулся. За многими возами—по корове.

Собаки с веселым лаем носятся, как угорелые; их целая стая,—хорошая для волков привада. Мужики шагают возле возов; на возах бабы и ребята, укутанные в рвань. Лица у всех радостные, на душе праздник, но в глубинах сознания копошится предчувствие чего-то недоброго: пугает неизвестность будущего, которое все лежит во мгле, в тумане.

— Ничо, ничо!—подбадривают мужики друг друга.—Делго ждали воляшку, вот дождались!

— Воля ли?—возражали маловеры.—Как бы эта воля да в неволю не оборотилась. Кто его ведает, как нас на родине-то встренут. Может, там солдаты с пушками нагна-на. Эх, дурь наша!..

— Ну, чего вы, мужики!—обрывал их неупывающие.—Безносый толковал, что у царя-батюшки везде своя сила стоит, по всей Расее.

— И чего вы, ребята, купороситесь,—

сказал хромой старик Игнат, подстегивая унарившихся коровенок.—Худо ли, хошь ли—все наше! Хуже не будет. Хошь ден да наш!.. Хошь спины разогнем да на божы леса посмотрим со приятностью. Вот что, ребята!

А леса кругом действительно стояли дремучие, тихие, околованные зпшим снегом. Ни птицы, ни зверя. И воздух неподвижен. Знать, пашумелись леса за лето, за бурную осень; пашумелись, устали, натрудили упрямые спины, раскачиваясь под ударами ветвей; теперь отдыхают, зашуррились, спят.

— А, мотри, ребята, древо-то божье и зиму умирает,—сказал старый Игнат, полхрамовая.—Живая душа-то из дерева мать сыру-землю до весны скрывается. Вместе с соком. И хоть бы его руби, хочиши, древу не чутко: мертвец и мергнет.

— А что брат, дедушка Игнат, ты правда башь,—подакнули ему.

— Да кто его знает... Одначе так мняте мне,—скромничал Игнат, жадно оглядывая вековые леса, в его ясных голубых глазах загорелись молодые огоньки.—А на весной, при солнышке, потекут по дереву живые соки, так и душа снова появится нем... Господи, боже мой, ну до чего же премудро устроено на божьем свете. Только разумеет умишком своим нам ничего не мдено. Думки есть смышленные, да без корня без укрепы. Спросишь себя, а как отведать—способов к тому нетути. А почему да потому, что вся премудрость в рупе божьей,—вслух размышлял он, кивая лысой непокрытой головой.

И уже возле него набралось человек с десяток мужиков: им любопытно послушать, как умствует старый Игнат—человек баятый и до народа ласковый. И все стали присматриваться, прислушиваться к твоему слову, к твоему мнению. Стали задумываться над словами дедушки Игната, и слова эти казались им значительными, мудрыми.

Но не верилось им, что лес мертв, что душа его скрылась до солнца в землю. Лес жив, и жива его душа, лес дышит, лес все чувствует, он только заснул до весны как засыпает медведь в берлоге.

Лес спит... А чтоб не ознобить на морозе свои корявые ноги, он закутал их в толстую горностаевую шубой, а свое тело и ноги в зеленые хвойные лапы он принакрыл белым шапкой, белыми пуховыми рукавами. А эвот—монахи идут, целая гурьба, в темных рясах, в белых саванах, бороны их седые, брови хмуры. А эвот-эвот лесовое страшило видное чудлице лежит, морда круглая, глаза

ди по лукошку, хребтина извихлялась, будто у змеи. А эвот, за той страшительной злодиной, похожей на чудовище,— кучка шей мал-мала меньше, с черными режницами, белых, надвинутых на ухо колпачках, красные языки вывалились из губастых ртов, над головами козлиные рога,— ну, чиста чертенья! А эвот на ветвях либо нежить, либо сама русалка разметалась-разлеглась,— свесила до земли черные косищи, жестыпо выставила снеговые, круглые, как гдевки, груди... Ох, господи, прости!.. Много в лесу страхов, много и соблазна.

Вперед обоза сехал с семьей на паре прожатый, Степан Понкин, чернородый с гвыми глазами дядя. По дороге вылезали из своих землянок дико видом, пещерные люди, бросали свое барахляшко на порожние шеволы и, поклонясь артели, приставали к боу.

— Ну, проклятый Демидов, до увиланьи! — потрясали они кулаками в сторону завода.— Гори ты, проклятый, огнем вечным!.. — И хриплый хохот вырывался из их пораженных чахоткой грудей.

Хлопуша с пятью казаками поместился в много обставленном доме дворянина Демидова. Два писаря составляли подробные ведомости имуществу, а казаки с приказчиком и Митяем грузили его на возы. Взято больше двух пудов серебряной посуды, столичные английские часы, клавесины, зеркала, китайская одежда и вся утварь. Хлопуша хотел надеть на себя хозяйскую лисью шубу бровным воротником, да перетумал,— как с этим царя не прогневить. Снято со стен десяток новых фузей да двадцать добротных ружей петровских да елизаветинских мушкетерских, сделанных на тульских, Демидова, водах.

В конторе взято семь тысяч рублей серебром и медью. Все дивились на огромные, прямоугольной формы, медные рубли сибирской чеканки. Народ прозвал их «пряниками». Четыре таких пряника тянули пуд, а углые, чеканки сестрорецкого, что под старом, завода, екатерининские рубли толще и полвершка назывались «пирожками». Из пряника и два пирожка Хлопуша велел вернуть в тряпицу и положить в «царев шук». «Этими дарами поклонюсь батюшке богу», — подумал усердный к Пугачеву хлопуша.

Из семи тысяч рублей он две тысячи выдал работным людям да пятьдесят рублей выдал матери убитого Павла, а на его шук распорядился положить каменную плиту и поставить чугунный крест.

Всех удовлетворив деньгами и выдав ра-

ботным людям кому сапоги, кому новые лапти, одежишку, шапки, рукавицы, Хлопуша назначил старшим при заводе приказчиком дядю Митяя, дал ему в подручные Копылова и стал готовиться к отъезду.

Согнали на площадь сто двадцать ездовых лошадей с прибором, триста баранов, восемьдесят быков, погрузили пять пудов пороху, ядра, государеву серебряную да медную казну, пожитки, провиант, сено, поставили на лафеты шесть пушек.

На одном из возов сидела бывшая управительша, в куньей шубке, прикрывшись беличьим одеялом. Чернородый казак Нагнибеда, застрашав дорожную Домну Карповну, что ее могут повесить, предложил ей во избежание казни стать его женой. Домне Карповне, женщине в прыску, умирать паскудной смертью не хотелось, она думала недолго, только спросила:

— А будете ли вы мне верны?

— Это уж как волится! — ответил чернородый Нагнибеда. Он был недурен собой, и Домна Карповна, попристальной присмотревшись к нему, сказала:

— Ах, я в согласьи!

Под громкие крики собравшейся толпы, под трезвон колоколов, приняв папучествоное благословение священника с крестом и в парчевых ризах, весь многочисленный отряд Хлопуши выступил в обратный путь.

На прощанье Хлопуша сказал народу:

— Поусердствуйте, люди работные, великому государю. Того гляди, сюда сам батюшка припожалует. Уж он-то никаких ослушностей не потерпит, я вам допряма говорю, народ.

— Поусердствуем! Обещаемся! — кричал народ.

Среди оставшихся — самые лучшие мастера и мастеравые из расколников-старообрядцев. Их от своих домков, от хозяйств, от огородов и клещами не оторвешь: они — как вбитые в стену гвозди.

Глава семнадцатая

Веселые тетки. Генерал Кар идет на Пугачева. Прапорщик Шванвич. Горячий на морозе бой

1

Пугачева обычно с утра осаждали разные людишки: то два подрававшихся по пьяному делу зсаула просили рассудить их, то ограбленная башкирцами баба из окрестного селения, то сельский поник, у которого казаки съели со двора свинью и сволокли две конны сена, то жалоба на колдуна-мельника, что

он по злобе килы ставит. И так каждый бокий дель. Большинство просителей Пугачев отсылал на решение к атаманам или писарям.

Но в т сегодня, после вчерашнего сражения, Надуров привел к государю по просителя, а только что присекакавшего в Берду молодого мужика. Крестьянин прекрестился на образа, упал Пугачеву в ноги и сказал:

— Царь-государь, дозволь слово молвить... К Сакмарскому городку казенный генерал идет с войском. Тебя, наш свет, лезить. Ямниж сказывал, Тереха Здобни. Пообаснись, батюшка.

Пугачев изменился в лице. Известие это было ему очень неприятно. «Вот оно, пачинается...» Правда, он ожидал против себя действий регулярных правительственных войск, но думал, что это еще долгая песня, что все царщины войска угнаны в Турцию. А тут на вот-те...

— Великое ль у него регулярство, много ль народу у него в команде?— спросил он крестьянина.

— Ямщицишка сказывал, да и другие прочие баяли, что, мол, команда не шибко велика да и не больно мала, середка на половину вроде как... А хвамили генералу — Кар.

— Кар?— переспросил Пугачев и переглянулся с Надуровым.— Ну так я этого Кара знаю.

Пугачев отпустил крестьянина и приказал позвать Овчинникова с Зарубиным Чикой.

— Вот что, атаманы,— сказал он им.— По нашу душу генерал Кар идет. К Сакмаре подходит... Ты, Овчинников, тотчас спосылай туда конные дозоры. А послезавтра и сам отиравайся в тое место вкупе с Чикой. Со всех сил постарайтесь Бара к Оренбургу не допускать, а расколотить его впрах. Возьмишь с собой пятьсот доброконных казаков да шесть пушек. И все команды, кои на дороге встретятся, к себе присоединяй. С Азянского завода вышел в Берду Хлопуша с набранным ополчением из заводских людшек. Забирай к себе и Хлопушу. Ну, ступай, Андрей Афанасьевич, дается тебе сроку два дня, приготовь войско к маршу. А главное смотренья я сам буду чинить.

Пугачев остался с глазу на глаз с Надуровым, стараясь казаться бодрым, он подморгнул полковнику правым глазом и сказал:

— Ну, спасибо твоей татарке, Надуров. Ладно бьется. Как вчера лезли на вал, она славно выручала меня. Ась?

Надуров покашлял в горсть. Пугачев сказал:

— Ну да ладно... Танерь не до бабске делов. Эвот Катерина уж генералов на мев стала насылать. Сались, полковник, да пре слушайся-ка, что молвить тебе стану. Тебе ведомо, что во вчерашней ноци, оноселя бои к нам бежали с крепости четыре солдата кои на часах стояли, да влобавок два казак. А седни утром я им допрос произвел. Они солдаты уверительно сказывали мне, что всему головой там ящские да оренбургские казаки. Вся беднота-то казацкая ко мне приклонилась, к государю. Вот и ты, спасишь шестьсот молодцов привел. А у Рейнсдорна богатенькие остались, да еще молодые, замуж доважные Матешкой Бородинным, они и шипуть супротив него страпаться. А мноисолдаты, мол, согласны принять меня. Да миряне столь напуганы, бедные, вчерашние канонадой, что рады-радешеньки буду ежели начальство крепость отдаст. Вот что солдаты обеказали мне седни.

— Я чувствую, государь, к чему вы реч ведете. Не написать ли письма увещательны к жителям?

— Во! — кивнул головой Пугачев.— Шипиши поскладней жителям, чтобы до конной погибели себя не доводили, а сдавали мне. Это от моего императорского имени шипишь. А от себя шипиши оренбургского атаману Могутову Василью да ящскому старшине Мартемьяну Бородину, ежели хочи прещение от меня принять за супротивное за свою, то пускай уговорят солдат и казков, а также и самого Рейнсдорна, да всех начальников, чтобы они пемедея герсдали и покорились бы в подданство моему державству. А ежели не покорятся, да мевсердный бог поможет мне взять город штурмом, я с них живьем пикуру на ремни стардвать.— Пугачев тяжело задыхал и пригнуул.— Да в письмах-то, слышь уверяй что я, мол, доислинный Петр Третий приметы, что в народе про меня ходи пропихи: мол, верхнего зуба нет наперы да что правым глазом принцуриваю. Слыши такие приметы?

— Слышал.

— Гляжи,— он приподнял пальцами левую губу и показал меж зубов щербинку.— Видал? Ну, вот. Да. Слышь-ка, Надуров. Как будешь писать Могутову Василью, шипиши-ка, брат, ему, постыли-ка; ты что мол, нешто забыл государевы-то милоси ведь он сына твоего пожаловал в нажи.

Надуров слушал со вниманием, все боише и больше поражаясь находчивости сметке Пугачева. «А и верно, не плохой из него царь был»,— подумал он.

К обеду письма были изготовлены в дв

Пугачева. Атамана Могутова Падуров старелся в письме запугать своей выдумкой: мол, государем получены первые бомбы адской силы, каждая бомба чинится тремя пудами пороха, и, мол: «невозможно ли, батюшка, уговорить его высокопревосходительство Ивана Андриенча, чтоб он склонился и, по обычаю, прислал бы к государю письмо, чтоб государь вас простил и ничего бы над вами не чинил». Было в письме сообщено и прочие приметы. «Сверх того вам объявляю, батюшка, Василий Иванович, что государь поминает вас всегда и вспоминает то, как вашего сына Ивана Васильевича произвел в князи».

В письме Бородину он уверял его, что Пугачев, как его облыжно называют, доподлинный царь есть. «Удивляюсь я вам, Мартемьян Михайлыч, что вы в такое глубокое дело вступили и всех в то привлекли. Сам знаешь, братец, против кого идешь». Письма были длинные, обстоятельные. Пугачеву они нравились.

Падуров сказал, что затруднительно будет оставить их по принадлежности. Пугачев, подумав, велел Давилину скликать восемь пенбургских баб, что неделю тому назад были отхвачены от обоза, тайно проезжавшего из крепости на луга за сеном. Падуров стало любопытно, он улыбался и накручивал усы.

Шумно вошли восемь рослых, крепкихток в лаптях, в душегреях и пуховых шапках. Лица у них одутловатые, глаза, покрасившие, заплывшие, будто после неспящего запора. Покрестившись на икону, они склонились Пугачеву. Он принимал их в шотом зальце. Тетки вертели головами, рассматривая убранство горенки, толкали друг дружку в бока, шептались.

— Ну, с чем пришли, красавицы? — спросил Пугачев, прищуривая правый глаз и шавля чолку на лбу.

— Ой, надежа-государь, а чего ж ты нас, брат, в полон-то позабрал? — заголосили тетки. — Диви бы мужиков, а то баб.

— А поншто вы сено мое по почам ворошить ездите?

— Ой, надежа, сено-то не твое, а наше, и сами ксели, сами ставили.

— Сено ваше, а вы мои рабы; выходите — и сено мое.

— Отпусти ты нас, батюшка, век за тебя будем бога молить!

— Поншто отпускать-то? Али плохо жить меня? Может кто пообидел вас?

Тетки переглянулись между собой и зашептались:

— Много твоей милостью довольны.

И обиды нам от твоих, ха-ха, не было. И вища, грешным делом, попили вдосыт, и поплясали вельсть, — выкладывали развеселившиеся тетки. — Эвот и вища у тебя сколь хошь, и хлеб дешевый — грош фунт, и говядина с бараниной — всего много, все шибко дешево. А у нас... Ой, да чего уж тут...

— Ну, вот и оставайтесь.

— Слов нет, мы бы, конечно, остаться согласны бы, да ведь в городу-то робятенки малые остались, да коровки, да козочки...

— У вас козочки, а у меня зато казачки, — пошутли Пугачев, лукаво подмаргивая теткам.

— Ха-ха, — закатились тетки; им очень по нраву пришелся ласковый царь-батюшка. — Слов нет, казачки твои насчет женских сердец дюже сердитые... Ой ты, — сокрушенно, по-греховному вздохнув и снова переглянувшись, тетки повалились Пугачеву в ноги: — Отпусти, надежа-государь, по задерживай нас, спрот...

— А ты чего в ноги не валишься? — и Пугачев воззрился в лицо красивой, с веселыми глазами, бабы.

— А я остаюсь у тебя в согласьи, — замгала она и потупилась. — Я как есть на божьем свете круглая вдова, я под тобой внизу живу...

— Как, подо мною?

— Я, как круглая вдова, взамуж за твоего казака, конечно, вышла, за Кузьму Фофанова. Кузьма-то мой у тебя внизу помещается. Ну-к и я с ним.

— Хах! — плутово хохотнул Пугачев. — Ты, я вижу, с понятием!

— Конечно, с понятием, конечно... Я как круглая вдова...

— Да уж чего круглей, — перебил ее Пугачев с игривым любопытством, покосившись на пышнотелую молодку. — Ну, ладно, оставайся. А вы, тетушки... Вам я волю объявляю. Давилин, вели старику Почиталину выдать молодайкам замест лаптей обутки добрые, да по бараньей ноге чтобы выдал, да круп с мукой. А ихним ребятишкам чтоб сладких леденчиков Максим Гершков отвесил.

Бабы аж затряслись, широко распахнули глаза и с радостными слезами заголосили:

— Надежа, надежа!.. Спасибочка тебе, надежа-батюшка... Ой, забирай ты скорее городишко-то наш... Забирай.

— Город заберу скоро. Ну, тетушки, со служите и вы мне службину. Вот возьми-ка эти письма да передайте из рук в руки Мартемьяну Бородину да Могутову.

— О, это Василье Могутову-то да Матюшке-то... Да зараз, зараз...

— Только, тетки, знайте: у меня в Орен-

бурге свои глаза и уши. Обманете — не прогневайтесь.

Тетки покаялись страшной клятвой, что все исполнят с радостью. Пугачев важно поднялся с кресла, дал каждой по полтине, сказал:

— Всем толкуйте, что я, великий государь Петр Федорыч, денно-нощно думаю о несчастном житьишке всей черни замордованной, всех мирян оренбургских. Толкуйте и казакам, и солдаташкам, чтоб не супротивничали мне, своих командиров не слушались, а бежали ко мне. А нет — выморю крепость голодом, а город выжгу. Толкуйте, что у меня всего много, и я милостив.

Он велел Давиллину отправить женщин на двух пароконных подводах с бубенцами, подвезти их к крепости на пушечный выстрел и с честью отпустить.

Когда стемнело, Пугачев распорядился парадить за фуражом тысячу подвод в сторону Плецкой зашиты. Велено было ехать по сыртам, минуя город. Еще не рассвело, как нагруженные сеном возы, незамеченные городом, уже возвращались в Бердскую слободу. Прикрывавшему обоз козлов посчастливилось: в обратной дороге он перехватил пять тысяч баранов, еще с осени закупленных у башкирцев оренбургскими купцами.

Наступил срок отправления отряда Овчинникова в поход. На рассвете ударила восточная пушка. Когда все было готово, к стоявшим в строю казакам подъехал Пугачев. Знамена склонились перед царем, и все замерло. Только встряхивались в деревьях проснувшиеся галки и вороны.

Пугачеву нравился порядок, который завел атаман Овчинников среди своих казаков.

— Детушки! — прокричал он с коня. Звонкий его голос был слышен даже в хвосте растянувшегося на версту воинского обоза. — Детушки! Верные мои казаки! На мою императорскую армию измыслила поднять руку заблудшая жена моя, царца Катерина. Она выслала супротив меня генерала своего, бездельника, немчуру топконового, Кару. А нуте-ка, детушки, задайте этому Кару жару. (Казаки заулыбались.) Да такого жару задайте этому Кару, чтобы оный Кар и каркать позабыл, чтобы чихать смешался. (Казаки по всем рядам захохотали.)

Пугачев обнял Овчинникова, обнял Чигу Зарубина, скомандовал:

— С бо-о-гом!.. Трогай!

2

Граф Захар Чернышев писал градоправителю Москвы князю Волконскому, что для успешия сильного поиска «над злодеем Пу-

гачевым посылается ныне же наскоро генерал-майор Кар».

Таким образом, Кар был избран наскоро, то есть не совсем обдуманно. Да впрочем, и выбирать то было не из кого: в Петербурге в это время очень мало находилось военных генералов.

Василию Алексеичу Кару не хотелось отправляться в немилый поход: наступал суровая зима, а здоровье его было не из лучших, у него хроническая трудно излечимая болезнь, он только что вернулся с заграничных «теплых вод». Просился в чистую отставку, — не пустили... Ему всего соры три года. Он звезд с неба не хватал, но все же был довольно опытный в военном деле генерал, прошедший хорошую школу в Семилетнюю войну.

Невысокого роста, щуплый, большоголовый, виски запали, глаза расставлены широко и смотрят немного в стороны, как у зайца, рыжеватые волосы торчком, нос большой. Он совсем некрасив. С солдатами в мирное время очень холоден; в походе холоден и старается наладить с командами отеческое отношение, но это ему плохо удается. В нем прорывается заносчивость, он временами становится бестолку криклив и суетлив. Солдаты его не любят.

Он ехал до Казани по грязнейшим осенним дорогам в собственном хорошем экипаже и в сопровождении военного лекаря.

Не доезжая до Казани верст полтораста обогнал роту 2-го гренадерского полка. Генерал остановил отряд. Командир отряда поручик Карташев отпартовал ему, что эта рота гренадер выступила из города Нарвы через Питер и движется скорым поспешением в Казань.

— Прекрасно, — сказал Кар. — Ваша рота назначена в мое распоряжение. Вы немедленно посадите солдат на подводы и как можно скорей следуйте за мной. В Казани не задерживайтесь, а проворней гоните к Оренбургу. В Кичуевском фельдшанце я вас буду дожидать.

Стоявший тут же молодой прапорщик Шванвич, адъютант Карташева, записывал в книжечку приказакия генерала.

Губернатора Бранта генерал Кар в Казани не застал, — Брант еще не возвратился из поездки за границы губернии, где он своим распоряжениями старался оказать посильную помощь Оренбургу.

Осмотрев небольшие воинские части, а бранные казанским губернатором, Кар отправил их в Кичуевский фельдшанец, находящийся в четырехстах верстах от Оренбурга и вслед за ними вскоре выехал сам.

В попутных деревнях крестьяне не оказывали Кару ни малейшего почтения, прямо таки дерзки были.

Чем ближе к Оренбургу, тем поведение жителей становилось беспокойнее, задиричее. Вместо хороших лошадей, в генеральский возок впрягали каких-то одров, ссылаясь на то, что ныне бескормица и что сытые кони потребованы под Оренбург. «Кто потребовал» — «А кто ж его ведает... Мы народ темный, нам говорили, что к самому батюшке-царю. И бумага от него была быто бы...» Кар в ответ кричал, топал, грозился перепороть всю деревню, а крестьяне твердили: «Мы народ темный» и один по одному спешили скрыться.

Кар всюду раздавал напечатанные в Петербурге увещательные манифесты, приказывал священникам и муллам оглашать их народу.

Иногда, и очень часто, вдруг выпорхнет из шкелеса всадник в малахэе и с луком за плечами, прощупает раскосыми глазами скользящий по скрипучему снегу возок генерала, сани его свиты и скачущий конвой, погрозит пагайкой, гикнет горланым, каким-то птичьим голосом и, словно птица, умчит прочь. Конвой всякий раз безуспешно фокался за такими дерзцами, но те неуловимы, как ветер.

— Пролозы пугачевские! Воровские сидятан! — говорит Кару сидящий рядом с ним адъютант.

— Эту дрянь надо сразу расстреливать на месте, — резко отзывается Кар. — А мы с вами церемонимся.

Сильный мороз, Кар зябнет. Изжеженные уши его в меховых варежках засунуты в меховую теплую муфту.

— Брант мне писал, — говорит он, — что пугачевская толпа немногочисленна и состоит из сущей сволочи. Опасаюсь, что старик шибается и в заблуждение вводит меня.

Адъютант молчит. Кар продолжает брюзжать:

— Морозы, дурацкая степь, метелицы... Корт знает!.. И какой дурак зимой воюет. Ну, и удружил мне граф Чернышев! Ведь и ж болен, ведь я ж только что на теплых ложах был. Ноги ноют, бок покалывает... Главное, какая ж в моем распоряжении винская сила? У меня нет никого. Вы понимаете? Нет никого... Ну да я не теряю надежды и с малой командой раздавить эту воровскую сволочь.

В Кичуевский фельдшанец Кар прибыл 30 октября. Там уже ожидал его назначенный ему в помощь и приехавший из Калуги генерал-майор Фрейман.

При свидании генералы обнялись.

— Ну, Федор Юльевич, — воскликнул Кар, — я крайне рад, что вы со мною. Правда, силы у нас малые, но мы подкопим, подкопим И самозванца расшибем вдрызг. Опасаюсь лишь того, что они, разбойники, сведав о нашем приближении, обратятся в бег и, не допустив наши отряды до себя, скроются... Этого, кажется, пуще всего опасюсь.

Тактичный Фрейман не хотел сразу огорчить Кара, человека светского и умного. Поэтому свой печальный доклад Фрейман делал Кару после сытного обеда. По докладу оказалось, что воинские силы, которые должны были поступить в распоряжение Кара, слишком недостаточны: отряд майора Астафьева в Кичуевском фельдшанце, отряд майора Варпестета, стоявшего за Бугульмой, и отряд симбирского коменданта полковника Чернышева — всего в трех отрядах около трех тысяч пятисот человек. Из них полевых калровых войск только шестьсот человек, остальные — старые, малолетние гарнизонные солдаты и плохо вооруженные отставные поселенцы, забывшие военную муштру.

Но главная неприятность, доложенная Кару, — это взмеза двух тысяч башкирцев, собранных губернатором Брантом на Стерлитамавской пристани: они открыто заявили, что уходят к законному государю, даровавшему им земли и вольности. Точно также изменили и пятьсот человек калмыков, находившихся на самарской линии.

Эта новость была большим ударом для Кара: его экспедиция лишалась, таким образом, прекрасной и многочисленной конницы.

И еще известие: местное население к увещательным манифестам императрицы отпосилось недоверчиво. У живущих по форпостам и в Яицком городке казаков по получению манифеста будто бы оказалось «зловредное отрыгповенное», казаки, не стеснясь, говорили:

— Хотя нас и устрасивают публикуемым манифестом, но мы того не боимся. Эта грамота нам читана, да не про нас писана.

Умный Кар сразу оценил свое незавидное положение. Да к тому же, он точно не знал, где находится Пугачев, велики ли его «воровские» силы, и, наконец, может ли Рейнсдорп оказать наступательным действиям Кара серьезную помощь. С душевной болью Кар лишь воочию был убежден, что весь Оренбургский край погружен в смятение. Да, черт возьми, есть над чем призадуматься!

Воинских сил у Кара слишком мало, конницы нет, артиллерия дрянь, провианта нет,

фуража нет, стоит морозная пора, плохо одетые солдаты страдают от холода, ронцуют.

Что же делать в этой стране мятежников, забывших свой долг пред отечеством?

«Наступать, наступать», — с непреклонной настойчивостью решил генерал Кар.

Он тотчас отправил в Бугульму на усиление отряда Варнштедта только что прибывшую из Москвы роту Томского полка и двести человек солдат казанского батальона. А на следующий день, 2 ноября, и сам прибыл в Бугульму.

Майор Варнштедт ошеломил Кара известием о том, что все окрестные селения передалось самозванцу, что жители покинули свои дома, что многие поместья выжжены, край разорен, и что, прежде чем двинуться вперед, необходимо заготовить продовольствие и фураж.

Задуманное Каром наступление задерживалось. В разные стороны посылались отряды для реквизиции фуража, продовольствия, лошадей. Оставшееся население вконец озлобилось, ничего не хотело давать в казну, подвергалось наказаниям и почти поголовно побежало в стан к Пугачеву.

Между солдатами тоже стало замечаться колебание. Они не надеялись ни на свою малочисленную, убогую артиллерию, ни на боевые способности генерала Кара. Среди солдат ходили слухи, что у Пугачева артиллерия знатная, что силы у него много, что Оренбург давно им взят, только наши генералы-де это скрывают.

— А у нас что?.. Из наших пушек пугать лягушек! Ни одежки теплой, ни обуви... Лаптишки, и те в ошметки истрепались. Харч плохой, все в сухомятку, водочки тоже нету. Похорозались все.

Кар решил некоторое время подождать, пока придут из Саратова четыре обещанных орудия да ожидаемые из Москвы армейские команды. А тогда можно будет и с малодушными солдатиками поспешить и поспешить их, а нет, так одного-другого и повесить.

Но ждать было некогда.

— Быстрота действий есть единственное средство для успеха, — сказал Кар на военном совещании.

И его отряд в полторы тысячи человек при пяти пушках выступил вперед.

С дороги Кар послал второй приказ симбирскому коменданту полковнику Чернышеву, чтоб он тотчас же шел из Сорочинской крепости и занял крепость Чернореченскую, откуда чтоб зорко следил за неприятелем и при первой же его попытке к бегству чинил изменникам жесточайший вред и истребление. «Я только одного опасаясь, — повторил в приказе Кар, — как бы неприятель,

прежде чем мы его окружим, не разбежался».

Расчеты генерала Кара были правильны. Подходившие к Оренбургу войские части должны были окружить мятежников с трех сторон. А с четвертой стороны — Оренбург с грозной артиллерией и большой войскою силой. Единодушные действия наступающих отрядов могли бы поставить Пугачева в безвыходное положение.

Но судьба и на этот раз продолжала некровителемствовать Пугачеву.

Полная бессведомленность Кара в положении и расположении правительственных отрядов, отсутствие какой бы то ни было связи с ними нарушали все планы Кара. Он не подозревал о близком нахождении значительных сибирских сил генерала Демонга, а также отряда бригадира Корфа. С другой стороны, ни Демонг, ни Корф не ведали, что из Петербурга прибыл генерал Кар высочайшим поручением возглавить все действия против Пугачева.

Впрочем, об экзекуции Кара, идущего в выручку Оренбурга, ни слух, ни духом не знал даже сам Рейнсдорп, отрезанный Пугачевым от внешнего мира.

О походе Кара знал лишь Емельян Иванья Пугачев. Только ему чрез своих людей были в точности известны численность и место нахождения всех выдвинутых против него правительственных сил.

Утром 7 ноября Кар получил запоздалые сведения, что некий пугачевец, каторжник Хлопуша, со своей толпой, разгромив Авксентьевский завод, движется к Оренбургу в стан мятежников.

Кар тотчас приказал секунд-майору Шинкину двинуться с пятисотенным отрядом и пересечь пути Хлопуши и занять деревню Юзееву, что в тридцати верстах от резиденции Кара.

Авангард Шинкина из семидесяти пят человек пехоты и девяносто двух всадников уже подходил к Юзеевой, расположенной в беспорядке разбросанные избы, среди них торчал покряхтевший минарет мечети. Кругом холмы, полные увалы, перелески, белый снег, мороз. Все тихо, все спокойно...

И вдруг, справа и слева от дороги выманили из перелески всадники — их было три — и стали маезжать на выдвинутый Шинкиным авангард.

— Против кого идете, солдаты? Прочь своего государя идете! — крикнул с коня черный Чпка. — Кладите оружие, передавайтесь нам!

Часть конных татар тотчас перешла на сторону Пугачева, по сзади быстрым маршем уже подходил крупный отряд Шишкина. Шеренная в авангарде пехота открыла по пугачевцам меткий огонь. С десятков янских казаков и передавшихся татар попадало с коней. Чика скомацдовал отступление, и пугачевцы услакали.

Поздно вечером Шишкин занял Юзееву, а в три часа ночи явился сюда и генерал Кар со всем своим отрядом. Деревня была почти пуста, оставались лишь старики да малые дети. Взрослое же население, с лошадьми, скотом и даже с собаками, перекочевало в стан Пугачева.

Всему отряду пехватило в избах мест, и часть солдат расположилась на улицах и дворах. Было темно и жутко. В каждом крике, в каждом долетавшем издали звяке чувился крадущийся враг. Старые солдаты в ночной переход очень утомились, перезаблели, а молодые рекруты, еще не нюхавшие пороха, тряслись от страха и от холода. Везде костров время от времени появлялись юдольные офицеры, подбадривали пехотинцев, и сами-то они были в боевых действиях опытные, и сами немало страшились пугачевцев.

— Полушубки да повые ланги с теплыми мехами нам треба, ваше благородие, — брюзжали солдаты. — А то пронадем мы... Эвот выне пальцы морозы завернули.

Оба генерала и лекарь поместились в избе дяди. Душевное состояние Кара было отчаятельное.

— Не угодно ли, не угодно ли! — нервничал он, понаргивая широко расставленными глазами. — Мы идем ловить Хлопушу и, место Хлопуши, неожиданно патыкаемся на слышную ватагу сброда. Кар не знает, где Пугачев, а Пугачев-то, не беспокойтесь, знаю знает, где Кар. Не угодно ли! А?

3

Утром ударила вестовая пушка. Еще не выкли ее раскаты, как в квартиру Кара бежал растерявшийся адъютант, а за ним следом — майор Астафьев, внося морозную жесть в теплую, душную избу. Оба офицера в повязанных по ушам коричневых шапках, в длинных, выше колен, валенках, сплошь занорошенных снегом; очевидно, офицеры бежали по сугробам.

— Ваше превосходительство! — задыхаясь, отнапортовали они вкочившему Кару. — Деревня окружена неприятельской толпой численностью в пятьсот — шестьсот всадни-

— С чем вас и поздравляю! — с фальшивой иронией бросил Кар. И оба генерала при помощи денщиков и лакея поспешно стали одеваться.

— А как войска? — крикливо спросил Фрейман, натягивая валенки.

— Войска в боевой готовности. Пушки вывозятся на удобные позиции, — отнапортовал Астафьев.

— Где неприятель и что он? — опять спросил Фрейман.

— Толпа маячит по обе стороны деревни, по горам и взлобкам, опасаясь приблизиться на ружейный выстрел.

— Бить по разбойникам из пушек! — надевая исполненный мундир, воскликнул Кар воинственно.

— Смее заметить, Василий Алексеевич, — возразил ему Фрейман, — что у нас слишком мало боеприпасов... Поберегать надо.

— Поберегать, поберегать, — с недовольным выражением лица завертел головою Кар, будто свободный воротник мундира был ему тесен. — Будем поберегать, так нас стошнут... Ни черта нет, ни конницы, ни пушек, ни снарядов. Поди, войи!..

— А кроме того, — попытался поддержать генерала Кара майор Астафьев, — молчание артиллерии приводит наших пехотинцев в робость.

— Вот видите, Федор Юльевич. А вы — поберегать... Стрелять надо. Да я сейчас иду. Эй, Мишка! — крикнул Кар старому лакею. — Достань-ка, братец, из саквожа с десяточек увещательных манифестов.

Тем временем к солдатским группам польезжали — по два, по три — смельчаки-пугачевцы, кричали им:

— Бросьте стрелять, солдаты! Мы вам худа не сделаем...

А Зарубин-Чика, высмотрев, где нет офицеров, подвезжал к пехотинцам почти вилотную. Впрочем, он солдатских пуль и не особенно боялся: под его нагольным полушубком надет железный панцирь, подарок башкирского князька. Чернобородый, горбоносый Чика, глядя в упор на притихших, растерявшихся солдат, кричал им:

— Неужто не видите? Деревня вапна пуста и весь край пуст. Не зря же все жители повернули к государю. Не верьте офицерам, они господскую выгоду блюдут. А наш истинный, природный государь Петр Федорович приказал бар изничтожать, а всю землю мужикам отдать, и всему люду свет или волю объявил. А солдату что больше и духу не было, а было бы воляше казачество.

— Пошел прочь, злодей! — кричали старые солдаты. — Стрелять учнем!

— Ха-ха! Стрелять! — покатывался отважный Чика. — Стреляла бы у тебя вошь в голове. А станете супротивничать, пощадя себе не ждите...

— Ребята, сыпь на полку порох! Скуси патрон! — хриплым голосом скомандовал капрал с рыжими усами.

Молодые пехотинцы тотчас сделали ружья наизготовку, но их руки тряслись от запававших в сердце волнующих слов чернорабочего.

Вдали рванула пугачевская пушка, и невучая картечь широко хлестнула по солдатам. Вышедший Кар приказал стрелять по толпе из пушек. Вскоре отряд Чики скрылся и стал стягиваться к мельнице.

— Видали? Вот вам и поберегать! — подсмеивался Кар над Фрейманом. — Как зайцы разбескались. Их теперь и с голчими собаками не сыщешь. Эх, если бы еще с десяток пушек да добрую конницу, — я бы показал им.

Меж тем Чика, присмотревшись к численности и построению неприятельских солдат, то есть исполнив поручение атамана Овчинникова, вернулся со своими казаками к главным полевым силам пугачевцев. Чика доложил обо всем Овчинникову. Отряд Овчинникова, стоявший возле мельницы-ветрянки, всего в двух верстах от занятой Каром деревни Юзеевой, прятался в кустах и перелеске.

Направляясь сюда из Берды, Овчинников в пути присоединил к себе тысячу пятьсот башкирцев. А казак Самодуров, командированный Овчинниковым на дорогу к Авзяно-Петровскому заводу, перехватил возвращавшегося в Берду с толпой заводских людей Хлопушу. Из толпы было отобрано триста ратников и две пушки. Вместе с Хлопушей ратники двинулись за Самодуровым к атаману Овчинникову, остальная же часть заводской толпы с четырьмя пушками продолжала свой поход в Берду. Таким образом, у Овчинникова было под мельницей почти две с половиной тысячи народу, большинство — добродкопных.

О существовании в двух верстах от себя столь серьезной силы Кар и не подозревал. Он утешался тем, что утром удачно разогнал противника, что противник этот труслив и малочислен, да к тому же и вооружен лишь одной паршивенькой пушечкой. Значит, нечего Кару унывать, значит, все будет отлично, надо стойко ждать подкреплений. Кар теперь чувствовал себя хорошо, и полагра его не одолевала.

Да уж кстати — радостное давно ждано известие: прискакал полпоручик московский гренадер Татищев и доложил Кару, что голня в ночь должна прибыть сюда наша лешая из Москвы рота 2-го грендерского полка.

— Ну, поистине мне сегодня бабуше ворожи! — воскликнул Кар и на радостях пригласил грендера на обед.

Но бабушка ворожила, видно, не одну Кару. Почти в тот же час несчастливый атаману Овчинникову. Казаки караула схватили ехавшего в Юзееву квартирмейстера, из унтеров той же грендерской роты. доставили пленника Овчинникову. Допрошен он у костра в лесу. Овчинников с Чикой и Хлопушей ели ушку из налимов, в котле плавали вкусные налимы печенки. Священный грендер неохотно отвечал на вопросы атамана.

— Командир нашей роты сначала послал к генерал-майору Кару офицера Татищева, вслед за ним и меня. Мне велено прибывшим грендерам квартиры приготовить.

— Квартиры мы твоим грендерам и без тебя приготовим. Отвечай, сколько вас?

Квартирмейстер ответил и попросил, чтобы его развязали и накормили: он прозяб голоден. Овчинников строго спросил:

— Признаешь ли ты государя Петра Федорыча?

Квартирмейстер молчал, мялся, мускулы его широкого лица от внутреннего напряжения стали дергаться. Тут медленно поднял в накинутах на плечи шебуре мрачно Хлопуша. Его корявые пальцы вцепились торчавший за опояской тяжелой безмен, белесые глаза, уставясь в лицо молчавшего грендера, заблестели по-холодному. Затая дыхание он ждал, какой ответ даст пленник.

— Оглох?... — резко крикнул Овчинников.

Гренадер вздрогнул, пошевелился, сказал:

— Мы, известное дело, люди простые, и ученые, и про государя ничего такого этого не слышали. Только знаем, что он умер, была присяга государыне Екатерине.

— Так вот знай теперь, что государь жив-здоров и стоит со своим воинством под Оренбургом. Мы слуги его величества. А твой Кар завтра на березе будет качаться, — со сдержанной силой сказал Овчинников. — Ну, так как, готов принять государя?

У Хлопуши захрипело в груди, он вытиснул из-за опояски безмен, избочечаясь, упряжась шагнул к грендеру.

— В таком разе, — сорвавшимся голосом торопливо ответил грендер, с ужасом косясь

на страшного с безменом человека, — ежели он, батюшка, жив-здоров, мы, известное дело, с нашим удовольствием... Мы присягу и повернуть можем... Признаю государи!

Овчинников, предостерегающе погрозив Улопушу пальцем, прещунал гренадера острым взглядом и приказал:

— Развязать его!.. Садись, квартирмейстер, к котлу. Эй, подайте-ка ему ложку!

Улопуша нагладно задыхал, рывком сунул безмен за опояску, резким движением плеч подернул сползавший бешмет, выругался в бороду и пошел в лесок. А развязанный гренадер широко заулыбался. Но улыбка его была неестественная, она выражала крайний испуг и сильное душевное смятение. Он на морозе весь вспотел.

Ночь темная, тихая, морозная. Кар не спит, Кар нетерпеливо ждет прибытия испытанной в боях гренадерской роты.

Рота движется медленно — дорогу перемеле, попадаются длинные подъемы, лошади истомились. Обоз растянулся на версту — около полсотни подвод. На каждой подводе по четыре, по пять гренадеров. Обессиленное трудной дорогой и холодом, большинство их крепко спит, дежурные подремывают, веки слипаются, головы валятся на грудь. Тут же, в санях, кой-как сложены незаряженные ружья и мушкеты. А зачем их спознанию заряжать, только зря порох отсыреет. Опасаться нечего: впереди отряд генерала Кара, — значит, врага нет и в помине.

В середине обоза, в спокойных санях, накрытые кошмой, — поручик Волжинский и прапорщик Швапвич.

— Чорт, до чего надоело! — брызжит злодой прапорщик. — Ямщик, скоро ли Юзева?

— А кто ж ее ведаст? — повернувшись к седокам, памкает древний старик-возница; он в больших собачьих мохнатках и шовьян по шапке белой палью, из-под шали торчат колючки распухшего на морозе носа и открытая сосульками борода. — Вишь, темью! Вот пады проедем, пять верстов останется до Юзеевой-то... Пять верстов. А то и так! —

Сзали побрякивали шаркунцы на лошадях и допозилась непромкая песня: заунывно тянули два тепористых голоса. Сидевший слева от Швапвича поручик Волжинский легонько храпел и пошвыстывал носом. По бокам дороги темнели кусты или лес — не разобирать было. Тишина, лишь нарушаемая скрипом, полوزهва да ленивым почуканьем шнурками ямщиками приморившихся коней.

Швапвичу не спится. Ночная тишина и мерное покачивание санок будят в нем мечты и думы. Он вспоминает свою недавнюю встречу в Петербурге со своим приятелем Гришей Коробьным. Встретились они в Милютинных рядах, на Невском, в погребке венгерского купца Сутопяжа, шили токайское, а за токайским попросили венгерского, закусывали жареными фишашками. Затем, слетка охмелев, стали откровенничать, стали изъясняться в любви и дружбе. Офицер Коробьин, вплотную придвинувшись к Швапвичу, шопотом сказал ему, что он получил на-днях от своего знакомого из-под Оренбурга, от депутата большой комиссии естника Надурова необычайное письмо. «На прочти», — сказал ему Коробьин и подает исписанный кудрявым почерком лист. Швапвич прочел, вытаращил на приятеля глаза и спросил его: — «Что это значит?» — «А значит то, — ответил Коробьин, — что в нашей России...»

Но в этот миг почные воспоминания Швапвича мгновенно пресекались. Из тьмы, как с неба гром, внезапно ударила пушка, другая, третья. По окрестности прогудело-раскатистое эхо. На санях по всему обозу все повскакали, ночную тьму взорвали сотни криклявых, заполонных голосов. Весь обоз враз остановился. Мимо Швапвича проскакал на коше начальник роты поручик Карташев.

— Ружья, ружья, гренадеры, ружья!.. — перепуганно орал он с быстрого коня. — Стройся!

И путанье в ответ по всему обозу голоса солдат:

— Где они ружья-то?.. Незаряжены...

— Ах, чорт!.. Говорил зарядить... Тьфу!

— Где порох? Пули, пули забивай! Давай патруску!

Но ружья при себе были не у каждого. Капрал, стоя дубом в санях, изо всех слякрячал, размахивая шапкой:

— Сюда, черти, сюда!.. Здесь ружья-то! И ладушки здесь... Эвот, в энтых санях... Давай, давай!

По «давать» было уже поздно. Молодцы атамана Овчинникова со всех сторон окружили полусонную перепуганную роту.

— Пли! — яростно командовал обезумевший поручик Карташев.

Затрещали недружные и малочисленные выстрелы гренадер.

— Кладите оружие. Не стреляйте, солдаты. Нам две тысячи да двенадцать тушек. А вас сколько? — отовсюду раздавались крики наскакивавших пугачевцев.

Засверкали сабля, пика. У Карташева

вместе с мохнатой шапкой слетела голова. В быстрой схватке были убиты два офицера и семь солдат. Вся рота, бросая ружья, загалдела:

— Сдаемся!.. Не трогайте нас!

...Темнота, суетолока, крики. Пугачевцы забирают у солдат оружие, сгоняют их на дорогу. Многие озлобленные солдаты злорадно и с отчаянием выкрикивают:

— А так нам, дуракам, и надо: шө ходи супротив наря!

Душевное состояние солдат было в высшей степени подавленное.

— Ой, Ванька!.. Да никак, это ты? — прогудел здоровенный старый казак Брусов, схватив за шиворот и обезоруживая в потемках молодого гренадера.

— Батька! — вскричал и сын. — Здорово, батя! Это я...

— Вот где нам, сынок, довелось встретиться...

— Ой, батя, батя!.. Прощали мы! — весь сморщился, всхлинул молодой парень, стал с жаром целовать у отца руки. — Сказнят нас всех.

— Ничего не сказнят. Не скули! Шагай за мной живчиком. Царь до простых солдат милостив. Вот офицериков — дело десятое, им не миговать на релях качаться.

Шванвич и Волжинецкий, шагая в толпе солдат рядом с Брусовым и слыша слова его, обратились к старику:

— Дедушка, вот мы два офицера, мы государю готовы служить и — не супротивники... Походатайствуй за нас.

И многие бывшие возле них солдаты, в особенности старик Фадей Клеслев, принялись упрашивать пугачевского казака Брусова:

— Они господа хорошие, не вредные. Уж поострайтесь.

— За хороших господ я рад-радехонек слово замолвить. Упрошу, укланю, — гукнул в бороду старый казак.

Пленных пригнали в брошенный овин и там до утра заперли. Шванвич с Волжинецким заметили, как старик Брусов, сдернув шапку и кланяясь, вел переговоры с начальником кавовя татаринном Мансуром Асановым и безопасым Хлопушей. На душе приунывших офицеров стало поспокойней.

Эти три пушечных выстрела, только что грохнувших во тьме над головами гренадерской роты, отчетливо долетели по морозному воздуху и до деревни Юзевой.

— Нушки! В тылу! — выкрикнул еще не ложившийся спать генерал Кар и схватился за голову.

Было около часу ночи. Кар приказал адъютанту точно выяснить, откуда была слышна стрельба, созвать к нему на совещание офицеров и поднять солдат. Разбуженные Фреймап и плешивый, в очках, маркиз Мигунов, брезжа, стали одеваться. Зажгли четыре свечи. Грязно-бурые, проклевывшие стелы поглощали почти весь свет было темновато.

На совещаньи, по-заячьи покапываясь и собравшихся широко расставленными глазами, Кар сказал:

— Итак, господа... Слышали три пушечных выстрела? Вот вам! И поскольку сейчас выяснились обстоятельства, что неприятель находится у нас в тылу, мы рискуем быть отрезанными от Казани. Нет, вы только подумайте, каковы пахалы эти висельники. Они не умеют по правилам воевать, совершенно не знают и не понимают регул. Они, как бешеные волки, носятся в горах и не идут не только на штыковой удар, но даже не подпускают к себе на выстрел... А у меня конницы нет... Как я и стану преследовать?.. И какой дурак, позвольте вас спросить, стреляет из пушек ночью? Мужичье, каторжники, сволочи! Ночь, мороз, а они, а они... — уши Кара покраснели, рыжеватые волосы встопорились, он закашлялся и вышел поданных लेकर канель.

— Господи Татищев, где же ваши гренадеры?

Подпоручик Татищев, поднявшись и оправив португуню, ответил:

— По моим расчетам, ваше превосходительство, рота вот-вот должна быть здесь. Я опасаюсь, уж не они ли подвергли нападеню и терпят бедствие.

— Вздор, вздер! — вскричал Кар, но сердце его сжалось. — Садитесь, Татищев... На какого бедствия. Нечего страшиться. Гренадеры за себя постоят, — и, застонав и сморщившись, он стал растирать правую ногу.

— Болит? — сочувственно осведомил лекарь.

— Ноет, подлая, должно быть к перемене погоды, да и вообще я инвалид... Итак, господа офицеры, с рассветом выступать. Надо играть назад, пока не поздно — ретироваться, выбрать подходящую деревню и там, ретрапшировавшись, ожидать сигурса. К нам должны прибыть по Ново-Московской дороге еще две роты, да из Казани три или четыре пушки и отряд банкирцев с мещеряками. Упрошу подготовить солдат, артиллерию и обозы к маршу.

В поход выступили еще до свету. Обеску-

разженный византийскими событиями, Кар ехал к лекарю в крытом возке. У него теперь уже не было высокомерного предположения, что стоявшая где-то под Оранбургом толпа Пугачева, проведая о победоносном наступлении Кара, вся в страхе рассеется, и генералу Кару не удастся поймать и уничтожить своего главного врага. «Не угодно ли, не угодно ли... Все мои планы и диспозиции полетели к черту!» — злился Кар, его нехорошее лицо передергивало судорога. Он стал знобить, на него напало ушное и что-то в тумане грезилось теплые воды, мягкий всплеск голубого ласкового моря, домашний уют... Он с тяжелой грустью выглядывает из холодного возка в мороз, и его душу схватывает нестерпимое чувство, близкое к отчаянию.

Полторы тысячи его солдат с заряженными ружьями продвигаются торопливым шагом, за ними трясутся в жестких седлах шестьдесят конных татар и экономических крестьян.

Среди конников шел негромкий еговор: как бы позлочиться да повернуть назад, и — прямо к батюшке. Солдаты неодобрительно хлопая на теплый возок Кара, с тоской поглядывали на пять жалких, скрипевших колесами пушек.

Становилось все светлей и светлей, вонь азел, стоявший по бокам дороги лес, шумный густым инеем, казался легким и жарким. В ветвях белой пуховой елки стряхнулась большая птица, должно быть филин, с дерева посыпался снег, засверкал алмазами.

От Юзеевой солдаты уже прошагали версты три. Головная рота, выступив из леса в чистое поле, вдруг загайкала, закричала, как стая галок, напуганная налетевшим ястребом:

— Глянь, глянь!.. Окружают! — И по нему стряду из конца в конец, как по сигналу, не видя еще опасности, во всю глотку заадали солдаты:

— Ой, ты!.. Обружают, обружают!.. Прошлем мы!..

Солдатам с перенугу померещилось, что от их раскатистого крика дрогнул, закачался белый лес. Но лес зашумел и закачался по другой причине: как только началась тревога, все конники — татары и крестьяне — словно по уговору, вытянули коней плетками и дружно махнули в лесную гущу.

— Стой, стой, изменники! — кричали им вонючку офицеры и капитаны.

По приказу выскочившего из повозки Кара вся воинская часть остановилась. Теперь уже всем было видно, как по горам и взлоб-

кам, с обеих сторон дороги, порхали врассыпную всадники. Отдельные их кучки волокли по сугробам единого и пущки, кричали, ругались, полосовали кнутами выраженных в орудия лошадей.

Осмотревшись, оба генерала определили, что неприятеля приблизительно около двух тысяч человек, а пущек при них — раз, два, четыре, восемь, девять.

Пугачевская артиллерия начала пристрел — перелет, недолет. На возвышенностях возле пущек копанились люди.

— Не угодно ли, — задыхаясь, желчно сказал Кар. — Девять. И так далеко ставят, подлещи... Наши до них, чего доброго, и не до...

И не успел он докончить, как на левом фланге разорвалась граната, пущенная пугачевцами из единого. Она повалила сразу пять солдат, двоих насмерть.

— Видали, каковы? — крикнул Кар стоявшему рядом с ним Фрейману и послал туда своего лекаря на помощь.

Воинские части Кара стали поспешно выходить за пределы дороги, стронуться к оброне. Расставили по удобным местам и всю жалкую артиллерию — четыре пущки и один единого. Началась артиллерийская перестрелка. Ядра и картечь пугачевцев ложились хорошо, пугачевцы стреляли метко. У пущек же Кара были большие недолеты. И лишь единого действовал прилично, но и он вскоре перевернулся вверх колесами: в его лафет брякнуло двенадцатифунтовое ядро.

— Подлещи! Анафемы! — сврепел Кар. — Какие же это к дьяволу мужики?.. Нешто мужики столь некусно артиллерией управлять могут? А где же наши конники, где татары с крестьянством? Эй, капитан!

— А наши конники, ваше превосходительство, тью-тью! — проилекал губами коренастый капитан, с обозленным, недолюбья взглядом и показал обнаженной шпагой на пригорок: — Эвог они пурхаются, видать — на сдачу покатиля... Да и нам бы, ваше превосходительство...

— Что?.. — заорал Кар и, выхватив из теплой дамской муфты руку, погрозила капитану кулаком. — Я тебя расстрелять прикажу, мерзавец!

— Нам и так расстреливают... — хриплым басом огрызнулся капитан и, со злобой трянув локтями, пошагал прочь от генерала.

А Кар, проклиная изменивших ему конников, направился к возку за пледом: морозом сильно прихватывало уши. Астафьев, Татищев и еще третий молоденький офицерик, отобрав, по приказу Фреймана, с полсотни

лучших стрелков-охотников, побежали с ними далеко вперед и, прячась за пригорками, открыли меткую ружейную стрельбу по пугачевцам, сшибая с седел зазевавшихся наездников.

Пушки пугачевцев подтягивались к Кару все ближе и ближе. Раненых у Кара прибывало. Вот повзбравец уронил ружье, перегнулся вдвое, с глухим стоном тыкнулся головой в снег. Здесь, в длинной шеренге, тоже упал солдат, еще упал, еще упало сразу двое, словно в огромной поставленной на ребро гребенке, валялись зубья. Там ползут к дороге, к лесу, старик и молодой, выскуливают жалобно. С воем летит граната; солдаты, спасаясь от смерти, валяются плашмя. Взрыв. Осколки рапят лошадь, солдата и лекаря Мигунова, что возле сапей делал перевязку раненым.

Пугачевцы палили без передыху, поражая растерявшихся солдат. Пушки Кара, наоборот, отвечали вяло, редко.

— Подносил проворней ядра! Пороху сюда!— до хрипоты тщетно кричали у пушек кашоциры.

— А где их узять, ядров-то?

И летело по рядам:

— Ядер нету... Пороху нету-у!.. Братцы!

— Эй, кто орет? Я те покажу нету!— бегали по фронту офицеры, призывно взмахивая шапками:— Давай, давай сюда! Все есть!

Но давать, действительно, нечего: снаряды на исходе. Длительное молчание пушек приводило оробевших солдат в уныние и трепет.

— Братцы! Пушки наши ни черта не стоят, ядра недолетывают... Погибать доводится...

И уже то здесь, то там раздавались призывные голоса:

— Бросай ружья, бросай ружья!

Солдаты плохо понимали, за что и против кого они воюют. Против ли самозванца Пугачева, как им внушает начальство, или же против истинного государя, как им выкрикивали пугачевцы. Солдаты были душевно подавлены и сбиты с толку, солдатам вовсе не хотелось воевать. А тут еще разные неполадки, холод.

Многие солдаты, не слушая окриков своих командиров, оставляли фронт, кидались в лес за хворостом, разжигали костры и лезли прямо в огонь, стараясь хоть немного отогреть кочевенные ноги, ознобленное тело.

— Это супостаты лхне, а не начальство!— сквозь слезы воили они, вздрагивая от холода.— Этакой лютый мороз, а они... Босые мы, раздетые. За что страдаем, неиз-

вестно. Да гори они все огнем! Сдавай ребята!..

И снова в разных местах безумные и крики:

— Было бы за что воевать! Бросай ружья!.. К черту!

По всему фронту зачиналась паника, смятница. Пришедшие в полное отчаяние генерала и майор Варнстедт, приказав кашоцирам усилить пальбу из пушек, кидались от пушки к пушке, просили, уговаривали умоляли солдат не малодушничать, похлянуть присягу и не нарушать порядок.

— Все будет, все будет, ребяташки! И теплые шубы и обувь,— заминаясь, говорил потерявший присутствие духа Кар. Капризный, самопадеющийся, упорный, он в конце, признал свою ошибку в том, что поставлять свои силы под расстрел неуязвимого врага преступно и бессмысленно.

— Сейчас маршем уходить будем, ребята! Не робейте. С нами бог!

— Давно пора!..— кричали ошестившиеся солдаты.— В могилу завели нас... А вояки, лихомапка бы их затрясла!

Горнисты затрубили сбор. Наскоро построились, наскоро подобрали на сани раненых, обмороженных, умершего от ранения лекаря Мигунова и под бой барабана ходы полагали по дороге. Отстреливаясь от неприятеля, в продолжение восьми часов отступящие прошли всего семнадцать верст.

Кар отошел к деревне Сарманасовой. Обширную потерю его отряда за три дня определили в сто двадцать три человека.

— Довольно! Ни шагу вперед! Мы разбиты. Нас могли бы уничтожить...— сетовал Кар генералу Фрейману.— Будем сидеть и ждать подхода войска. Но, боже милосердный, что я стану делать без лекаря?

Кар захворал лихорадкой и слег.

Глава восемнадцатая

Пугачев любил народ. Милостивая беседа. Медные прянички и „Трасмордас“. Вопрос был внезапен. „Куды б Пугачев ни прошел, везде народом принят будет“

1

Пленная рота 2-го гренадерского полка жила в Берде уже двое суток.

Пугачев принимал гренадер торжественно и всенародно. На крыльце поставили золотое кресло. Батюшку вывели под ручки Ненила и красивая каргалинская татарка. На нем богатый меховой чекмень, каракулеви

шапка с бархатным красным верхом, через плечо генеральская лента, при бедре сабля, а поясом два пистолета. По его бокам встали два янцких казака — молодые, чубастые, высокие, в мухояровых казакинях; у одного — приподнятой руке булава, у другого — поребристый топор. Вниз по лестнице, по обе стороны расписных перил, двадцать четыре казака личной охраны с обнаженными саблями — пугачевская гвардия.

Вся улица забита народом: казаки, башкирцы, татары и множество русских мужиков, пришедших за последнее время из ближайших и дальних селений. Народ подступил к самому крыльцу, многие залезли на заборы, на деревья, на крыши.

День был морозный и солнечный. Под лучами солнца темные глаза Пугачева блестели, и он весь сиял радостью: первая, столь желанная, победа над правительственными войсками открыла его.

Ермилка держал в руке сигнальную трубу и косясь через плечо на батюшку, облизывал губы. Пугачев махнул ему белым платком. Ермилка выставил ногу вперед, выпнул глаза и, надув щеки, затрубил сигнал. Враз забили барабаны. Знамена встряхнулись и замерли в линию.

Через расступившуюся толпу попарно шли пленные — рослые, с заплетенными косами, в треугольных шапках гренадеры. Ведл Падуров. Пред Пугачевым они выстроились в четыре ряда. Впереди офицеры: Волжипский и Шванвич.

Пугачев окинул гренадер острым взглядом, справил шапку, едва заметно ухмыльнулся, будто собираясь выкинуть какую-то любопытную штучку, затем нахмурил брови и вонюк, без злобы, закричал:

— Так-то вы, сукины дети, несете военную службу, так-то регул исполняете? В дороге дрыхнете, как дохлые собаки, ружья не ирражены, едете без всякой остороги. Дисциплины не знаете, сукины дети! А еще пенадерами зоветесь... — Пугачев говорил выразительно и строго, потрясал кулаком. Иритопывал, а сам по-хитрому косился на казаков и башкирцев, на все свое воинство. — Да вас всех смерти предать надо!

По спидам гренадер прошел леденящий холодок, один по одному они опустились на колени. А весь народ повернул головы в сторону часовни, где темнели страшные виселицы, затем снова все уставились на грозного царя.

Стоявший на коленях Шванвич с любопытством присматривался к Пугачеву и, внутренне содрогаясь, дивился необычным словам его.

Гренадеры сняли шапки, прижали их к груди и, кланяясь, выкрикивали:

— Внимися, ваше величество, внимися! А супротивничать мы не хотели по уговору, от того от самого и ружья бросили.

Пугачев предвидел такой ответ, он сразу сложил гнев на милость, поднял руку и проговорил:

— Встаньте, детушки, бог и я, государь, прощаем вас! Офицерки, двое, приблизьтесь ко мне.

Шванвич и Волжипский взопли по ступеням крыльца наверх, к золоченому креслу, и, ударив каблук в каблук, выстрелились пред Пугачевым.

В мыслях Шванвича, как огненным углем по черному бархату, прочертились слова из того странного письма, которое подсунул ему приятель Коробовья, там, в Петербурге, на Невском, за бутылкой венгерского: «Дополнивший ли он государь уверить тебя не берусь, — говорилось в том письме, — только думаю, что за одиннадцать лет скитания по белу свету он царское обличье свое мог утратить». Так писал Падуров, тот самый Падуров, который привел их сюда, а сейчас стоит позади этого осанистого, строгого, но, должно быть, справедливого бородача в генеральской ленте.

Обратясь к офицерам и помаргивая правым глазом, Пугачев во всеуслышанье проговорил:

— Мне, господа офицеры, Овчинников отписывал с моей действующей армии, что вы оба якобы супротивления в бою не оказали и обещались служить мне верно. Да и старик Брусов, ялецкий казак, давеча мне сказывал про вас. Так ли это?

— Так, государь! С радостью послужу вам! — вскинув открытое, бодрое лицо, громко произнес Шванвич.

— Так, — тихим голосом подтвердил и Волжипский, тотчас опустив голову.

— Добро, добро! — промолвил Пугачев и, взмахнув платком, закричал: — Слышь, гренадеры! А что вот эти хлопцы не забирали вас, не мордовали трохи-трохи?

— Никак нет, ваше величество! — ответила рота. — Господа офицеры, двоечка, были хороши до нас, милостивы.

— Гарно, — повторил Пугачев. — Так вот что, господа офицеры... Мы, божию милостью, примыслили принять вас под свою императорскую руку и поверстать в казаки... Падуров! Ты здесь-ка? Выдать им доброе обмундирование и по хорошему коню. Да беречь чтобы офицеров, беречь! — выкрикнул он, повернул назад голову и, найдя взором Митьку Лысова, погрозил ему пальцем. За-

тем, обратиться к офицерам:— Старшего ставлю атаманом, а тебя, прапорщик, есаулом. Виредь будете управлять своими грендерами, как и допреждь управляли.— Он протянул свою правую руку ладонью вниз. Но знаку Падурова, офицеры поцеловали руку и отéшли в сторону. Затем были допущены к руке и солдаты.

— Вот, детушки!— громко говорил Пугачев, утирая платком показавшиеся слезы.— Мне опять бог привел над вами, грендерами, царствовать по тринадцатилетнему странствию моему: был я и в Ерусалиме, и в Цареграде и в Египте. Оносля того в Россию перебрался. Неходил, истоптал я всю землю нашу, самовилцем был, как простой народ страждет от лютых бар до от чиновников. И положил я землю свою устроить, как детушка мой родной устраивал, Великий Петр Алексеевич...— и Пугачев снова стал утирать набежавшую слезу... Послужите мне, детушки!

— Послужим, послужим тебе, батюшка, отец наш, милостивец!— поистово закричала огромная толпа крестьян, казаков и солдат.

— Благодарствую, други мои!— отвечал Пугачев, кланяясь народу.— Держитесь за мою правую ногу, во счастья будете...

Пугачев любил народ, и народ отвечал ему тем же,— народ восторгался им и боготворил его.

Вот он сидит в золоченом кресле и чувствует, что люди смотрят на него тысячами глаз, люди ласково следят за каждым его движением, за тем, как хмурятся его густые брови, как трепетными пальцами охоранивает он генеральскую ленту на груди, как скребет ногтем черную с преседью бороду и пристальным взором пронзает лицо толпы. Народ неотрывно следит за ним...

И вот безмолвным воздействием народа Пугачев как бы приподнят над землей, и он уже не он, не простой, безвестный казак Емельян Пугачев, а некто другой, ему неповиный и страшный. И уже какая-то непонятная ему сила начинает рук водить им, он весь во власти этой животворящей, всеискаемой стихии. Тут разом отрываются живые родники души его, и, засверкав, летят в толпу пламенные слова, сами собой возникают нужные жесты самовластия, жесты всепокоряющей, несокрушимой воли.

Наступает минута радостного ликования, душевная атмосфера толпы доведена до высшего накала: вождь и народ — одно.

Так пробудившаяся подсознательная сила всегда в нужную минуту овладевала Пугачевым, помогала ему быть то мужицким царем,

то строгим судьей, то бесстрашным вояком, она позволяла ему, как одаренному актеру на сцене, перевоплощаться в тот или иной образ и жить другой жизнью.

...Целование руки кончилось.

Два старых солдата были искренно растроганы милостивыми словами Пугачева. Подходя к царской руке, они пристально вглядывались в лицо его, наморщили лбы и, заморгав бровями, объявили:

— Мы, ваше величество, еще издали признали вас за истинного государя.

— Благодарствую!— Пугачев весь щелкая, схватился за локотники золоченого кресла и подался корпусом вперед.— Ночи в Петербурге видели мою священную особу, ночи, как на карауле в Зимнем дворце стояли?— помгивая правым глазом, подкашлявал им Пугачев.

— Так, так, ваше величество! Мы же единожды становили на карауле в Зимнем дворце и видали вас. Только в та поры вы бороду не изволили носить, а правым глазом также вот подмаргивали, и промеж зубов — шербинка.— Грендеры, из желанья доставить государю удовольствие, говорили громко и отчетливо, нарочито обращаясь более к народу, нежели к царю.

Народ, слыша разговор царя с солдатами, пришел в шумную радость, снова закричал оглушительно «ура». Громче, надеждней все кричали крестьяне, протискавшиеся к самому крыльцу: они солдатам верили больше, чем казакам. Крестьяне всегда были того мнения, что: «казак человек вольный, балованный, да и живет-то супротив мужика куда справней; а солдат — наш же брат-савоська, только что кесу отрастил, и нужишка мужицкая — его нужишка, он свой, ему все вера».

— Как ваше прозвище, старик?— спросил их Пугачев.

— Я Фаддей зовусь, фамиль Елисеев,— кланяясь, ответил солдат с рыжими щетинистыми бровями и скуластым лицом.— А вы этот...

— Давилли! Выдать служивым по хорошей шапке да замест лаптей обулки царские.

Появился приблудившийся к стану Пугачева расстрига поц Ивань Поц в новых лаптях, в новых суконных онучах, в парчевой пверху полушубка ризе, в трясущихся руках — крест и евангелие, похищенные в егорьевской церкви; нос у него от пьянства сизый, впухший, узенькие глазки заплалы, длинно-волосая голова с плешью. Всех пленных он быстро привел к установленной присяге.

Пугачев поднялся, махнул платком и возгласил:

— Жалую я вас, гренадеры, землями, мориами и лесами, крестом и бородой и всякой пользостью,— церемонно поклонился и ушел, позвав за собою Шванвича. Он велел Давидину провести нового есаула в золоченую юрницу, а сам пришел к себе в спальню выпить ведки для сугрева: он изрядно-таки по морозе прозяб, а ноги в козловых сапогах совсем заплелись, едва до канна досидел.

Михаил Александрович Шванвич, девятнадцатилетний юноша, высокий, корпусный, с открытым белокурым лицом, на вид казался значительно старше своих лет. Он точно так же порядком предрог, прислонился спиной к горячей печке и с любезитством стал осядывать потешно и наивно, как в театре на сцене, разукрашенную комнатку. Трон, двуглавые орлы, знамена, английские, в выюжном футляре, часы, даже портрет великого князя Павла Петровича!..

Внутренно ухмыляясь, Шванвич думал: Шу, конечно же, он самозванец. У него и выговор-то малороссийский. Да и манеры рубые... Значит, верно мне сказали в Казани, что он простой донской казак Емелька Пугачев. А вот по осанке да сообразительности он, пожалуй, мог бы и царем быть. Во всяком разе, актер хоть куда! Ролью свою идет с искусством. Попробуем и мы играть свою роль». Голова юноши наполнена сумятицей, путаются мысли, а в душе — то надежда, то уныние. Незрелая молодость и необычность положения, в которое бросила его судьба, изрядно взволновали решительную, но еще не окрепшую душу Шванвича. Мочва под его ногами продолжала колебаться, впереди — туман, туман, полное неведение. Все его солдаты попали в плен, сослуживцы-офицеры уничтожены. Да и сам-то он спасся чудом.

— Скажи-ка, друг мой, откуда ты родом? — прервал его мысли волшебный Пугачев и сел к столу, на котором в порядке лежали несколько письменных приказов.

— Родился я в Петербурге, — ответил Шванвич. — И покойная государыня Елизавета престала меня.

В густых усах Пугачева промелькнула юрная ухмылка. Взглянув в лицо Шванвича, он с лукавством подумал: «Ты, брат, вижу, такой же крестник Елизаветы, как я крестник Петра Великого», и сказал, расчесывая гребнем бороду и чолку на лбу:

— А, так, так!.. Вель ты — Шванвич? Ну, так я про тебя и про родню твою от

тетушки Елизаветы слыхивал. Не твой ли папашенька, а либо дядя, Алешку Орлова рубалул папашом.

Шванвича эти слова очень удивили, он не знал, что Пугачев случайно подслушал разговор об этом среди пьяных офицеров под Бендерами.

— Сей грех приключился с моим родственником лейб-компанцем, тоже гренадером, — к Шванвич широко открыл на Пугачева свои вдумчивые серые глаза.

— Жалко, что он головы Алешке-т не смахнул, все бы одним подругом помене на свете было, — Пугачев вздохнул и потупился.

— Обидчик вашей персоны есть и кровный обидчик моего отца, каковой чрез Алексея Орлова по сей день в опале, — ловко намелся Шванвич.

— Вишь ты как! — с живостью воскликнул Пугачев, сделав в воздухе угловатый жест указательным пальцем. — Стало, мы с тобой вроде как... Вроде как... Ну, да ладно! А вот полковник Лысов сказывал мне, что ты морокуешь говорить по-инострански. Верно ли?

— Так, надежа-государь, умею.

— Ну, так подь-ка сюда, яа тебе вот бумагу да перо, возьми вот в этом месте напиши что-либо по-шведски.

Шванвич взял из рук Пугачева неиспанную четвертушку бумаги — указ приказчику Воскресенского завода П. Беспалову, перевернул ее и стал писать. Он шведского языка не знал и написал по-пемецки: «Ваше величество Петр Третий!»

— Тагорь напиши еще, какой ты знаешн-язык.

Шванвич написал по-французски: «Великий император Петр Первый».

Пугачев поднес листок к глазам, наморщился, проговорил:

— Эх, худо видеть стал, все глаза-то выплакал из-за злодеев, из-за гонителей своих. — Он достал очки, протер их уголком скатерти, неуклюжим жестом оседла им нос и долго всматривался в написанное, затем сказал: — Мастер! Дуже хорошо обучил иностранным. Ты пригоднись мне. Авось, бог приведет разным королям писать да государям. Обо мне вся земля услышит, а как дойдет до дела, все государи за меня горой вступятся. Катерина-то немка, а я-то искони русской, не ей, а мне владеть. Ну, да это еще долга песенка. — Пугачев захрихтел, засопел, взглянул на портрет Павла Петровича, хотел еще что-то сказать, но, сморгнув слезу, махнул рукой и проговорил: — Ну, Шванвич, иди. Служи мне верно. Да в порядке себя держи.

Шванвич ушел. В прихожей то и дело хлопала наружная дверь, стучали подкованные каблучки, слышались сержантские голоса, иногда дверь в золоченую горенку робко приоткрывалась, высывалась чья-либо борода. Пугачев отмахивался рукой, дверь со скрипом снова закрывалась.

Швырнув очки в стол (он в них ничего не видел), Пугачев с напряжением всматривался в мудреную пропись Шванвича. Раздвывая вежды, он долго сошел и морщил лоб. Затем взял перо и, поглядывая на бисер букв, стал писать каракульки. Рука, ловко владевшая саблей, не умела держать мягкое гусиное перо. На лбу Пугачева появилась яшарина. Он бросил перо и поднял голову. Перед ним стоял, покашливая в горсть, Максим Шигаев.

— Слышь-ка, Максим Григорыч! — сказал Пугачев, прикрывая широкой ладонью бумажку. — За этими хлопцами — Шванвич да другой с ним — треба покрепче джмотр чинить.

— Да ведь их, офицеров-то, много попавшато, батюшка Петр Федорыч, их без малого дюжина у нас. Конечно — дворяне! За ними глаз и глаз надобен!

— Мне желательнo не в ком яном прочем, а в Шваныче увериться, — возразил Пугачев. — Он иностранным обучен и нам гораздо надобен. Ежели по молодости лет будет в нем натаение, ну так и одернуть можно, чтобы знять к нашей дороге потянул. Смекаешь? Шваныч, я чаю, человек хотя и молодой, а кубыть надежный. И чаю, Шваныч назад глядеть не станет. Его отец от вышнего начальства обиженный, а по отцу — обижен и сын. Смекаешь, что к чему? Алешка Орлов граф отца-то избидел, отец-то харю Орлову графу порубил палашом, из-за какой-то княгини перетырка вышла, она и того и другого приглубливалa, а собой такая — взглянешь, закачаешься, — одно слово — фрухт, — с легкостью, даже с оттенком удовольствия плел измышлеенье Пугачев. — С той поры Орлов стал вымещать на Шваныче-то, на отце-то, было кнутьями приказал драть его, только ему старший братейник-то, Гришка-то Орлов, отсоветовал да укланял парню Лизавесту, чтобы она Шваныча в опалу сослала. И до сей поры Шваныч-то, старик, в опале упомящается. И мне сдается, Максим Григорыч, что хлопец не больно-то правителями довольный, а скорее всего нашу руку станет держать. Глаза у него держите, и как сказывал он мне про обиду, — аж трясся весь. А ты как полагаешь?

Житейски опытный Шигаев не мог не согласиться с трезвыми мыслями Пугачева,

но в его душе гнездилося врожденное преубеждение к дворянам, и он, мазнув концом пальцев по надвое расчесанной бороде, уклончиво ответил:

— Время укажет, батюшка Петр Федорыч. Правда, что он не сам пришел к нам а привели его... Ну, да ведь своевольных-и дорожек ихнему брату, дворянам, к нам и нетути... Да еще надобно дознаться: богата его родители, а либо малосильны; родовитые господа, а либо захудалые какие обсевки и поле?

— Бедные его родители, самые бедные. Он так толковал... — закричал Пугачев, — ему очень хотелось склонить этого уперного и подозрительного Шигаева на сторону Шванвича. — Одним словом, Григорыч, недельки через две ты отрепортуешь мне о нем. Те что, по делу?

— По делу, Петр Федорыч. Наши патрули «язычка» сграбастали. Схваченный показал, что-де полковник Чернышев с Сорочинской подступает, а отгудов в Татищеву-де лади илтиять, а опосия и в Оренбург.

— Это который Чернышев?

— А он еимбирский комендант, его отрядил казанский губернатор идтить походом по Самарской линии к Оренбургу, Рейнсдорфа вызволять.

— Чернышева до Оренбурга допускать не можно, Григорыч.

— Да уж постараемся...

— Ежели сила не берет, хитростыя надо на обман.

— Время придет, обманем, батюшка.

Пугачеву понравился этот ответ, он украдкой хихикнул и спросил:

— От атамана Овчинникова вести есть?

— Есть, Петр Федорыч. И об этом деле я доложиться пришел. От Овчинникова только что гонец прибежал: Кар люже побит.

— О-о-о! ишь ты!.. побит. Ведут ли его!

— То-то, что нет. От Юзевой наши воротили его да взад пятки верст двадцать гнали...

— Эх, дураки! Эх, черти!.. Генералишка не могли словить! — вскочил Пугачев и, руки назад, стал в волнении быстро вылаживать.

— Да вы, ваше величество, не печалуйтесь. Мы бучку дали генералу, и — добро. Деловек до двухсот повалили у него. А к нам с сотню конных мужиков да татар переметнулось, от Кара-то. Да еще с десятком солдат было мертвыми прикинулись, а как наши пробегали, они на ноги да ну брате: «Мы слуги государя императора!» Вот как, Петр Федорыч, это понимать надо.

— Добро, добро! Солдаты, видать, скло-

на нам, Григорьич. Так, стало быть, Кар
рвать перестал? Стало быть — победа?

— Победа, батюшка! И так, и так победа!
Пугачев подошел к лестнице на кухню,
вспалнул дверь и крикнул вниз:

— Эй, кто там живой! Подать нам с пол-
вником Шигаевым пимлянского покрепче,
на прикуску редьки тертой с маслом да
вареной баранинки с жирком. Живо! Одна
на здесь, другая там.

2

Два бывших гренадера — старик Фаддей
Киселев и молодой Брусов, уже с обрезанны-
ми косами и в казачьих шапках-трухменках,
ждали Шванвича на улице.

— А мы уж вашему благородию и хибар-
разыскать спроворили, — сказал старик,
улыбаясь. — Извольте идтить за мной!

Втроем шагали они улицей. Народ уже
вышелся со зрелища по своим делам. На
перечу попались четыре подвыпивших ка-
зак. Рассказываясь в седлах, сладко улыба-
ясь и полузакрыв глаза, как соловьи, они
пели песню.

— Зюкнувши! — подмигнул в их сто-
пу молодой Брусов и облизнулся. — Ох, и
пьяки эти казачишки!

По дороге тянулася большой крестьянский
из с бревнами. То здесь, то там, между
деревьями жилищами, на огородах и главным
образом в поле, не одна сотня мужиков на-
пряго рубили себе избы. Хотя казаки над
ним и посмеивались: «Что вы, неразумные?
Что тут нам не век вековать», но хозяй-
ственные крестьяне отвечали: «Замест вол-
ных нор мы в хатах будем жить, да и вас
устим. А нам без дела сидеть муторно». За
тыре дня было выстроено до шестидесяти
и-каких хатенок, с глинобитными печами,
в одном крошечном оконце, затянутом рас-
щепленным бычьим пузырем или тонкой
щипкой. А лесу заготовлено еще на сотню
б.

Тут же, на стройках, копошились бабы,
они доили коров, кормили овец, свиней:
погие крестьяне, разгромив господские вла-
сти, перебрались в государев табор со
своим имуществом, не забыв при этом
взхватить с собой кой-что из барского
убра. Крестьяне были одеты пестро: и в
последнюю рвань, прореха на прореха, и в
ворсовые тулупы с полшубками. На шюгах
валенки, лапти, яловые сапоги с подков-
ками.

Возле кустарника работали две новых
пани. Безжавшие от господ крестьяне-бу-
зцы подковывали казачьих лошадей, дела-

ли для мужиков острые, в виде рога-
тин, копыя или оковывали толстым железом кон-
цы закопелых березовых дубинок.

— Это тебе лучше сабли опарашит! —
смеялись крестьяне, пробуя дубинки. —
Взмахнешь — мокренько!

Всюду костры, дымки, говор, смех, визг
пил, стук топоров. Там вздымали верхний
венец, поухивали: «Раз-два, еще разок!
Раз-два, матка идет! Раз-два, подается!
Пошла-пошла-пошла!»

Шванвич, шагая к себе, с удовольствием
присматривался к этому живому, деятельно-
му бытию. Фаддей Киселев хотя и хмурился
для порядка рыжие щетинистые брови, но
тоже посматривал по сторонам одобрительно,
а в серых глубоко посаженных глазах побле-
скивали искорки восторга. «Вот она Расея!..
Расея зашевелилась с краю, мужичок пока-
зать себя хочет!» — внутренне улыбаясь,
думал Киселев. Он шел нетвердо, с осторож-
ностью ступая, как бы прислушиваясь к
своим ознобленным ногам: «Гудут окаянные». Да
и весь он был простужен, то и дело
хватался за грудь и перхал глухим кашлем.

За околицей растянулось большое поле,
управившееся в густой перелесок. Здесь все
пространство было усеяно какими-то закоп-
тевшими буграми, из которых клубились си-
зые дымки, как будто под снегом по всему
простору горела земля. А там подальше, в
огороженном жердями огромном пригоне, та-
бунились тысячи лошадей, над ними плавал
в морозном воздухе легкий туман. Справа от
них стояли бесчисленные стога бурого сена,
между дымящимися бугорками развезжались на
низкорослых, но сытых лошаденках люди в
остроконечных шапках.

Небо было высокое, бледное. Солнце скло-
нялось к закату.

— Тут-ка банкирцы кочуют, орда. Это
их стойбище. Ишь, землянок да шюр попары-
ли, чисто кроты! — пояснял старик Киселев.

— А где же казаки? — спросил Шванвич.

— А те, кои в чинах, а либо по возрасту
стары, в самых Бердах живут, в селенья, а
молодежь-то по огородам, в банях да в са-
райчиках, а то и в землянках, по-походному.

— А наши где?

— Сейчас дошагаем и до гренадеров. Горе
мое — поги-то обматывают меня, гудут!

Путники свернули в прогон. Навстречу —
казачья полсотня с пиками и со значками.
Впереди — есаул. Усталые кони клубятся
паром. В середине два всадника поддерживают
с боков третьего, тот бессильно изогнулся в
правую сторону, постанывает, ежится, голо-
ва упала на грудь. Сзади, на двух конях,
раженые: казаки, татары.

— Откудов, сынки? — невпопад полюбопытствовал Киселев.

— А ты ослеп, чего ли?... — огрызнулись казаки. — Не со свадьбы жа... Ведь покалеченных везем... Под крепость подступали, спибка была.

За полсотней ехали в перестунь татары. башкирцы с копьями, луками, с обтупутыми теллячьим мехом колчанами. Привязанный к хвосту заднего коня, влочился по снегу скрюченный, окоченевший на морозе труп татарина.

Путники постояли, сочувственно поглядели им вслед, пошли дальше. Вскоре все трое остановились возле маленькой крайней избышки.

— А вот тут-ка и палаты ваши, — сказал Киселев.

На задах избы, на обширном, в десятину, огороде, работала вся гренадерская рота. Солдаты строили себе землянки, грелись у костров, курили трубки.

— Ну как, кипит работа, молодцы? — спросил подошедший Шванвич.

— Кипит, ваше благородие! — с бодростью ответили солдаты. — Еще денечек, и в тепле мы. Да крестьянство баню обещало нам сварганить. Тогда нам прямо рай!

— Обедали?

— А то как... Обедали, ваше благородие! На варево полбарана получили да круи. А хлеба — сколь душа примет.

Шванвич с Киселевым и Брусовым вошли в избу. Застекленное оконце промерзло, давало мало света. Присмотревшись, Шванвич заметил две деревянных кровати; на одной из них, на сеном тюфяке, лежал в мрачной задумчивости Волжинский.

— А кто же в этой избышке на курьих ножках жил? — спросил Шванвич. — Уж не баба ли яга.

— Никак нет, тут мужской пол жил, — ответил Киселев, стоя на вытяжку. — Полячок один, фидерат прозывается, да казак, да офицер. Казак будто в полон попал, полячок в спибке убит, а офицер повешен.

— За что офицер казнен?

— Да чевой-то супротив государя провинился, — сказал Киселев, и глаза его стали злыми.

Волжинский при этих словах порывисто поднялся, макнул шубу и хмуро вышел. Шванвич, посмотрев вслед ему, сказал:

— Ты, Киселев, с нами будешь жить. Согласен?

— Ой, ваше благородие! — обрадовался старик и залыхтел. — Да с полным нашим удовольствием!

— Эх, чорт! — воскликнул Шванвич, жаль, вещишки пришлось бросить в кювет.

— Никак нет, ваше благородие, — и Фаддей Киселев выволок из-под кровати починный чемодан Шванвича. — Вы бросили, а мы с Ванькой Брусовым подобрали. Как это можно... Вот и ключик пожалте, ключик-то нарочно отвязал да в карман сунул, а то и его ведает, тут народ аховый.

Растроганный Шванвич крепко обнял старого гренадера. Ванька Брусов, получив разрешение, ушел. Старик затопил еще раз оставшую печку, принес из чулана кочан капусты, бок бараннины, сбросил старенький мундир, засучил рукава рубахи, стал готовить щи да кашу.

— Теперича заживем, вот как заживем, ваше благородие!

— Только долго ли жить-то доведется, вздохнул Шванвич, разбирая свои вещи.

— Вот то-то и оно-то, ответил Киселев. — Никому знать не дадено, только один бог знает, правда ли верх возьмет, а либо она кривда укрепитя. Ох, грехи, грехи...

— А что же ты правдой считаешь и кривдой?

— Ах, ваше благородие, да ведь правда то на мужицкой стороне, ведь вся Россия на мужике стоит и мужиком кормится. Мужик... Что мужик? Эх!..

Шванвич внимательно вслушивался в робоватый говор Киселева. Ему нравился этот простосердечный, услужливый старик. Да сам Фаддей Киселев за дальнюю дорогу успел присмотреться к Шванвичу и полюбить его.

Шванвич с удовольствием раскладывал свои пожитки по кровати. Вот зеркальце, кусок нахучего мыла, бритва, ножнички, свечки, походный подсвечник, чай, сам иголки, нитки, посовые платки, белье; главное, с десяток немецких и французских книг, купленных им в Питере. Вот они и лые, ненаглядные!.. С ними можно коротать время, в часы душевной тоски они уведут его мысль в область фантазии, к горизонту иной, неизвестной ему жизни... И он мог бы целовать свои книги, как горячо любила мую женщину.

Бритва! «Ну, уж нет, надежда-госудыня, хоть ты и пожаловал всех нас бородей, я все же буду бриться», — подумал он, провед ладонью по заросшей щетиною щеке.

— А мужик потерпелся ой-как. Ведь сами, ваше благородие, видели, как похотели, — мужик все к царю, да все к царю лататы дает, мужика теперича ничего устроит, ни розга, ни нуля. Уже раз и жидкий царь объявился да посулил мужика землю с волей, мужик весь на дыбы под

ется. Врагов зубами будет рвать. А ведь миллионы, мужиков-то!

— Толку мало в мужиках,— возразил Шванвич, приготовляясь бриться.— Когда армия придет с войны, государю, пожалуй, туго будет. Как ты полагаешь, Киселев?

— Вот то-то и оно-то. Войско-то у батюшки не ахтительное. И порядку маловато, да и обучены не бог знает как... Ведь у государя все народ простой, Воевод, чтобы настоящих, нетути. А ему, батюшке, одному не разорваться стать. Вот, ваше благородие,— и Киселев, бросив мыть гречневую крупу, подошел вплотную к Шванвичу,— вот ежели б вы да и другие господа офицеры от моего чистого сердца взяли бы да и помогли батюшке падавить дело-то военное! Ежели офицерство поможет государю, дело крепко будет, а не поможет — карачун нам всем! Ваше благородие! Вот было бы добро-то!.. Ваше благородие!.. — морщинистые щеки Киселева задергались, и голос стал срывать-ся.— Ведь дело-то какое! Ваше благородие!.. Ведь один раз живем. Ты все знаешь, ты военную науку превознес, на войне был... Уж ты прости меня, старика... Помогти, вступишься за народ, будь царю помощником. Ваше благородие, ваше благородие! — и старик, всхлипнув; повалился молодому человеку в ноги.

— Что ты, Киселев, голубчик, что ты! Встань! — поднялся изумленный Шванвич.

— Не встану, ваше благородие! Пока слова от тебя не услышу, не встану!

— Встань! — и Шванвич, смущенный и растерянный, бережно стал приподымать старого гренадера.— Я всеми силами буду надежде-государю помогать. Я ведь не больно-то... Я ведь и сам к простому человеку... Я... Мой отец...

Но старик, подпавшись и ничего не слушая, а только бормоча: «Ваше благородие, ваше благородие, спасибо!», схватился за голову и, шатаясь, как пьяный, вылез в одной рубахе на мороз. Он присел на крыльчатую ступеньку, сгорбился, взматывал головой, сморкался в рубаху, не переставая выборматывать: «Спасибо! Эх, вот спасибо-то, ну и спасибо!»

Выскочил Шванвич:

— Киселев, Киселев! Да ты что! — и погнался старика в избу.

3

Поздно вечером, когда Пугачев уже собирался лечь спать и, сидя в маленькой кренке, доигрывал с Шигаевым последнюю партию в шашки в поддавки, дежурный

Давилин доложил ему о приходе Хлопуши. Пугачев велел впустить его.

Огромный Хлопуша сбросил с широких плеч лисью с бобровым воротником богатую шубу и, опасаясь повесить ее в прихожей («Чего доброго, стянут!»), вошел к Пугачеву, ужав шубу подмышку.

— Вот, батюшка! — сказал он, тряхнув мехматой головой.— Перво-наперво кланяюсь тебе вот этим гостинчиком,— и он разбросил в ногах Пугачева лисью шубу мехом вверх.

— Благодарствую! — промолвил Пугачев и, подмигнув Хлопуше, ухмыльнулся.— С кого снял? Ась?

— Ни с кого не снимал батюшка,— ухмыльнулся и Хлопуша.— А это управитель Авзянского завода скоростяжко представился, так он отказал тебе на попоменье. Иосиф на доброе здоровье, батюшка!

— Садись, Хлопуша!

— Постойм.

— Давилин! Подай полковнику бархатный кресел. Садись!

Хлопуша недоуменно разинул рот, захыхтел и, как во сне, хлопнулся в придвинутое кресло.

— Жалую тебя полковником и ставлю командиром над заводскими крестьянами, коих ты привел ко мне, над пятьюстами.

Хлопуша еще шумнее захыхтел, вытаращил на батюшку дикие глаза, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами и, подобно большой жабе, опрокинулся с кресла, как в омут, Пугачеву в ноги:

— Батюшка, помилуй! Какой я, к свиньям, полковник, я и грамоте-то ни аза в глаза. Неспособно мне народом-то управлять. Облобони, отец!..

— У нас и дубина служит замест грамоты,— сказал, раздражаясь, Пугачев.— Грамота ни при чем тут, лишь бы человек в дело наше веру имел да честен был... А вот если что украдешь, то и за алтын удавлю... Встань и не супротивничай. Объявляю тебе благодарность свою царскую за людей, за порох, за пушки да за пять тысяч рублей казны, что прислал мне. Пушки опробованы — пушки хорошие, бьют метко. О том, сколь успешно ты мое приказание выполнил на заводе, мне уже доложили явственно, покуда ты с Каром воевал. И все приказчики-воры, коих ты прислал сюда в цепях, повешены.

— Так, так, батюшка, они работным людям пинько досаждали.

— А это что у тебя за узелок?

— А это, батюшка, другой гостинчик тебе — два пряничка да два пирожка,— и

Хлопуша, размотав холстину, вытащил медные увесистые плитки и подал их Пугачеву.— Орленые прянички-то батюшка!

Пугачев с интересом повертел их в руках и сказал:

— Об эти прянички зубы поломаешь. Это что за чертовщина!

— А это катерининские рубли, батюшка.

Пугачев прищурился и засмеялся язвительным смехом:

— Вот дураки, вот олухи царя небесного!.. Ха!.. Максим Григорыч! Видал? Да из десятка таких рубликов пушку вылить можно!

Хлопуша скреб за ухом и тоже улыбался. Шигаев, встряхивая на ладони тяжелый прямоугольный рублевик, сказал:

— Кабы мастера-знатецы были, на пятаки бы перелить.

— Не на пятаки, а на кресты,— поправил его Пугачев.— Серебреца подбросить да на большие кресты перековать, чтоб те кресты в награждение давать людям за храбрость. Треба, Максим Григорыч, пошукать таких мастеров-та... Чтобы кресты, медали... Может, промеж башкирцев сыщешь? Давилин! Подай-кось из опочивальни рубаху мою железную.

Давилин притащил легкую чешуйчатую кольчугу-безрукавку, она сделана из крупных стальных планок, скрепленных проволочными кольцами.

— Вот башкирские знатецы ковали,— взял ее в руки Пугачев и стал встряхивать. Кольчуга заструилась, зазвенела, как ручеек в горах.— Какой-то башкирец Юлай с сыном Салаваткой в дар прислали мне... Хоть и легка она, а ее ни сабля, ни пуля не берет. Нутка, новый полковник, надень ее, я по тебе попробую пальнуть из мушкетона,— и Пугачев швырнул кольчугу на колени сидевшему Хлопуше.— Давилин, подай-кось сюда ружье!

Хлопуша вскочил и замахал руками:

— Да что ты, батюшка, ваше величество?.. Не убивай, дай в полковниках походить маленько.

Пугачев громко засмеялся, потрогил Хлопуше пальцем и сквозь смех крикнул:

— Дурак, да ведь пуля-то отскочит!

— А кто ее знает, батюшка, ей как взглянется... Пушай Максим Григорыч надевает, он человек привычный, стреляный, а у меня жена, робенчишки.

— Да тебе говорят — отскочит,— весело покатывался Пугачев, потешаясь над перепугавшимся Хлопушей. По случаю одержанных побед Пугачев был в прекрасном душевном состоянии.

Меж тем Давилин распялил кольчугу и полузакрытой двери и подал Пугачеву из товленное к выстрелу ружье.

— Поостерегитесь, атаманы-молодцы, а пуля назад сганет, как бы не зачепи кого,— сказал Пугачев, приложился и палнул.

Хлопуша вздрогнул, кольчуга взбренькала и как только грохнул выстрел, вбежала горница, растрепанная, неприбранная, подоткнутому подолом и с мочалкой в руке Ненила, а с ней горнист Ермилка с топором.

— Вы что тут воюете? — неистово визжала перепуганная Ненила.

Все захохотали. А в прихожую уже вломилась толпа лицых казаков — личная охрана Пугачева — с обнаженными саблями, пиками. У всех встревоженные, разъяренные лица.

— Эй, кто стреляет? Где государь? — гулким басом орал сотник Белоносос.

— Заспокойтесь, детушки! Идите с богом! — сказал вышедший к ним Пугачев. Это я новое ружьишко пробовал.

Внимательно оглядывая государя — зломли, цел ли, все поклонились ему и, тяжко дыша, ушли.

Вместе с Ненилой прибежала из кухни пестренькая кошечка, любимца Пугачева.

— Мурка, Мурка,— погладил ее Емелья Иваныч и взял на руки. Шигаев, рассматривая кольчугу, говорил Пугачеву:

— Пасквоз, ваше величество. И кольчуга с обеих сторон прошиблена, и дверь и сквозь!

Хлопуша, поправив тряпицу на носу набожно осевив себя крестом, сказал:

— Вот, твое величество!.. Я бы уж тебярича мертвяком был. Уступал бы ты мне за всяко просто!

— Дурак ты, полковник, императорски шуток не разумеешь,— ответил Пугачев.— Неужто я стал бы стрелять в тебя. Да и медведь, что ли? Давилин, а ну-ка выбери эту чортову железную кофточку на помойку!

Затем были втащены с улицы два сундука и корзина с привезенным Хлопушей добром: два больших зеркала, столовые английские часы и клавишины. Пугачев с увельствием разглядывал содержимое сундука, ахал, прищелкивал языком, оглаживал глазами богатые серебряные кубки, вазы, ершины, енды, еще недавно принадлежавшие Демидову.

Серебряный орлений кубок с вензель Петра I Пугачев подарил Хлопуше; высоко над потолком, часы велел отнести в каматана Овчинникова,— вернется из похода рад будет; большое зеркало — Ивану Тюр

тову, — пускай красавица Степа любитесь в него; другое зеркало, поменьше, — полковнику Падурову, — да пусть скажут там, чтоб это зеркало смотрелся не сам полковник, а его татарочка с маленькими губками и девичьими косами; а вот эту вот мраморную кату красотку с отбитым носом — есаулу Шванвичу, да ему же и вот этот бисерный выпак с кисточкой, и меховые рукавицы. Словом, Емельян Иванович всех оделил даром. Ну, да не обидел и свою особу, и себе положил кой-какие приятные вещички.

— А тут чего? — коснулся он ногой большой, как стол, плетеной корзины.

— А здесь-ка срядя всякая, барахлашкo, вроде бабское, — ответил Хлопуша, развязывая веревки на корзине и отпирая замок. — Есть и прянички.

— Медные? — подмигнул Пугачев.

— Пошто медные?.. Самые съедобные. И вареньице тут есть, банок с пять больших, ежели казаки не сожрали в пути. — Хлопуша, присев возле скрипучей корзины, открыл ее и вдруг, всех поразив, внезапно вынул-завыл дурным, оглушительным гомом, опрокинулся всей тушей на спину, скочил и, громыхая сапожниками, побежал в другую горницу с криком:

— Мышь, мышь!..

Башка Мурка мигом спрыгнула с плеча Пугачева на мышонка и, урча, потащила его в угол. Все произошло в одно мгновение, башка грохнула дружным хохотом. Даже на ще Шигаева — строгом, бледном и постылом, как лицо аскета, — выдавилась натуженная улыбка. А Пугачев, помаргивая глазом, спину бежавшего Хлопуши, схватил за живот и от неуместного хохота смеясь по комнате, постанывал и плакал. Красный Хлопуша едва дверь нашел, крепко ударившись плечом в косяк.

Кошку с мышонком выбросили за окно, бежавшего на крыльцо верзилу еле затащили в дом.

— Уф, дьявол! Язви ты в сапог!.. Нуще перги мышат боюсь, пятнай их черги! — разу облившись потом, задышливо пыхтел Хлопуша. Он со страху озирался беспокойными и горящими, как у сумасшедшего, глазами и от сильного внутреннего возбуждения дрожал. — В тюрьме, в камере, я мышь увидел, едва решетку железную не оторвал с окна... чуть не сдох!..

Падкий на шутки и на хохот, Пугачев — таки первый сметил болезненно-тягостное положение человека, нахмурился и вразумительно проговорил:

— Это бывает, бывает... У меня в свите шерал-адъютант один был, старик, так тот

черных тараканов боялся дюже. А на войне первейший храбрец.

Хлопуша, могущий размозжить череп человеку или встретиться грудью с медведем, и сам удивлялся своей «бабьей» слабости, подтрунивая над собой, презирал себя.

— Захлопните корзину, а нет — я домой иду, — сказал он.

Пугачев запер сундуки и корзину, ключи сунул в карман, велел скликать казака Фофанова, хранителя имущества, и приказал ему:

— Перетащи-ка с Ермилкой все это к себе вниз. Завтра, в присутствии моей особы, составишь опись всему этому государственному добру.

Затем Пугачев указал на красиво сделанную из ясеневоего, с резьбой, дерева неизве-стную ему вещь:

— А это что за оказия такая? Стол не стол, кресел не кресел.

— Музыка это, — буркнул в бороду Хлопуша и поднял крышку. — Вот ежели по этим клапанам вдарить, музыку можно вырабатывать.

— Не учи, — важно сказал находчивый Пугачев, придвинул стул, сел за инструмент, выпятил губы, сделал лицо елико возможно олухотворенным и с силой ударил по клавишам двумя пятернями враз. Инструмент подпрыгнул, встряхнулся, струны испустили душераздирающий разнотонный звук. Пугачев, как ребенок, засмеялся: «Я ведь во дворце игрывал на этой штуковине-та. Почасту игрывал, да вот забыл... Бывало, тетушка Елизавета сама меня учивала и за уши не раз трепала, как где собьюсь... — И Пугачев, закусив нижнюю губу, опять что есть мочи забрякал по клавишам.

— Ты ногой-то, ногой-то батюшка, орудуй, притопывай помалу, по приступке-то, — неожиданно проговорил Хлопуша, указывая корявым пальцем на нижнюю педаль.

— Учи, учи!.. Не смыслю я е твое-то, — оцетинился на Хлопушу Пугачев и притопнул по педали; педаль чуть не хряснула. — Сия музыка зовется... зовется... Тьфу ты чорт!.. Трасмордас, что ли, забыл.

— Уж вот нет, батюшка, ваше благородие! — опять ввязался верзила. — Она пазывается — клавишини. А играть на ней надо вот как. Пусти-ка, батюшка. Ты, я вижу, ни хрена не смыслишь.

Пугачев хотел обругать верзилу и оттолкнуть его, однако, недовольно попыхтез через поздри, он уступил Хлопуше место. Тот засучил рукава, откашлялся, отплюнулся, скривил рот и заиграл.

Шигаев, Давилин и подошедший Максим Горшков придвинулись к Хлопуше и, разинув рты, глядели на него с широким удивлением. Взяв несколько складных аккордов, Хлопуша подышал в пригоршни, пошевелил кривыми пальцами, стараясь размять их, затем стал двигать бровями и выщепывать, как бы что-то вспоминая. Вот он отбросил назад волосы, вытер вспотевший лоб, покопался на мрачного и злого Пугачева и вдруг, ударив по клавишам, гнусаво, но складно запел заунывную священную стихирю: «Достоин есть во вся времена нет быти гласы преподобных...»

— Ах ты, сволочь! — не то в восторг и похвалу, не то в порицание выкрикнул Пугачев. — Откудов знаешь?

— А как же мне, батюшка, не знать? — захлопнув крышку клавиш, ответил сияющий Хлопуша, и большие белесые глаза его стали бегать от лица к лицу. — Ведь я из вотчины тверского архиерея Митрофана.

— Уж не помню ли ты был там. Ась?

— Пошто помню?.. Я сам радом крестьянин из сельца Машковичи, Тверского уезда. А к архиерею по первости я в истопники был взят, а тут в певчие попал, голосишка у меня, у мальчонки, был подходящий. Ну, как спевки у нас почасту были, я и понавторел на клавишине-то брякать. Я мальчишка озорной был и нечистыни-то попутали меня пакость сотворить. Как-то увидел я в трошцын день пьяного дьякона в канаве, взял да всю гриву под корешок и обюрнал ему ножницами, а бородищу начисто отхватил. Так дьякон-то от того позору чуть умом не тронулся, а меня, пятяги их черти, выпороли и прогнали. Владыка-т Митрофан своеручно посохом меня отвозил. Да так мне подлецу, и надо!.. Вот!..

Все засмеялись. Хлопуша сказал:

— Да ужко я тебе, батюшка, когда на свободе всюю жизнь свою обскажу. Только знай, слушай!

4

Сидели за накрытым столом. В глубокое деревянное блюдо, в котором Пеннла обычно толкла чеснок и лук, опрокинули банку демидовского малинового варенья. Ели варенье большими ложками, как кашу, хвалили, запивали квасом с кислинкой. За квасом появилась распластанная соленая рыба, за рыбой опять квас, за квасом тертая редька с конопляным маслом и баранина.

Хлопуша чавкал снедь со всем усердием, громко рыгал в знак благодарности хозяину, утирал усы и бороду широкой ладонью, неспешно вел свою чистосердечную исповедь.

— А звать меня, люди добрые, Афанасий Тимофеичем, по роду — Соколов, я уж смывал. А годов мне сорок пять. Опос архиерейской службы я вторично на дереве жил, а придя в возраст, пошел в Москву извозчики, и свел я там в кабаке знакомство с капралом да с сержантом Коломенского полку. Вот как-то закутили мы, в питейным домам для пьянства ездя. А ночью заехали на Пречистенку, мне в лели у рогаток дожидать, а сами ушли. А тут глядь-поглядь, прут ко мне кошел с серебряной посудой, а через малое времечко два мешочка денег притащили серебряных и маленький шкатульчик, оправленный зомтом, в нем алмазные вещишки. А как зашли на Пречистенке у рогаток бить в три щотки тревогу, дружки мои пали ко мне сани да дуй-не-стой на Москву-реку. И одначе, стражники догнали нас, всех троих привели в часть. Путем-дорогой дружки научили меня, чтобы всем троим настоящие свое званье укрывать, а показывать одно все, мол, мы беглые, Черниговского полка солдаты. Нас отправили в военный гауптвахт. Там по суду меня приговорили шпицрутенам и прогнали через тысячу человек шесть разов.

— Не больно сладко, — вздохнув, сказал залучливо сидевший Шигаев.

— Да, сладости не шибко много, — согласился Хлопуша. — Два раза водой отливало меня, и валялся я изувеченный месяца два. Шибко я здоровышком своим скудала кровью харкал... Да, родимые мои, спортит меня Москва, вот как спортит! Вишь стал зашибать, с мазуриками спознавал увечье немалое претерпел. А все винце. Правильно в божественных книгах сказано не упивайтесь вином, в нем бо блуд.

— Ну, а как в конокрады-то ты попал? — спросил Шигаев. — Помнишь, в тюрьме ты мне сказывал?

— Нет, Максим Григорыч, не был я конокрадом, ни в жисть не был. Это обманно. После Москвы-то я опять в своей деревне очутился, под Тверью, и жил там последней бедности. И поехал я в гору Торжок, и выменял там на базаре коня мужика. А этот самый мужик, чтоб я без покаяния, собаке, сдохнуть, в провинциальной канцелярии возвел на меня клевету, что я мол у него коня украд. А не считался я в своем сельце человеком худого состояния, жители принять и защиту за мне не согласились. А канцелярия определила высечь меня кнутом и сослать на каторгу в Оренбург.

— Вот видишь, Афанасий, — стало, и

вино, а сам ты виноват,— укорчиво сказал Шигаев.

— Ничего не сам, а народ виноват, жители. Они не приняли меня.

— Стало, ты согрбил народу, вот и поддержи тебе не дали,— настойчиво вел свое обвинение Шигаев.— Народ всегда прав бывает, народ никого зазря обидеть и занья не возьмет.

— Ой ли? — усомнился Пугачев.— Пет, Григорыч, как хощь, а не соглашусь с тобой. Народы, брат, разные бывают. Иных прочих за ведро воды можно купить. Я, конечно дело, не про народ балакаю, не про весь народ, а про скопнище. Чужь? — Глаза Пугачева загорелись, он весь сразу взволновался, как будто в его грудь что-то быстро росло и просилась наружу. Он вскочил и стал шагать по горнице.— Народ ложного царя Димитрия на царство посадил, оный же самый народ и разорвал царя Димитрия на части. Вестимо вам это, ай нет?.. Толпища, то комариный рой: куда ветер дует, туда комары летят.— Он остановился, помолчал, и, воззрясь на покашливавшего, смущенного Шигаева, спросил его: — Ну, а как ты думаешь, Максим Григорыч?.. Вот ты все багаешь — народ, народ... А как ты думаешь, что бы сказал народ, ежели б я вышел и объявил скопнищу, что я не царь?

— Вопрос был столь внезапен, прям и шебычен, что все выжидательно уставились на батюшку, примолкли. И сквозь тишину Пугачев, раздувая ноздри, молвил:

— Народ, чаю, зараз убил бы меня. Вот мой народ!

Пугачев и сам дивился этой всплывшей в его сознании странной мысли. Как будто и ввода не имелось, но вот какая-то шипища круг кольнула его патавшуюся душу, и Пугачев, не сразу осознав смысл своего вопроса, огорошил им своих товарищей.

Безбородый и безусый, похожий на скопника, Максим Горшков, испугавшись, набычился и гулким, с дрожью, голосом сказал:

— Ты, ваше величество, царь есть. Все-царю народу это ведомо.

— Да я знаю, что не лапоть я, не прибудыш какой, а истинный царь! — закричал Пугачев.— Я к примеру толкую. Вот ежем, взял бы я для потехи да и крикнул народ: «Я не царь, я не хочу вас за нос, вы индюков, водить, я не влук Петра Великого, а я правнук Степки Разина, вольный штель!» Что бы тогда народ? Ась?

Шигаев приосанился, махнул по бороде жмапами пальцев вправо-влево и сказал:

— Народ, это верно, убил бы вас, ваше

величество, Петр Федорыч, батюшка. И нас бы всех переколлот.

— А за что же убил бы меня народ-то?—

И Пугачев, сверкнув глазами, стиснул кулаки.— Ась, ась?

— А за то,— шустив в ход все свое красноречие, стал отвечать Шигаев,— за то, что из-под ног народа, вас царем признавшего, вы, батюшка, укрепую вышибли бы, надежду рушили бы, знамя отняли бы. Вот за что... А первой всего — за великий обман. Народ обмана не простит. В жизнь не простит обмана. Иное дело, ежели б вы первоначалу народу о сем молвить изволили. А когда уже слава о новоявленном царе по всей России пошла, теперь уж поздно!

— Поздно, ваше величество! — гукнул и перазговорчивый Максим Горшков, двигая вверх-вниз бровями.

— А я и не собиралось,— призывая на свою душу спокойствие, ответил Пугачев. Он отошел к окну и, взвинченный, стал всматриваться в тьму черной за стенами ночи.

Горшков с Шигаевым многозначительно переглянулись. Им обоим вдруг с ясностью припомнилась далекая таинственная ночь в башне, припомнилось крестное целование и крепкая клятва признать Емельяна Пугачева за царя и верно служить ему. Будь здоров, будь до конца благополучен, отец наш, Емельян Иваныч!..

Хлопуша, обхватив ладонями локти и раскачиваясь взад-вперед, как пильщик, безмолвно сидел. Вот он с жалостью покосился на батюшку и стал продолжать свой прерванный рассказ о том, как он перебрался в Бердскую слободу, женился здесь, обзавелся хозяйством, прожил на месте пятнадцать лет, затем ушел работать на Покровский, графа Шувалова медный завод. И, проработав на том заводе честно, трудолюбиво с год, спознался он с тремя друзьями.

Пугачев напряженно глядел в тьму, но этой тьмы пред собой не видел. Он видел светлый день, солнце, голубоватый, в блестяках, снег, огромную толпу. «Братцы, детушки! — кричит народу Пугачев.— Объявляю вам, детушки, я — не царь, а простой человек, правнук Разина Степана, добра народу желающий. Хотите — убейте меня, хотите — айда под моим знаменем землю с волей добывать!» И видит в мыслях Пугачев: народ заорал и в великом смятении разбился надвое, как вода и пламень. Одни кричат: «Смерть тебе!» Другие кричат: «Он наш, он за народ, поддержим его, братцы!» И началось меж народа кровавое побоище. Пугачев закрыл глаза, подбросил ладонь ко лбу и сторбил-

ся... «Тьфу ты!.. Пошто это я... этакую околесицу...»

— Батюшка, твое величество! — повернувшись к Пугачеву, воззвал Хлопуша умоляющим голосом.— Ты не слушаешь?.. Подъеда поближе, каяться тебе хочу.

Услышав голос живого человека, Пугачев отмахнулся от странного наваждения, четко проскрипел к столу подкованными сапогами и сел. С ним это случалось часто: вдруг родится в сознании какая-то непрошенная мысль, пошумит в душе и навсегда исчезнет. Но кто его знает?.. Душа человека темна и капризна. И, может быть, мысль о том, хотеть ли Пугачеву все время в личине царя или открыть народу свое имя, снова воскреснет в нем и потребует действия.

— Батюшка, слушай!.. Как на духу, тебе, без утайки! — Соколов-Хлопуша со всей искренностью повторил, как он определился и честно служил на Покровском заводе и как спознался там с тремя вольнонаемными, из беглых людей, работниками.— Оные злодеи в пьяном положении сказали мне: «Ведут-де в Троицкую крепость касимовские татары дорогого иноходца. Пойдем отобьем!» И мы, батюшка, сволочи такие, пошли! Дорогой мы повстречали двух беглых мужиков, таких же воровских людей, как и мы. Они обсказали нам, что жеребец уведен далеко, уж его не нагнать, а вот едут-де с Ирбитской ярмарки четверо татар на шести подводах, при больших деньгах, вот давайте-ка их тряхнем. Ну мы, звамо, согласились, и, как выследили татарву, запали в буерачик. А как татары противу нас поверстались, мы выскочили и после бою всех татар перевязали и ограбили; денег взяли рублей с тридцать, да двенадцать мерлушек бухарских, да сколько-то халатов, да шесть лошадей. После разбою мы, сволочи, татар отпустили, а убитого своего товарища в землю закопали, чтоб ему, язвы его, век в аду гореть. Трое по московской дороге в дома свои пошли, а я с товарищем опять на завод повернули. И вот, родимые мои, работаю я на заводе честь-по-чести, и доходит до меня слух, что ограбленные татары всех нас в Оренбурге оговорили, и меня ищут солдаты. Я с товарищем ну-ка с завода скорей бежать. А как не было у нас паспортов, мы вскорости и вдругорядь влопались. В Екатеринбурге судная изба при воеводстве определила наказать меня кнутом, вырвать ноздри, на щеках, на лбу поставить клейма... — Хлопуша-Соколов боднул головой, поправил белую тряпку на носу и, ударив себя в грудь, надрывным голосом выкрикнул: — Изувечили!.. На всю жизнь изувечили! Урод я стал. В меня падьцами все

тычут, все изголяются надо мною, за дес сажен орут: «Глянь, глянь. Страхолюд чудище идет, сам чертыка!» Тяжелехов мне, братцы, жить... Батюшка, твое величество! Вели подати мне штоф водки... Хлопуша, сделав плаксивую гримасу, прительно скрестил руки на груди.

— Нет, не велю, Афанасий Тимофееч строго сказал Пугачев, хмурия густые брови.— Я гуляшек, кои безо времени вина обжираются, не долюбиваю. Знай это!

— Да ведь я, батюшка, не ради пьянств а для слез, для горьких слез прошу... Шкасть мне надо перед тобой, душу свою бож мерзкую тронуть, а слез нетути... Дай мне водки штоф.

— Не проси, не дам! — еще строже сказал Пугачев, ударив взором в Хлопушу: Уж не прогневайся. Брось причитать!

Тогда Соколов-Хлопуша, издав какой-то то рычащий, не то плачущий звук, шнылся во весь рост и сорвал с лица тряпку.

— Вот, твое величество! Гляди... Весь в крашен.

Еще никто не видал лицо каторжника в крытым. И вот теперь, невольно взглянув все с жалостью и необоримым отвращением откачнулись от лица его: из носового чирного провала торчали безобразные как-то ослизлые хрицы, на щеках и на лбу темные зарубцевавшиеся, несмываемые знаки «В.О.Р.» Верзила злобно ухмыльнувшись всхлынул и дрожащими руками тотчас ввязал тряпицу. От насадного дыхания везили в его груди синело, в гортани булькало и переливалось.

— Батюшка, царь-государь, — изувеченный снова скосоротился и завопил: — ты не дашь мне новой хари человеческой, грех с моей души снять во всей власти твоей. Ты царь!

— Да велик ли грех-то твой? Что он был? Эка штука!.. Тьфу! — с жалостью сказал Пугачев и цюнул.

— Велик ли, мал ли грех мой, а он и злая паршь, на мне, батюшка! Через него только образина моя, а и душа-то безном стала, и сердце-то, как ошметок, высохло. Ты!.. Да и грехов у меня целый мешок, батюшка. Людинек убивал я лючем зря, и пьяному делу, в грабежах. Попы снимали меня грехи-то, да они не того поля ягоди за деньги снимали. А ты вот прости меня и чистой совести... — Хохластые брови Хлопуши поднялись, белые глаза стали как у сумасшедшего, он всплеснул руками и ушал Пугачеву в ноги. Весь мир провалился для Хлопуши, и только свету было — царь! И он

юсый грешник жалобно завыл перхающим, жутким воем: — Прости, прости!.. Ты законы пишешь. Ты богом ставлен. Сними с меня, дурака безносого, грехи мои!.. Помилуй меня.

— Встань, Афанасий Тимофеич, — стал подымать Пугачев лежавшего верзилу. — Бог и я, государь, прощаем все вины твои, малые и большие. Служи мне правдой, и все будет зело добро. И ласку мою примешь.

Хлопуша-Соколов с жаром поцеловал колени Пугачева и поднялся. Ему до боли вдруг стало стыдно посторонних. Ни на кого не глядя, угрюмый и раздавленный, расхлябаным шагом пошел он к выходу. Белесые, лишенные умилительных слез глаза его были сухи, напряженны.

Все переглянулись. Но ни Давилин с Горшковым, ни даже вдумчивый Шигаев не могли раскусить столь сложной, столь необычной души несчастного каторжника. Зато понял его душу Емельян Иванович Пугачев. Он сказал:

— Вот видите, господя, какой он человек, совестливый человек-то, верный человек... Вот тебе и каторжник!.. Ах, сволочи! Каких людей увечили. А еще Овчинников, дурак, все приставал ко мне: повесть да повесть. Экой дурак! — Пугачев по-настоящему был взволнован судьбой затравленного человека. Его поражала и самая жизнь Хлопуши, и его верный, непожужный характер, и страшное меж глаз провалище. Пугачев тяжело дышал, как в кошмарном сне хватался за свой нос с горбинкой, лицо его коробилось в гримасе. Наконец, выдохнув из широкой груди весь воздух, спросил спокойно:

— Ну, а что же с ним после Екатеринбург-то сталося?

Шигаев, когда-то слышавший в тюрьме от Хлопуши исповедь, сказал, что безносый послан был на каторжные работы в Тобольск, оттуда бежал, снова был схвачен и сослан в Омскую крепость, но вскоре и оттуда бежал.

— Молодец! — сказал Пугачев. — Вот это молодец!.. Я и сам, бывало, не единожды беживал.

— Бежал он к Оренбургу, чтоб со своим семейством свидеться, да был схвачен под Сакамарой казаками и доставлен в Оренбургскую крепость, где в четвертый раз наказан кнутом.

— Понравился, видно, кобыле ременный кнут! — буркнул Горшков.

— Да!.. И оставили Хлопушу страдать в кандалах при тюрьме вечно. Вот тут-то Рейнсдорп и призвал его.

Было уже два часа ночи. Гости ушли. Утомленный Пугачев растянулся на кровати и сразу захрапел.

Но оправившийся от лихорадки генерал-майор Кар еще и не думал спать. Сидя в деревне Дюсметевой, он, не спеша и обдумывая каждую строчку, сочинял пространную реляцию в военную коллегию. Описывая подробно все свои неудачные стычки с неприятелем и с неопровержимой логикой выставляя причины этих неудач, он, между прочим, требовал:

«Для того, чтоб совсем сих разбойников искоренить, то непременно надобно, чтоб сюда был прислан целый полк пехотной да полки ж карабинерной и гусарской с одними седлами и оружием на почтовых подводах. Неминуемо также потребна артиллерия, пушек восемь и четыре единорога. Отбивать атакою пехоты вражескую артиллерию невозможно, потому что они всегда стреляют из нее, имея готовых лошадей и перевоза пушки быстро с горы на гору, что весьма проворно делают и стреляют отлично, не так, как бы от мужиков ожидать должно было».

Затем он стал писать президенту военной коллегии графу Чернышеву. Повторяя в частном письме причины неудач и просьбу выслать ему военную силу с артиллерией, Кар начинает запугивать графа Чернышева:

«Если не соизволите уважить мою просьбу, то по генеральному в сем крае колебанию, куды б сей злодей Пугачев ни прошел, везде принят будет. И возгоревшееся сие пламя надобно много уже трудиться утушать».

В конце письма следовал погубивший карьеру Кара, рискованный постскриптум:

«Пока еще следуемые сюда войска собираются, для переговоров с вашим сиятельством о многих сего края подробностях, поруча команду генералу-майору Фрейману, намерен я отъехать в Петербург, ибо то время, которое употреблю на езду свою и с возвращением здесь безо всяких предприятий протечет. Васнлей Кар».

Глава девятнадцатая

У П. И. Рычкова гости. Отчаянный купчик

1

Знаменитый Рычков¹, давнишний житель Оренбурга и Оренбургского края, член-корреспондент Академии наук, член Вольного экономического общества, принадлежал к числу недюжинных русских людей елизавет-

¹ Автор известной летописи «Осада Оренбурга».

винского и скатерининского времени. Хотя Рычков и не получил систематического образования, но, будучи одаренным от природы и благодаря своему необычному трудолюбию и великой склонности к наукам, он был широко известен образованным кругам не только Москвы и Петербурга, но и ученым Западной Европы.

Высокий, очень уштантый, с размашистыми жестами, но уже стареющий, — ему шел шестьдесят второй год, — Рычков имел крупное овальное лицо с выраженным упрямства и напечности. Серые выпуклые, необычайно спокойные глаза, слегка приплюснутый нос, круглый подбородок, длинные седые, в буглях, волосы.

Он состоял в должности начальника соляного дела Оренбургской области и очень печалился, что знаменитые соляные промыслы в Илецком городке (Илецкая защита) пограблены и наполовину порушены пугачевцами.

В воскресный день, сразу же после поздней обедни, к нему неожиданно явились посетители.

— Ну вот, Петр Иванович, уж не обессудьте, гостей к вам привел, двух благочестивых коммерсантов, — сказал прокурор Ушаков, подслеповатый, низенький, с брюшком, в мундире и при шпаге.

Оба купца поклонились хозяину с приятными улыбками. Пожилой первейший оренбургский купец Кочнев, высокий и долгобородый, бывший от купечества депутатом большой комиссии, застенчиво потеревливая бороду, сказал:

— Уж извини, брат Петр Иванович. Не бывал я еще в твоих новых хоромах-то. Вот, любопытства ради, и пришел, да и приятеля с собой привел: это купеческий сын из града Курска, Авдей Иванович Полуехтов, прошу любить да жаловать!

— Знакомы будем, знакомы будем! — торжесто выкрикнул молодой кудрявый купчик, закатился беспричинным смехом и столь крепко сжал мускулистой ладонью пухлую руку Рычкова, что тот болезненно сморщился и выдохнул:

— Ой, ну и силка же у вас!

— Ха-ха!.. Силой господь-батюшка не обидел меня, — снова закатился Полуехтов, закинул руки за спину и, бесцеремонно высиживая какую-то бурлацкую, взад-вперед стал ходить по кабинету. Краснощекый, широкоплечий, в синей поддевке и алой шелковой рубахе, перехваченной персидским чеканым поясом, он, несмотря на ранний час, уже был навеселе: от него изрядно понахлвало водочкой.

Рычков поглядывал на него с некоторым

удивлением. Степенный Кочнев осматривая, сказал:

— Добрые, добрые у тебя хоромы, Петр Иванович!

— Оное обиталище выстроено на казенный кошт губернатором Рейнсдорпом и отядено мне, — ответил Рычков. — Дивлюсь в сего капризного барина: то он ко мне починный респект имеет, то вдруг — вожжа по хвост, и я уже не хорош ему. Наш губернатор, ежели хотите знать, низкопоклонств с лестью любит, а у меня ни того, ни сего в природе нет.

Брюхатенький прокурор Ушаков ядовито улыбнулся, он прекрасно знал мнение Рейнсдорпа о Рычкове. «Помилуйте, это ж Тартюф, настоящий Тартюф! — не стесняясь, говорил про него губернатор. — В нем неограниченное самолюбие, глупое тщеславие и никакая зависть. Но иногда он прикидывается и признательным. Впрочем, я отдаю всю свою ведавность его, хотя и невозделанному, уму».

Рычков был действительно умел и наблюдателен. Он тотчас разгадал смысл язвительной улыбки прокурора и, укорчиво взглянув на него, сказал:

— Ежели немец-губернатор, в силу своей душевной ограниченности, не умеет ценить таких русских людей, как я, то меня и фамилию мою ценит и чтит российское общество. И вот сему доказательство. Господа купцы, пожалуйста сюда! — Он взял их под руку и подвел к письменному столу, на котором лежали две больших медали. — Вот, по вольте видеть, обе сии медали получены нами в награждение от Вольного экономического общества. Моя — серебряная — за сообщение туда разных моих сочинений и опытов. А эта вот — золотая — супруги моей, Алены Давыдовны Рычковой.

— О-о-о! За что же этакая женскому полу медалища? — удивился наивный Полуехтов.

— А вот читайте, — и Рычков показал ему диплом: «За оказанное усердие нашему обществу присылкой как прежнего, так и нынешнего рукодेलния».

— Ха! Стало, супружница-то перекрыла вас. Вам серебряную, а ей золотую!.. Ха! Ну, я бы не подался, ей-богу право! Я свою бабу во страхе завсегда держу, — с чувством собственного превосходства воскликнул курский купчик.

Рычков улыбнулся и, достав из ящика третью медаль, сказал:

— Позвольте, позвольте... Победителем все-таки остался я. Вот большая золотая медаль, полученная мною не столь давно и

то же Вольного общества в награждение Рыков мош.

— Ну, слава те, Христу, что вы верх взяли,— проговорил молодой простоватый Полуехтов, взвешивая на ладони ценность золотой медали.— Нет, ваше высокородие, баб, то бишь, супружниц, завсегда нужно в граде содержать, чтобы не в свое дело несли. Медаль для бабы — это баловство, ей-богу баловство... Не женского ума это дело. Если б моя жена медаль получила, а я нет,— ну, знаете... отойди-подвинься! Я бы всею этакого позору бабу свою, то бишь, купцу, изрядно потрепал бы... Я человек каменный, ей-богу право! — купчик говорил прямо и не стесняясь, даже с оттенком злого бахвальства. Рычков с удивлением и любопытством выпучил на него большие серые глаза, а купчина Кочнев стал своему приятелю пенять:

— Полно болтать-то, Авдей Иванович, пошлись! Ведь твой родитель в купеческую книгу по Курску вписан, а ты...

— Да ведь обидно, Илья Лукьяныч, — одернутый купчик конфузливо зачесал в своей кудреватой голове.— Вдруг моя баба медаль бы получила, а я нет. Да меня тогда в Курск засмеял бы! Другой разговор, если б я сам получил, это да! Ого! Я бы тогда нос зря вверх, отойди — не кашляй! вы меня, ваше высокородие, разожгли медальми-то своими... Эх, зачем я не офицер, генерал, но барин!

— Друг мой! — и Рычков, широко улыбаясь, взял молодого Полуехтова за плеча.— Если вы, будучи купеческого сословия, можете доблесть на поле брани, то неукоснительно и медаль получите, а нет — и нет.

— Скажи на милость! — удивленно протянул купчина и разинул рот.— Я ведь драться охочь, у нас, в Курске, я кажншпый разник на кулачный бой выхожу. Бью цепко! — Он плюнул в горсть и, размахнувшись, ударил кулаком по воздуху.— Раз — и с каблучков долой! Вот ежели б случай вышел здесь со злодеями схватиться!.. А?

— Здесь похвально было бы тем более, — шепотливо сказал Рычков.— Наш несчастный Оренбург является папвщей ареной для отличения подвига ратного...

— Ваше высокородие, отец родной! — необычной горячностью вдруг закричал купец, наступая на Рычкова.— Не можно ли бо мне губернатору доложиться?.. Я бы, купч ради...

— Брось, Авдей! Тут тебе не кулачный бой.— прикрикнул на него степенный Кочнев.— Это в тебе не отвага, а вищю гово-

рит. И где ты, чадо луковое, спозаранку клонуть-то спроворил?

— За обедней, Илья Лукьяныч, видит бог — за обедней. Выскочил я из собора да в сторожку, а там у пономаря вишо. Хлопнул на размер души да опять в собор... — купчик подбоченился и бесцеремонно сплюнул.— А я на Пугача, поистине скажу, сердит. Он, суностат, в великие убытки меня ввел, ей-богу право. Ведь я, господа хорошие, товаров сюда повез, с бухарцами да с ордой на Меновом дворе мешка ладил устроить, баш на баш, как говорится. А глянь, что вышло?.. Тыфу! Сильно здешнему концу краю не предвидится. Нет, я с ними, с разбойниками, сшибусь, видит бог сшибусь!.. Я человек отчаянный. Эх, в казаки, что ли, записаться, к Мартемьяну Вородипу...

— Ваше усердие, господин Полуехтов, вступить в бой с нашим общим врагом весьма похвально, — покашываясь на Кочнева, наставительно сказал Рычков, — ибо, я чаю, вы не токмо о своих делах печетесь, но также и о чести родины помышляете вместе.

— Ну где там помышление о родине, чего уж тут!.. А просто — кровь кипит, позоровать охота, — бесхитростно ответил купчик и стал осматривать, пробовать наощупь, колупать ногтем всевозможные предметы, в порядке развешанные по стенам и разложенные по полкам: образцы знаменитых оренбургских шалей и других изделий из козьего пуха, канаты из крапивного волокна, колачки и холстинку из травы кипрейника, куски разноцветной юфти, ткани из верблюжьей шерсти, осколки всевозможных минералов, медной и железной руд, кубики каменной соли, пробье «горячей угольной земли», то есть каменного угля, — целый музей.

— Многое из того, что вы видите, — сказал Рычков, — я собрал лично и с точностью описал места спх богатств земных недр. Мною описаны также и многие местные промыслы — как вязанье шалей, выделка юфти, ткачество сукон из верблюжьей шерсти и прочее. Я приложил не мало хлопот к тому, чтобы эти промыслы улучшить, расширить, и этого достиг. И, помимо сего, новым промыслам положил начало, — например, выделка канатов из крапивного волокна, производство краски из травы кипрейника. Да всего и не перечислить. Все это описано мною и опубликовано в «Трудах Вольного экономического общества».

— Купцом бы вам быть, фабрикантом бы, — похвастался ему Кочнев.

— А что же? — сказал Рычков.— Родитель мой именитый купец, жил он сначала в Вологде и чрез Архангельск имел с Гол-

ландий торг хлебом, да разорился и переехал в Москву, где и отдал меня, восьмилетнего мальчика, в обучение европейским языкам, арифметике, бухгалтерии. Мой родитель лддил из меня просвещенного купца сделать...

— А вышли вы, Петр Иванович, ученым мужем,— вставил все время молчавший прокурор Ушаков и закурил трубку.

— Вашими устами глаголет истина,— с легким поклоном ответил осажистый Рычков и, оправив рукой седые волосы, торжественно проговорил:— В Священном писании сказано: «Похвала детям — отцы их», а со мною вышло иначе, и я не без гордости могу похвастывать: «Похвала отцам — дети их».

Гостям очень хотелось есть, они с нетерпением ожидали приглашения к хлебосольному столу, у них были унылые лица и сильно скучали животы. А хозяин все говорил и говорил, он стал показывать прокурору и Кочневу свои многочисленные напечатанные статьи по многим хозяйственным, бытовым и экономическим вопросам края.

— Это все мелочь,— говорил он,— а главная моя работа, «Оренбургская топография», была еще двадцать лет тому назад одобрена самим Ломоносовым, коему я был персонально известен.

Рычков протрапно стал рассказывать о своем поместье в селе Спасском¹, о находящемся там опытным медном заводике, приносящем ему одни убытки, о том, как в Спасском пять лет тому назад его посетили и прожили по две недели знаменитые академики Лепехин и Паллас, в команде которого работал в чине прапорщика старший сын Рычкова.

Наконец, приметя, что гости утомлены, и желая привлечь внимание молодого купчика, Рычков приподнятым голосом и не без хвастливости стал говорить о том, как в 1767 году он преподносил императрице свои труды.

— И я, государи мои, удостоился слышать из уст ее величества следующие слова: «Мне известно, что вы довольно трудитесь в пользу отечества, за что вам благодарна». И более часу изволила расспрашивать меня владычица в парадной своей опочивальне об Оренбурге, о ситуации места, о хлебопашестве и коммерции столь снисходительно и милостиво, что тот день наилучшим и счастливейшим в жизни почитать мне надлежит. Предводителями к сему счастью были его

сиятельство Григорий Григорьевич Орлов приятель мой — историограф Миллер.

Прокурор снова извительно заулыбался его взор как раз наткнулся на лежавший пред его глазами пакет, предназначавшийся профессору-историографу Федору Ивановичу Миллеру, с довольно странным адресом: «Дать его за Яузским мостом, идучи на юру, перья низменные каменные палаты на левой стороне, где прежде бывала аптека».

— И доходит? — поинтересовался Ушаков, указывая на пакет.

— Всенепременно,— ответил хозяин.— Мой милостивец и друг известен не токмо ведомству почтовому, но и всему миру.

— Верблюды! — взглянув в окно, вдруг выкрикнул купчик Полуехтов и стремительно выбежал на улицу.

Гости и хозяин прильнули к окну. По дороге неспешно шествовал большой караван верблюдов. Долговязые животные, слегка качиваясь, гордо несли свои небольшие головы на мускулистых и длинных, слегка изогнутых шеех. Они, видимо, прошли трудный путь, были тощи, на их ребристых железных боках висела грязной бахромою свлявшаяся бурая шерсть. Меж их горбами навьючены огромные тюки. Животные были связаны нос в хвост — гуськом, по шее верблюдов в связке. Рядом с ними шагали худые, со втянутыми щеками, чернобородые люди, одетые в цветные халаты и войлочные остроконечные шапки.

Шумно вбежавший с улицы купчик замахал руками и закричал, как в лесу:

— Хивинцы! Тридцать верблюдов! А шесть верблюдов пугачевским разбойникам достались. Налали, дьяволы, двух хивинцев саблями порубили, третьего в полон увели. А сволочи! Ну, теперича Пугачу на шортки и на рубахи всяких шелков хватит,— купчик засунул в рот купленный на улице бублик и стал с азартом чавкать, как умирающий от голода.

Хозяин покосился на него с безразличности и позвонил в серебряный звонок. Вошедшему слугу спросил:

— Завтрак готов?

— Пожалуйте-с... Пироги из печки вынимают.

— Господа, прошу!

Все сразу повеселели.

У стола уже распорядилась краснощекая пожилая Алена Денисьевна. Поздоровались, поздравляли хозяйку с праздником, сели за стол.

— Ой, да какие уж нынче праздники. Каждый час смерти ждешь,— вздохнула хозяйка, раскладывая по тарелкам пирог с рыбой.

¹ На дороге из Оренбурга в Казань, в пятнадцати верстах от Бугульмы. Земля с тремя деревнями была отведена Рычкову оренбургским губернатором Неплюевым еще в 1743 году за его ревностную службу.

— Бог не без милости! — сказал Кочнев, прекрестился и принял от хозяйки две доли пирога.

Потонулись разговоры о тяжелом осадном времени и желчные упреки по адресу губернатора: он нераспорядителен, ленив, не мог обеспечить город ни продуктами, ни фуражом, крепость в самом плохом состоянии, и главное, а главное... губернатор Рейнсдорп проплясал со своими гостями самый горячий момент и дал злодею Пугачеву непомерно вилаться.

— Вот уже месяц, как длится осада, — горьчю в голосе начал Рычков. — Надлежало бы в назидание потомкам летопись сей великому историческому событию писать. Но кто за сей почтенный труд возьмется?

— Вы, вы, Петр Иванович. Вам и книги в руки! — раздалось со всех сторон.

— Истинно, мне надлежало бы, моему пылтанному перу. Но, судари мои, десная рука моя скована: губернатор все сие дело держит в тайне, вся переписка у него под замком. Столь непонятное отношение ко мне со стороны Рейнсдорпа я считаю преступным, и для исторических перспектив — пагубным. — Он сделал паузу и закончил: — И я и нынешнее стропотное наше время делаю в источникам описание астраханского бунта Геньки Разина. Давно прошедшее событие напоминает нынешний бунт нашего супостава Емельки.

Прокурор Ушаков, похрустывая поджаренной корочкой сказал:

— Позавчерашней ночью был пойман мяный пугачевский солдат из поляков. Ну же под пыткой он показал, что супостаты намерились сделать в ближайшую ночь великий приступ, что у них запасено триста железных лопат да изготовлены какие-то туры, наподобие щитов. Вот хитрецы, вот шаровцы!..

Вдруг близко ударила вестовая пушка. Мена Денисьевна, сильно вздрогнув, вскопичила и зажала уши.

— Ну, начинается! — бросив салфетку, бросил Рычков.

Ударила вторая пушка. Вскопичил и купчик.

2

На крепостной вал, охвативший город наперестным хомутом, уже сбегались праздные зеваки.

Как только с угловой батареи прогремел печный выстрел, тетка Мавра, по прозвищу Золотариха, бросила у колодца ведро с мочой и тоже побежала на вал. Высокая, шрая, с большими плутоватыми глазами, в

варядной душегрее, она была столь любопытна и жадна до всяких происшествий, что не пропустила ни одной стычки пугачевцев с защитниками крепости. Эта сорокалетняя разбитная баба была известна городу как содержательница маленького веселого прифона, где иным часом совершались жестокие драки, по базарным же дням она торговала на рынке пирожками, блинами, сбитнем.

Прытко взбежав на вал, она выбрала самое удобное место. Отсюда была хорошо видна вся окрестность: белое, запорошенное снегом поле, высокая Маячная гора, постройки Менового двора, стоявшего на отшибе от города, слева — мрачные кирпичные сараи, справа — выжженный пригород — Казачья слобода, а на горизонте — одетые лесами увалы гор.

Все тихо, все спокойно. Только видно, как между кирпичными сараями, из оврага в овраг, перебегают верхоконные пугачевцы.

Золотариха постояла, посудачила с соседями, оглянулась назад: в сиянии холодного солнца там пестрел примолкший Оренбург. Над деревянными избами и белыми мазанками выселились девять церквей, двухэтажные палаты губернатора и губернской канцелярии, обширный дом гауштвахты с обитым белой жестью куполом, над которым — городские часы с колоколами, далее — пейхгауз, артиллерийский двор, почта, госпиталь, торговые ряды, кирпичные дома купцов и местной знати. Город казался издали многолюдным, красивым и богатым. Он, как лакомый кусок, был большим соблазном для осаждавших пугачевцев. Золотариха часто любовалась с вала родным городом.

Вот она снова повернулась лицом к степи и, всматриваясь из-под ладони вдаль, звонко закричала:

— Глянь, глянь! Едут!

За кирпичными сараями, на возвышенном взлобке, действительно собралось сотни три пугачевцев. До них было версты полторы, и на таком расстоянии они крепостных пушек несколько не боялись. Они, очевидно, выехали лишь погарковать да по праздничному делу поразвлечься, подразнить осажденных. А ежели Рейнсдорп не стерпит да выпшет на них команду, то и сразиться. Они там горланили песни, орали, взапуски скакали на конях, снова сбивались в круг.

Вскоре от круга отделился человек тридцать голововорезов и, пригнувшись к луке, с гибком ринулись на крепость. Это были полгулявшие яичные казаки. Впереди них — отпросившийся у «батюшки» побаловаться чубастый горнист Ермилка.

Вот они подкатили к самому рву против Бергских ворот, до них было не более полу-

тораства шагов. Молодые, веселые, разгоряченные вином и скачкой, они замахали шапками и закричали толпившимся на стене солдатам:

— Эй, не стреляйте! Видите — мы без ружей. Долго ль вам воевать? Сдавайте, солдаты, крепость! Государь милость окажет вам. А не взявши крепости, царю прочь идти.

— Убирайтесь, хриstopродавцы! — отвечали со стены. — Ах вы супостаты, изменники!.. Вот ужо мы вас!

КазакИ, потрясая пиками, горланили в ответ:

— Мы и сами, подобаясь собакам, умеем против лаять, да не хотим так безумствовать...

— Ах, не хстите! — кричали со стен и с вала. — Что это вы задумали, пьяные вапИ рожи, с Пугачем-то со своим?

— По-вашему — Пугач, а по-нашему — милостивый царь! Вот ужо сам наследник Навед ПетровИч прибудет к нам. С ним семьдесят две тыщи войска. Тогда сотрем вас.

Види они проворно подались назад и, отбегав шажен пятьдесят, остановились: из крепости выехала полусотня оренбургских казаков и пальнула в них из ружей.

— Ах, дьяволы! — звонкими голосами кричали пугачевцы, грозя нагайками и отъезжая на недосыгаемое для пуль место. — Так-то вы по безоружным... А ну, наезжай на нас! — заманивали они врага.

— А что, ребята, давай ударим на них! — сказал оренбуржцам бравый урядник. Он взмахнул нагайкой, скомаццовал: — Айда! — и, увлекая свой отряд, помчался на пугачевцев.

Те, подпустив их очень близко, выхватили ловко спрятанные ружья, дали недружбный залп, затем бросились наутек и, отскакав порядочное расстояние, вновь остановились.

— Трусы! Обманщики!.. Ишь ты, безоружными прикинулись! — сердито кричали им оренбуржцы и тоже остановились. Среди них было двое слегка раненых. — Трусы... Ваше дело зады казать! Собаки!

Вдруг с вала увидали: из гущи оренбургского отряда выехал на статном, рослом скакуне всадник и, размахивая какой-то длинной палкой, смело помчался один на пугачевцев. Те, прикинувшись испугавшимися, стали отъезжать, а всадник все еще продолжал скакать за ними и что-то кричал.

Заманив его подалыше, пугачевцы, привистнув, повернули копей и бросились ловить его. Всадник под самым их носом поскакал обратно. Когда он сравнялся с полусотней своих казаков, те тоже поскакали вместе с ним обратно, стараясь в свою оче-

редь заманить теперь пугачевцев под и стрелы крепостных пушек. Но пугачевцы заметив это коварство, во-время остановились. С крепости раздался пушечный выстрел и течью, один пугачевец упал с коня, его схватили товарищи и стали отступать.

Тогда всадник с палкой снова приступил за ними.

— Да ведь это, знаете, кто? — улыбаясь оторвав правый глаз от подзорной трубы сказал Рычков своему соседу, архиварию Старцеву. — Это же курский купчик Полуехтов. Он у меня только что в гостях был прилично выниль... Вот отпелая башка!

— Да неужели он? Позвольте-ка! — просил архивариус трубу, и долго не поймать глазом слушающих по полю всадников.

Золотариха, услышав, что речь идет о курском купчике, схватилась за голову и вопила:

— Ой, кормильцы! Что только таперь будет! Ведь он мне два с полтиной замжал...

Полуехтов без шапки в шюдевке, в палкой, а с железной увесистой клюкой в руке, уже мчался за отступавшими. Вот настиг их, врзался в их гущу, вот клюкой его проворно заработала по головам, по седлам, трое кувырнулось с седла. К нему всех сторон кидались пугачевцы, с силой схватить за узду его коня, чтоб живьем и вести «батюшке» свою добычу. Но сильный, рослый конь, как волк среди овец, взвился на дыбы, ударил задом и, под монотонные восторженные крики с вала, сная пугачевцев, помчал своего хозяина и зад.

Золотариха, облегченно ахнув, затрясла от радости.

За купчиком с гиком, с визгом, взлетели тучи снега, во весь опор неслась разгоряченная погоня. Но резвый конь, наддавая ход быстро всех оставил позади. Привстав на стременах и размахивая клюкой, купчик все поле насменливо кричал осатаневшим и кунам:

— Не отставай, не отставай!.. Эй вы, и ходи! — Вот он приостановился, подпустил их почти вплотную, обругал самым смачным словом и снова ринулся к крепости.

— Имай, так его, имай! Хватай живем! — орал Ермилка, примеряясь ударить врага пикой.

Но, доскакав до опасного места, где могла сразить крепостная картечь, хитрые пугачевцы — как в степу — враз остановились. люб был отчаянный детина. Молодые, разбитые, хватившие вина, они сквозь одоудельный хохот вразноголосицу кричали:

— Эй, молодец! Айда к нам! Тебя гусарь доразу атаманом поставит.

Но пьяный Полуехтов, крутя железной мялкой, как нагайкой, с руганью снова бросился на них. Они, стараясь заманить его как можно дальше, опять кидались наутек. Такая игра продолжалась долго.

Полковник Хлудов, заместитель обер-коменданта, решил положить конец любопытному, но бесполезному зрелищу. Чтоб как следует проучить эту надоедливую кучку пугачевцев, он приказал выпустить из запасных ворот еще две сотни казаков и, как только пугачевцы зарвутся вперед, ударить па них в лоб и с флангов. Но этот маневр сразу же заметили зоркие, стоявшие в резерве за сараями противники. И лишь прозвучал сигнал к атаке, как из-за кирпичных сараев, из глубокого лога выехало на взлобок густое скопище пугачевцев. Изготовив ники и ружья, они галопом пошли навстречу врагу. Тогда с батареи загрохотали пушки, две гранаты разорвались над головами пугачевцев, их ряды смешались, они повернули обратно, рассыпались по полю и вскоре исчезли за перелеском.

Солнце садилось. В воздухе тишина и легкий морозец. Казачьи команды по мосту через ров возвращались в крепость. Вперед на своем коне ехал, сугорбясь, уставший Полуехтов. Он утирал красное щекастое лицо поклом рубахи. От кудрявой простоволосой головы его и от широкой спины шел парок. Его разгоряченный конь был в мыле. Как бы взнавая важность исполненного долга, конь гордо выступал, грыз удила, мотал головой. Выркал, с презрением косился большими черными глазами на толпу.

Кто-то из толпы крикнул «ура». К Полуехтову подбежало несколько человек, чтоб пожать руку, чтоб добрительно похлопать по плечу. Купчик низко кланялся и, болезненно морщась, улыбался: он начинал мерзнуть и в душе ругал себя, что не надел полушубка, — пугачевцы все-таки здорово отшпцовали его нагайками, чрез полушубок не так было бы больно.

Ну, да и он в долгу не остался: изогнутая в драке железная клешка висела у него с левой стороны, как турецкая кривая сабля.

— Авдей! Авдей! — звонко, чтоб все слышали, голосила черная Золотариха, поспешая за купцом и расклескивая из ведер воду. — Слышь, Авдей! Никуда не уезжай, прыю ко мне... Выпьем!

— Поди к черту! — с презрением бросил конфуженный купчик в лицо слишком бесцеремонной бабы.

Толпа злобно над Золотарихой всохота-

ла. Кто-то крепко прилепнул бабу по спине рыжеусый казак игриво ущипнул ее с коня: «Почем сукнишко?» — Она не без жеманства взвизгнула, затем, по привычке, разразилась площадной бранью.

Толпа оттерла купчика от казаков, и он ехал теперь среди народа.

К нему протискался купец Кочнев со своим приказчиком.

— Ну, и дурак ты, Авдей! — тихо сказал он Полуехтову. — Слезай, одевайся... Мороз ведь!

Купчик послушно слез с коня, с охотой надел поанный ему приказчиком лисий тулуп и уселся с Кочневым в ковровые купечески сани. Пара пегашей неспешной рысцой тронулась по улицам.

В церквях благовестили к вечерне. Смеркалось. У дома губернатора зажигали масляные фонари. Встречу попадались конные разезды и пешие патрули. Вот четыре огромных, по дому, воза сена, их тащат маленькие лошаденки. На каждом возу казак. Возле возов шагают рядом с казачьим урядником пожилые озлобленные мещане. Они, перебивая друг друга, сердито говорят седоусому уряднику:

— Чтоб ни дна вам ни покрышки с вашими распоряжками! Виданное ли дело, чтобы сено у добрых людей дарма в казну отбирали? Ведь это наше сено то, мы его косили. А чем же мы скот-то станем кормить?..

— Верно, верно, мирянушки, верно! — соглашался с ними седоусый урядник.

— Чего ж начальство-то не позаботилось, ведь весь луг пред городом был уставлен казенными стогами. Вот теперича набелый царь сеном-то вашим пользуется...

— Верно, верно, мирянушки, верно!

— Он, видать, поумнее наших-то начальников будет.

— Верно, верно, мирян... Чаво? Поумнее? Ты, брат, не моги этак говорить, — угрозил ошоловавший урядник, опцериная большезубый рот. — А то живо пятки к затылку подведем!

Хившицы вели на водопой связку верблюдов. Два высоких парня, быстро шагая в ногу, несли на головах глазетовый гроб. Пятеро пьяных гуляк, взявшись за руки, шлепая цепочкой поперек дороги, несладко горлачили:

Пра-падай моя те-лега,
Все четы... четыре колеса.

— И чего ж ты ругашь меня, Илья Лукьяныч, — не попадая зуб на зуб, проговорила купчик Полуехтов, на него вдруг напала-

ла необоримая икота и стала бить первая дрожь.

— Да тебя не ругать, а трепку тебе надо дать хорошую! — отчески брюзжал степенный Кочнев. — И с чем ты против них, сволочей, шел? Ну, хоша ружье бы у тебя было, либо пистолет, либо сабля, а то с бабьей кочергой какой-то... Тыфу! Срам смотреть! — Кочнев схватил клюку и с омерзением вышвырнул ее на дорогу.

— Кучер, стой! — крикнул Полуехтов и, шустро соскочив с саней, подобрал со снега боевое свое оружие. — Ты этой штучкой не швыряйся, Илья Лукьяныч! Я ее в Курск свезу: вот, мол, видали, братцы...

— Дуррак!.. Вель тебя наповал могли убить. Да ты никак, соколыг, пьян?

— Ни в рот ногой, — промямлил купчик, икнул и затрясся еще больше. — С такой бучи опьянеешь! — Молодому сорванцу только сейчас во всей ясности представился весь ужас его безумной отваги, и ему стало понастоящему страшно. Он зажмурился, схватился за виски и с отчаяньем выдохнул: — Ух, ты!..

В крепости забил барабан, в казармах заиграли зорю, в пугачевском лагере глухо стукнула зоревая пушка.

Перед ужином купцы ходили в баню.

— Ого, — со скрытым смехом сказал Кочнев, осматривая ископанную спину Полуехтова. — Да тебя супостаты-то в клеточку разделали!

— С нами бог! Будем живы — замлзет! — и бесшабашный купчик попросил приказчика натереть ему спину редькой.

3

На другой день Полуехтов был приглашен в канцелярию Рейнсдорпа.

— Маладец, маладец!.. Гут-гут-гут! — встретил его Рейнсдорп и покровительственно потрепал по плечу. — Как твоя фамилия, дружок?

— Полуехтов, — ответил широкоплечий купчик, поеживаясь: у него все еще болела со вчерашнего спина.

— Полу-эхтов, — протянул губернатор. — Странная фамилия... Полу — это я понимаю, полу — сиречь половина. А что сей сей значит — эхтов? Господа, что означает — эхтов?

Чиновники пожимали плечами, отсывались незнанием.

— Петр Иваныч, — обратился губернатор к бывшему тут Рычкову. — Вы человек ре-

зонабельный и очень чудесно знаете русского языка. Что означает — эхтов? Под эхтов?

— Затрудняюсь сразу в соображен взять, Иван Андреич, — глубокомысленно и тирая лоб, ответил озадаченный Рычков. Не смею утверждать, но возможно, что и слово произошло от простонародного восклицания: «Эх, ты!»

— Глупая, глупая фамилия, чтоб не смзать более.

— Я из-за фамилии виноватым себя и считаю, — буркнул купчик и потупился.

— Шо, шо?.. Но... молодой человек, молодецкато повернулся на каблуках губернатор к робко стоявшему купчику. — Существует, молодой человек, в природе два храбрости один разумный — ради долга пред отечеством, ради защищения ближнего, наконец — в защиту собственной тель. А другой храбрость — глупый, сумасбродный, никому и нужный. Например, человек на спор, сиречь на пари, бросается с колокольни вниз тап машки. Это храбрость? Храбрость! А кому такой храбрости, я вас спрашиваю, горя или холодно? — Вполне довольный своим красноречием, губернатор вопросительно усмился на Полуехтова, а тот в простоте сердечной ждал, когда же губернатор приком на его грудь медаль за храбрость.

— Повторяю, — напыщенно сказал губернатор и покосился на чиновников, как бы ожидая от них знаков одобрения его просипенному уму и зривым мыслям. — Повторяю что храбрость бывает двоякая...

— Двоякой храбрости у меня, я полагаю не было, — застенчиво промямлил Полуехтов потеревливая свою небольшую бородку.

— А где ты, голубчик, проходил стип искусную кавалерийскую школу? Ты сиди в седле много крепче, чем мой казак, ты и дикий башкирец ездить, я сам вчерась вид в ползорный трубка.

— А это сызмальства я, ведь родитель и всю жизнь конями барышничал.

— А, карашо, карашо!.. Папимайт. Ну, для чего ты работал одна сабля. Я оченя наблюдал, как ты проворно рубил по гом вам и... и... немало дивился, по какому мзусу ни у одна разбойник не слетела с паш башка.

— А как была у меня в руках клюба, только глушился супостатов да по спинам да бал, — ответил купчик. — Клюкой головы и в жизнь не срубишь.

— О, клюкой! — воскликнул губернатор. — Господа, что значит сей род оружия — клюкой?

— Клюка, ваше высокопревосходительство, это,— согласным хором ответили чиновники,— это железная палка с загогулиной, люкой в печке ворошат...

— А-а-а, паньмайт... О! Вот вам русская шой. Похвально, очень похвально! — с фисом произнес губернатор. — В своей юности (Он не хотел сказать «в молодости», ибо в сих пор считал себя молодым), в юности тоже был недозволительно храбрый, но, испода, я не отважился бы с одна крюка, одна загогулин вступить в подобная шар-панцель. О, нет, я не оччень стал бы ска-ать на эта, извиняйте, каторжники. О нет!.. Я, молодой человек, за подобный поступка вдо сажать в дальхауз, как это, как это... дом безумства... Но, но... тем не менее,— мечески прикоснулся он к плечу купчика,— и не менее, отдавая дань справедливости, я вам объявляю, мил-сдарь, своя благодар-ность за ваша беззаветный смелость, прояв-ленный к нашему общему презренному врагу, в ваш па-три-отизм! — выкрикнул губерна-тор и пожал руку вконец растерявшемуся купчику. — Ну, ступайте с богом, голубчик! ой приказ о вашем поступка будет опу-бликован вслед за сим.

Красный, с горящими глазами, Полуехтов рикрякнул, отдал губернатору поклон, с не-рвизнью покосился на Рычкова, как бы го-оря: «Ну, где же твоя медаль? Наобещал с яи короба, лясник!» И по-сердитому стуча вблуклами, вышел, «Приказ, приказ... А чорт мне в его приказе-то! Только по усам по-казал. Да еще фамилией, старый чорт, корит, у самого то хороша фамилия — Раздор!..», ибно думал Полуехтов, сбегая по белока-нным ступеням.

Он отправился в притончик Золотарихи и горя там нашлся.

Глава двадцатая

Альба продолжалась неумолчно. «ту-ату», — выкрикнул губернатор. «мертоносное ядро. Отвага Пугачева»

1

В вестеру окреп мороз. В степи стали по-жкаться туманы. Караульные у дворца как-и для сугрева развели костер. Запылали кстры и возле землянок татар и башкирцев. Ян усиливался. Огоньки в домах и лачу-лк Бердской слободы мерцали мутно.

У Пугачева дотемина было совещание. Пу-чев настаивал, что, невзирая на мороз, ко воспользоваться туманной ночью, под-

вести к стенам пушки, расставить в укрытых местах отряды, а с утра учинить попытку ворваться в крепость и все разом кончить.

— А то мы, как клуши на яйцах, сидим да зря хлеб едим,— сказал он.

— Ах, напраслина, ваше величество, не во гнев будь вам сказано,— возразил атаман Овчинников. — Дня того не проходит, чтобы мы приступ под стены не делалл. Хотя не шибким многолюдством, а нет-нет, да и притопнем на Рейндорпа-то...

— Топал баран на волка,— криво ух-мыльнулся Пугачев и велел начальнику артиллерии Чумакову подвезти ночью пушки к Маячной горе, к Бердским воротам и Егорьев-ской церкви, что в выжженной казачьей сло-боде. — Ты из пушек-то, Федотыч, почаству плюй, не жалей припасов-то, добудем... А на приступ я сам поведу войска.

Туман разлился белым молоком и захлест-нул весь Оренбург, всю степь, весь Яик.

— Посма-а-тривай,— то и дело кричали на валу часовые, устремляя взоры в степь, но пред их глазами — седая мгlistая пеле-на. И сердитый мороз хватает за нос, колот, как иголкой, уши.

В богатом доме Ильи Лукьяныча Кочнева еще не снят. Там идет уборка к завтрашнему дню: завтра именинница сама хозяйка. Стря-пуха и приглашенный от губернатора фран-цуз-повар ставят в кухне тесто для именин-ных пирогов.

Не спит и Золотариха, она с подручным калмычонком варит хмельную брагу: завтра в ее притончик обещали затглянуть хивинские торговые люди.

Часовой Сенькин из новобранцев присталь-но смотрит в белую гущу тумана. Ему почу-дились вдали странные звуки: то ли кони проржали, то ли колеса скрипят по снегу, вот песик взлаял, а вот и человек голос по-дает.

— Эй, кто такие,— стискивая холодно, запушенное инем ружье, кричит в туман оробевший Сенькин. — Смотри, пульну.

Но туман попрежнему немотно глух. Сень-кин поглубже нахлобучил шапку и, чтоб со-греть стынущие ноги, крепко притопывая са-погами, поплясал. И снова слышит те же звуки: отдаленные человеческие голоса, скри-пы, звяки. Сенькин сбегал с вала, нул по-путно ногой сидевшего у костра и клевавше-го носом солдата: — Эй, дрыхоня. Шапку сожгешь. — И, добежав до караульной избы, подергал у калитки колокольчик. Поднялось волоковое оконце, высунулась усатая голова старого сержанта. Сенькин сказал:

— Так что, господин сержант, в степу неспокойно, кажись, вольница к валу прет.

— Ну и пускай прет на доброе здоровье, — сердито пробрюзжал сонный сержант. — Иди, где стоял. Я сейчас выползу.

... — Тихо, тихо, молодчики, — грозя с коны нагайкой, вполголоса покрикивал Чумаков. — Это чего такое.

— Кажись, в кирпичные сараи рылом втехали, Федор Федотыч, — прозвучал из ночной мглы голос. — Скажи на милость, не видно ни хрена. Ну и туман-а-н.

Чумаков осмотрелся, не спеша объехал кругом сараев, затем дал команду:

— Айда тихохонько за мной.

Батарея в шесть орудий, поскрипывая колесами и полязгивая, двинулась за Чумаковым.

Остальные орудия повел к Егорьевской церкви сам Пугачев.

Часа через два, перед рассветом, когда туман стал оседать, тронулась пехота. Позже всех выехала конница — казаки и башкирцы с татарами.

Рядом с полковником Падуровым правилась одетая под казачку, счастливо возбужденная Фатьма. Она впервые попала в боевую обстановку, вся от волнения дрожит, улыбочиво косится на Падурова. Казачка еще не научилась стрелять, за ее плечами и ружья нет, но пикой да саблей владеть она умеет, в руках силы у нее, что у доброго парубка.

— Ты от меня ни на шаг, — говорит ей Падуров. — Куда я, туда и ты.

— Милай мой Падур, — откликается она вполголоса и начинает дрожать еще сильнее. Зубы ее стучат, она никак не может справиться с собою.

Светало. Отряд Падурова в пятьсот коней стоял в укрытии, в глубоком логу за Маячной горой. Мороз кренчал. От лошадей подымался курчавый парок. Туман почти улетучился. По краям оврага стояли белые, в густом инее, березы. Они были легки и невесомы, как призрак. И Фатьме казалось, стоило ей взмахнуть руками да прикрикнуть, и — белопенные сказочные призраки развеются.

Едва заголубело небо и начал алеть восток, с Пугачевских батарей густо прогудели первые выстрелы. Крепость сразу пришла в движение: ударила вестовая пушка, на всех фортах рассыпался дробью барабанный бой. Защитники высыпали на вал, немало дивясь внезапному зрелищу: сквозь влохья раздранного в низинах тумана то здесь, то там темнели «злодейские» пушки, передвигались не торопясь всадники, скользили на лыжах стрелковые отряды.

— Ого-го, — причмокивая и потряхивая головами, переговаривались солдаты. — Он, брат, не зевает, он, брат, хитреный. Его ни

мгла, ни мороз не берет. Глянь — вочью крепость обручем охватил.

Офицеры навели торчавшие из амбры орудия; сотрясая стены, загрохотали раскаты выстрелы. Завязалась гулкая, част перестрелка.

Пугачевские пушки сэкономили ядра.

— Давай мешок, — покрикивал Чумаков он перебежал на кривых своих ногах от пушки к пушке. — Давай еще мешок. Ядра ни следок пригодятся.

Мешки, наполненные осколками разбитых чугунных котлов, подтаскивали молодые тары. Тяжелыми мешками нагружены были три воза. Засыпанные в дуло, заплывшие паклей, а то сырыми тряпками, осколками тели с устрашающим воем и визгом.

Вот на валу двое упали. Прискакала обер-комендант Валленштерн приказав доточить огонь на ближней, против Берды ворот, батарее противника.

Бомбы и ядра стали донимать пугачевцев. На чумаковской батарее уже было два человека убитых, шестеро раненых. По степи весь опор мчались два всадника, снежная пыль из-под копыт взвивалась выше лобов их.

— Чумаков! Федор! — закричал подоспевший с Ермилкой Пугачев. — Эй, там! он в старом заплатанном овчинном полушубке, одет бедно, как простой казак. — Четы, чортова голова, людей-то по чем зря бишь. Подавайся живчиком к Орским в там!

... — Ваше превосходительство, мне слышится, что это сам Пугачев, — сказал капитан Наумов Валленштерну, наблюдавшему в зорную трубу.

— Ну, вы тоже скажете... Оборванец кой-то. А с ним, надо быть, янцкии и чиншка.

— Я по коню сужу, конь лихой.

— А вот мы его картечами. Эй, капо! Надай-ка пороху...

Но всадники — Пугачев, а за ним горь Ермилка, — как бы почуввав опасность, неслись прочь.

Перевалило за полдень. Рейнсдорп прилодажся, уехал десмой. Пушки гремели дворец губернатора то и дело скакали вышвы с донесениями.

К собору подкатила карета купца Ковалева — за чудотворной иконой и причтом купеческой кухне шластряпня, в верных покоях накрывали столы. Помаленьку собирались гости. Купчик Полухтов, устроившись в темном уголке столовой и откинувшись себе изрядный ломтище ветчины, тайно

шмок, не дожидаясь приглашения, пожирал с отменным аппетитом. В спальне, пощелкивая раскаленными щипцами, завывал именинницу цырюльник.

...Губернатор Рейнсдорп велел закладывать сани, намереваясь снова следовать к фортам. Закутанный, как купец, в меховую шубу, он уже стоял в передней против зеркала, по его животу старый камердинер повязывал бухарского тканья кушак. Вдруг в соседнем зале раздался резкий треск, прохот, стены дрогнули, с потолка посыпалась штукатурка.

— Шо это? Шо это? — пошатнувшись, произнес губернатор.

— Ой, мать-владычица! — выкрикнул камердинер и, окрещивая себя, бросился в зал. — Ядро, ядро! — отчаянно закричал он оттуда.

Губернатор был уже в зале. Блуждающие глаза его широко открыты. Двенадцатифунтовое ядро, раздробив оконный переплет, ударило в печку, выворотило два изразца, искочило к окну и плюхнулось на пол, в стекольный дрыг.

— Ах, он негодяй... Да как он смел?! Да какое он право палить в губернаторский дворец? — шумел он, наседая на вбежавшего адъютанта. — Я вас спрашиваю!

— Не могу знать, ваше высокопревосходительство.

— Вы все, все так; не могу, да не могу... Дурацкий слюф!

Вдвинулся в бараньей куртке, в валенках, толстощекий вестовой с нагайкой в лапе, гаркнул от двери:

— Ober-комендант приказали доложить: неприятель открыл пальбу от Егорьевской церкви, а равным манером от мишени и супротив Орских ворот. По загоре откосом палют пещие, палют из ружей да сайдаков... В Казачьей слободе они — в погребах засели, штоль и палют...

— Дурак, братец мой... Пошел вон!.. Оседлать коня мне!

Пальба продолжалась неумолчно. Крепость израсходовала уже около пятисот ядер, а враг не унимался.

Отчаянная Золотариха уже торчит на валу с небольшой гурьбой смельчаков-мальчишек в самом опасном месте. Когда с завыванием летит через вал ядро или свистят чугунные сколки, она всякий раз взвизгивает и, под хохот мальчишек, валится, как мертвая, на землю.

— Ха-ха... Тетка, тетка, никак у тебя ялову оторвало! — весело кричат озорники.

Егорьевской церкви устройством форта-заставы. Каменная церковь расположена в выжженной Казачьей слободе (в форштадте)! всего саженях в двухстах от вала. В сущности, почти все было сделано еще туманной ночью: сотни рук всю ночь напролет стаскивали сюда находившийся поблизости бутовый плитняк. И вот, по обе стороны церкви высятся уже каменная твердыня, укрывая пугачевские орудия. Отсюда близко и легко бить по городу.

Вторая батарея Пугачева утвердилась за мишенью¹, что в версте от крепости. Здесь пугачевцы тоже успели соорудить каменные амбразуры и боковые к ним крылья. Отсюда ядра, гранаты били по крепости метко, а ложась в городе, производили среди жителей немало переполоха.

... — Что это такое, господин Валленштерн, что за безобразий?.. — наскочил на обер-коменданта губернатор. — Глядите, глядите, они из-за мишени бьют... Почему мишень до сей поры не скрыта.

— Я трижды докладывал вам о необходимости скрыть мишень, но не было učinено, сами же вы приказали ее оставить, — насмешливо поглядывая в лицо губернатора, ответил плотный, пучеглазый Валленштерн. — Вы тогда изволили с немалым сарказмом молвить, что злодеи и носу сюда не посмеют сунуть...

— Они не сунул нос, а сунул пушка! Вы будете отвечать, да, да!.. Вы ворона, вы зевали! Как вы могли подпустить неприятеля столь близехонько?!

— Виноват не я, а туман, а также и вы, ваше высокопревосходительство! А я-с, в вашем сведению, не ворона, а генерал-майор. Да-с.

— Шо, шо, шо? Ежели вы не ворона, то кто же ворона?

— Вы, ваше высокопревосходительство, — сухо сказал Валленштерн. — Вы распорядились обратить в пепел Казачью слободу, а церковь оставили. Военное совещание рекомендовало возвести тут фортецию и поставить батарею, но вы отклонили, и вместо нас форт соорудил Пугач.

Рейнсдорп перекошил тонкие губы и вполоборота бросил Валленштерну:

— Вы грубиян, вы трус!

Но тут вдруг вблизи раздался потрясающий грохот, губернатор взмахнул руками.

— О, мой бог!.. — и прытко сбежал с откоса вниз. — Шо, бомба?

...Пугачев с хромогоги Овчинниковым и Зарубиным-Чикой распоряжаются возле

¹ Высокая и широкая насыпь из дерна, служившая для обучения крепостного гарнизона артиллерийской стрельбе.

— Никак нет, пушку разорвало! — кричали пробежавшие артиллеристы.

— Носилки! Носилки!.. — неслось сверху. — Лекаря сюда!

Губернатор, облизывая пересохшие губы, проворно ощупывал бока, грудь, руки, даже пошевелил ногами — слава богу, все цело! Нервно он выкрикнул:

— Ату, ату! — и, поддерживаемый адъютантом, снова полез на вал.

На батареях и за бастионами шум, крики, бой барабанов, сигнальные свистки, команда. Арестанты в тюремных бушлатах, в ножных кандалах подносят снаряды. Блочья порохового дыма тянутся через вал к городу.

2

Молебен начинать медлили. Нетерпеливо ожидали, когда, наконец, стихнет перестрелка, но вот именинница в пышных буклях, в шелках и золоте пеплула мужу: «Ой, перестоятся, перестоятся пироги у нас...»

Кочнев улынулся и сказал седовласому священнику:

— Отец протоиерей, пальбу не переждешь. Давайте не то богомолествовать.

— Изрядно, изрядно, — с готовностью ответил батюшка.

Ему, как и прочим гостям, хотелось поскорее пирога. Причетник принялся раздувать кадило.

Гости — их человек двадцать — разместились кто где, а купчик Полуехтов, окинув с опаской широкие проемы окон, что выходили на соборную площадь, почел за благо забиться в темный уголок, за изразцовую печку. Сердце его ноет и ноет. Вот напасть!

Протоиерей облачился в парчевые ризы, наскоро понюхал из порцелинной табакерки носового зелья и, прислушиваясь одним ухом к пушечному эху, обратился к присутствующим:

— Не опасайтесь, чада возлюбленные, приблизьтесь. Господь сему дому защитник суть.

Поздравители, покашливая и шаркая по полу, стали кучкой против чудотворного образа. Только Полуехтов остался за печкой. Не переменил места и сам хозяин, он стоял вблизи иконы, недалеко от окна, охватив, по давнему своему навыку, правой рукой левую, повыше локтя.

В переднем углу, на покрытом белой скатертью угольнике поблескивала фарфоровая миска, наполненная водой; прилепленные к ее краям горели три восковых свечи; подле — крест, евангелие и на серебряной тарелке — кропило.

Священник взмахнул кадилом, подняв, возгласил:

— Благословен бог наш всегда, ны присно и во веки веко-о-ов...

— А-аминь, — дружно подхватил хор.

Начался молебен. Глаза всех воззрились икону с мольбой и упованием, всем бы тягостно переживать состояние осады, поч у каждого какое-либо горе или неприятность торговля падает, подвозу товаров нет, у их в Менювом дворе разграблены лавки, иных близкие родственники живут в крепостях или форпостах по Яику, и бог все такая судьба ожидает их; среди простых родья ходят предрезостные слухи, чернь разбойнике Пугачеве готова признать царя промеж казацкишек всякая неподобная трешня идет: ежели, не приведи бог, будет мена, пугачевцы все купеческие семьи и чисто повырежут. Пресвятая владычица, и ужели же не спасешь род человеческий и проклятого самозванца, от пагубной его истреблести.

Богородица, державшая младенца, взирала иконы на молящихся большими внимательными глазами, и все видели в этих божественных глазах защиту и милость. И в сердце каждого разливалось ласкающей теплотой чувство надежды. Ежели господь похочет, и такое совершит, что ахнут все...

И все действительно ахнули... Все ахнул а хозяин, Илья Лукьяныч Кочнев, с тяжким стоном свалился на пол. Посыпались стекла упал еще другой человек со страху, не быть. Не найдя больше жертвы, шестифутовое ядро, внезапно ворвавшись в горящую ударило в стену и грохнуло на пол.

Все кинулись к распростертому Кочневу. А купчик Полуехтов, взбросив вверх обе руки и топая, подобно коню, мчался через зам через столовую, через коридор, воил:

— Караул! Смертоубийство! — Продолжал кричать, он припустился вдоль улицы, но его не схватила спешившая домой Золотых риха.

— Авдейка!

Купчик враз остановился и часто-часто замигал, как бы пробуждаясь от кошмарного сновидения. Затем выдохнув: «Фу ты, господи, что это со мной», — он приобдрился и в спеша повернул обратно.

Хозяин, приподнявшись, громко стонал. Его посадили на диван, обложили подушками. Глаза его были закрыты, подбородок вздрагивал, большая борода, разметавшаяся по груди, шевелилась. Из оторванного в правой руке вместе с обручальным кольцом пальца струилась кровь, левая рука, перебитая выше локтя, висела плетью, ныл-горько зашибленный бок.

— Рученька, рученька моя,— чрез вздох и сипоту, передергивая густыми бровями, потанывал Бочнев.

Было три часа дня. Ядра по городу били чаще и чаще. Во дворец губернатора ударило второе ядро, в здании казначейства распахнуло дверь; еще ядра попали в судейскую камеру, в архив, в купол собора, во двор Рычкова, едва не убив здесь протоколиста. В городе несколько человек было ранено, были и побитые насмерть. На перекрестке, возле казарм, лежал, разметавшись, мертвый бузарец. Те, кто потрусливей, прятались в ямах, в подпольях, залезали в русские печи.

3

Пугачевцы метко стреляли от Егорьевской церкви, их батареею никак не удавалось сбить озем из крепости. Одно орудие они поставили на паперть, а малую пушченку даже атачили на колокольню, она-то и доставила порою хлопот.

— Глядите, глядите...— загалдели на валу мальчишки.

Из глубокой балки, что за Маячной горой, вырвалось несколько сот пугачевской конницы. В галоп подскочив к Егорьевской церкви, всадники спешили и, не обращая внимания на грохот крепостной артиллерии, вынулись пешей толпой по подгору и вдоль реки Яика. Их намерением было пробежать стю сажен лощиною, затем выбраться на высоту и оттуда чрез вал вернуться в город.

— Дету-ушки, не трусь! — звонким голосом подбадривал Емельян Иваныч свою толпу.— В городе богатство несметное! Купечество перешерстим, губернатору чапан долой, казной завладеем! — Он все в том же бедном мезяни бежал в середине наступающих.

Казачи и башкирцы понимали: батюшка прочно так оделся, чтоб враг не мог узнать его и погубить. Они глаз не спускали со своего царя и, подражая ему в мужестве, быстро передвигались лощиною.

Рядом с Пугачевым бежал, пыхтя, огромный Пустобаев. В его голове крутятся обрывки мыслей. Он вспомнил, как пьяный губернатор целовал его в прихожей, вспомнил каштаншу Крылову с мальчугоном, сержанта Николаева, невесту сержанта — барышню Марью Кузьминичну, молодого казачка Мишнова, с которым вместе попались они в плен к батюшке... Он косился на бегущего правее от него чернобородого детину и думал: «Вазия, вот те Христос... Ха, царь, голынец... Эвон бежит как... А ежели не вор, а шатун, то поистине есть он внучек Петра Великого, поистине есть он государь».

— Не отставай, старик, не отставай от государя.

— Стараюсь, твоо величество! — раскатистым басом гудел Пустобаев.

— О, да ты мастак бежать. Ты, я вижу, старого леса кочерга,— похвалил его Емельян Иваныч.

Начали быстро подыматься в гору. Тут, по команде Пугачева, враз приостановились и открыли частую ружейную пальбу, а башкирцы, гудя ременными тугими тетивами, принялись пускать стрелы из сайдаков.

С валу, заметив подступающих, стали стрелять залпами из ружей. Вот один пугачевец упал, другой бросил ружье и, схватившись за ногу, похромал прочь, вот кувырнулся третий...

— Ложись! — раздалась команда Пугачева, и все повалились по откосу в снег.— Бей не торопясь. Цель вернее...

Пули защитников летели теперь над головами пугачевцев безвредно: спасал откос горы.

Отряд егерей легкой полевой команды, сбегав с валу, отважился перейти реку Яик по неокрепшему льду, чтобы, выйдя залегшим пугачевцам во фланг, открыть по ним ружейную стрельбу.

Чумаков, расположившись возле Егорьевской церкви, старался повернуть пушки на врага и никак не мог этого сделать быстро, да и ядра у него были на исходе. Только одна маленькая пушченка, та, что была по городу с колокольни, принялась обстреливать отважных егерей. Падуров, залегший поблизости Пугачева, заметил, как от Маячной горы несется к пугачевцам всадник.

— Ваше величество! — закричал он.— От атамана Овчинникова гонец... Никой маячит.

— Пускай себе маячит,— равнодушно ответил Пугачев и пустил из ружья меткий жеребий по стрелявшему с колена егерю. Тот перекувырнулся и по-мертвому вытянул ноги.

Пробив лед и усевшись в лодки, на помощь егерям уже спешила из крепости новая ватага смельчаков. Теперь выстрелы со стороны егерей стали часты и метки. Среди пугачевцев началось замешательство. Первыми вскочили башкирцы и, крича тонкими головами, побежали назад к церкви.

Бывшие на валу солдаты, вляя это, с криком «ура, ура», кинулись через ров, через рогатки, чтоб перерезать отступающим путь. Тут подскочил гонец:

— Батюшка государь, втикайте! — заорал он, приметив Пугачева.— Из Бердских ворот большущий отряд прет.

— На конь! — вскочив, подав команду Пугачев, и все припустились бежать к оставленным у церкви лошадям.

Башкирцы и татары бегали плохо, они скоро отстали от казаков, их настигли солдаты с подоспевшими егерями. Было тут порублено человек тридцать, часть сбросивших башкирцев бросилась спасаться на Яик, но лед проломился, и они все потонули.

Солдаты в пылу битвы не заметили, как на них налетели успевшие сесть на конь пугачевцы. Со всех сторон они кинулись на солдат, кололи их пиками, рубили. Но с вала загрохотали пушки, а вслед раздались ружейные залпы. Пугачевская конница, осыпанная картечью, повернула обратно.

Вдруг от хвоста конницы оторвался на невзрачной лошаденке шупленький всадник. Опасливо оглядываясь на уходивших на рысях к Маячной горе товарищей, он пересек ров, выровнялся против вала и, взмахивая шапкой, тоненько заверещал:

— Сдаюсь, сдаюсь!.. Эй, дяденьки!..

С вала захохотавшие солдаты закричали ему:

— Айда, парнишка, на вал. По мамке чего ли стосковался?

Казачок Мизинов, похныкивая и пожевываясь, въехал на вал и неуклюже скатился с лошаденки. Он мял в руках шапку, кланялся, глуповатое лицо его кривилось, по щекам текли слезы:

— Я от Симонова... Мы... С дедом Пустобаевым... нас комендант Симонов в Ренбург послал... А нас схватили... А я к войне не привыкший, я не люблю воевать.

— Ха-ха!.. А мы нешто любим?

Подоспевший капрал велел отвести парнишку в кордегардию.

4

Батальон пехоты при четырех пушках вывел из крепости сам Валленштерн. Конный отряд яицких и оренбургских казаков вел Мартемьян Бородин.

Был в исходе пятый час, солнце садилось. Губернатор Рейнсдорп — на валу, Пугачев — на Маячной горе, оба, затаив дыхание, наблюдали, как войско той и другой стороны, сближаясь, готовилось к бою.

Пугачев, переодевшись в форсистый кармазинный кафтан на меху при генеральской чрез плечо ленте, стоял в окружении ближних. Под ним рослый приплясывал конь. Горнист Ермилка, с трубой у бедра, глаз не спускал со строгого лица государя. С боку ермилкиной лошаденки, такой же губастой, как и ее хозяин, приторочено четыре солдатских ружья со штыками, две пары новых валенок и шесть овчинных шапок. Все это добро Ермилка спроворил подобрать во время спешки с солдатами. Валеные сапоги с крас-

небким горошком на задниках он обязан не подарит Нениле.

— Эх, чего-то жрать хочется, ну пря силы нет!..

Он вытащил из-за пазухи крупичатый пирог с печенкой и уже аппетитно разину рот, как батюшка не то строго, не то мимство покосился на него, и оробевшая рука горниста сама собой снова засунула пирог в пазуху. Ермилка только облизнулся. Ты ты!

— Полковник, — проговорил зычно Пугачев стоявшему рядом с ним Падурову. — Сиди попрыгаче в балку, пушай Овчинники шлет по две сотни неприятелю во фланги. А не шибко чтоб охали, а самой тихой бежи для заману!

Падуров поскакал.

— Ермилка, зажигай вестовой сигнал, — приказал Пугачев.

Ермилка спрыгнул с седла, пошарил взглядом, за что бы привязать лошадку, и, ничем не найдя, протянул повод Пугачеву.

— Подержи-ка маленько, батюшка, ваше величество... Я живчиком!

Пугачев, зорко присматриваясь к наступавшему врагу, взял под надзор ермилкину лошаденку. Ермилка уже успел повалить высокий шест с большим пучком просмоленной соломой наверху и добыть огня. Солома запылала. Ермилка стал размахивать огненным шестом, и снова воткнул его на место. Он посмотрел в сторону Берды и радостно закричал:

— Запластало, ваше величество.

Пугачев, передав Ермилке повод, обернулся. В версте уже горел второй сигнал, и дальше занимался третий, и так — до самой Бердской слободы вспыхивали условные сигналы. Вот в слободе ударила вестовая пушка. Это означало, что сигнал принят и что скоро Максим Шигаев прибудет с силой в поле битвы.

Артиллеристы, под командой Чумакова, утащили свои пушки на санях и подсанках к кирпичному сараю и втаскивали на Маячную гору. Старик великан Пустобаев, напрягая мускулы и потряхивая борою, перепрыгнул вверх по откосу, как добрый конь.

Стало помаленьку смеркаться. Пугачевская конница приближалась с флангов к колонне Валленштерна. Вернувшемуся Падурову Пугачев приказал взять из балки, что за Сыртом, весь его, падуровский, казачий полк и выждав время, ударить стремительно по врагу.

— Только одно — пушек остерегайся.

Впереди уже завязалась перестрелка.

— А ну, Чумаков, плюнь-ка во врага. Без промаху да почасть!

— Припасов-то маловато у нас, — ответил горячю Чумаков и, оглаживая свою бурюю широкую, как лопата, бороду, поскакал к пушкам.

Маячная гора загудела навстречу надвигавшемуся врагу, загудели пугачевские пушки и от кирпичных сараев.

Валленштерн остановился. Его четыре казнобойных орудия грянули по наседавшей юннице картечью. Мартемьян Бородин кинул своих казаков в атаку. Пугачевская конница, отстреливаясь, рассыпалась по степи. Казакам Бородина, сидящим на заморенных лошадейках, за пугачевцами не угнаться, у тех кони сытые, степные.

И вдруг Бородин, Валленштерн, солдаты и сам стоявший на валу Рейнсдорп заметили, что от Бердской слободы валит народ: на санях, на телегах, бегом... Валит все гуще и гуще... Тысячи. Много тысяч.

А в это время Падуров вырвался из балки со своим полком оренбургских казаков и поскакал на Валленштерна. Солдаты с егерями встретили их ружейными залпами, пушки уарили картечью. Несколько казаков упало. Падуров обомандовал рассыпаться и преследовать бородинцев. Началась по степи скачка, работа пиками. Падуров скакал конь в конь с Фатьмой. Оба хорошо рубили саблями. Настигая врага, Падуров кричал:

— Подчиняйтесь государю! Не противьтесь! В Берду езжайте, в Берду!

Народ на валу смотрел на сражение с дрожью. Мальчишки, чтоб лучше видеть, вскарабкались на деревья. Скакавшие по степи лошади казались им издали собачонками, а сидевшие на них люди — тряпичными куклами, и все сражение — потешной игрой.

— Глянь, глянь, упал!.. Ощо упал! Ощо! Наши это... Ей-ей, наши... Ууу, глянь, народу-то што, народу-то што валит. Это из Берды, по сигналам, ишь пластают огнем сигналы-то...

Пугачев смотрел на свой подходивший к полю боя народ и хмурил брови. Он улыбнулся. Но его улыбка была не из веселых. Народ бежал, скакал, торопился на санях: мужики, татары, башкирцы с ружьями, с кольями, с пиками, с сайдаками. Потряса дубинами, народ воинственно выл, так восторженно в зимний шквал, ревет в бурю непролазный лес.

— Го-го-го-го... Давай-давай-давай!... — вопил народ, наплывая на врага лавиною.

К Валленштерну уже неслись гонцы от Рейнсдорпа.

— Отступать! Отступать!

А чтоб поддержать отступающих, из крепости был выслан сильный сикурс из гренадерских и мушкетерских рот при шести ору-

дьях. Валленштерн давал бородинским казакам сигнал за сигналом к отбою и, утрашась многотысячной силы врага, стал спешно строить свой батальон в каре.

Над степью растекалась сутемень. В морозной выси замерцали звезды. Шигаев, оставив народ из Берды, подскочил к Пугачеву:

— Чего прикажешь делать, государь? Силы у нас — во!..

— Не силы, а кулаков да кольев...

Ретивый конь под Пугачевым плясал и всхрапывал. Конь делал «свечу», косил глазом на необъятные степи, где носятся всадники, коню хотелось промяться.

— Яицкие где?

— А эвот-эвот, ваше величество, — показал нагайкой Шигаев.

— Таперь самая пора по крепости вдарить, Рейнсдорп боле половины войсков-то в степь выгнал. — Пугачев надвинул на брови шапку, хватил коня в бок пятками и, гикнув, помчался в сопровождении Ермилки, Зарубина-Чики и Творогова к отряду яицких казаков.

— За мной, детушки, за мной! — поравнявшись с ними, огненным голосом закричал он.

Падуров в пылу перестрелки случайно заметил, как яицкие казаки взяли путь к Егорьевской церкви, а впереди них — Пугачев.

— Ба! Государь! — увидав Пугачева, вне себя заорал Падуров. — Эй, оренбуржцы!.. Собирай наших. Айда за государем! — И он с горстью своих поскакал за отрядом яицких казаков.

Шигаев тем временем ударил со своей толпой на отступавшего в батальонном каре Валленштерна. Его сильный отряд, отстреливаясь из пушек и ружей, подбирая своих раненых, полным ходом спешил к распахнутым крепостным воротам. Пугачевцы сильно теснили его, но вплотную сцепиться страшались.

— Наддай, наддай, детушки! — поощрял Пугачев скачущих за ним и впереди него казаков. — Рви кочки, ровняй бугры, держи хвосты козырем!

— Ура, ура! — голосисто гремели казаки, взяв наперевес пика и поспешая за государем. В их сердце отвага, огонь, в широко открытых глазах нет и тени страха.

А вот и Егорьевская церковь, вот он — ров, вот — вал, а за валом в таинственном сумраке взбудораженный город.

Пугачев выхватил саблю.

— На штурм! На слом! — и с горячностью повел казаков в конном строю через глубокий ров к валу.

— Ги-ги-и! — пронзительно орали скакавшие молодцы, держа свои пики навзлече.

И вдруг притаившийся враг полохнул на валу и на ближних батареях огнем пушек, ружей, мушкетов. Если б не сгустившийся сумрак, смельчакам-пугачевцам досталось бы тут на орехи. Все-таки отпор был столь силен, гул многочисленных орудий и бой барабанов столь устрашительны, что казаки смешались, подстреленные их лошади взвивались свечой и падали, валялись наземь раненые, убитые люди.

А на валу уже прогремела команда:

— В штыки!

Вновь набежавшие из резервов солдаты, хватив по стакану водки, с хриплым ревом «ура» ринулись в гущу конников.

Пугачев, Падуров, Фатьма, Зарубин-Чика, Пустобаев и многие другие рубидись, как богатыри. Ермилка остервенело орудовал пикой.

Пугачев во весь голос кричал солдатам:

— Изменники! Согрубители! Так-то вы встречаете государя?! Ну, я ж припомню вам окаянство ваше!..

— Сам! Сам!.. Емелька это!.. Имай, хватай!— орали солдаты и без голов, без рук, рассеченные от плеча до бедра, хлопались о землю замертво.

Вот стегнула крепостная картечь в гущу схватки в своих и чужих, а солдат из-за вала набегает все больше и больше. Вот защитники крепости выволокли на лафетах две пушки, забили картечью...

— Назад!..— промогласно скомандовал Пугачев.

Ермилка резко затрубил отбой. Казаки отхлынули прочь и мигом рассыпались по степи, по сыртам. Защитники стали подбирать по рву убитых и раненых.

5

Крепость еще долго гудела от пушечных выстрелов. На башне отбили семь часов вечера. В Егорьевской церкви показался огонь. Там пугачевцы разложили большие костры. Возле костров неумелые дрожащие руки перевязывали раненых. Чугунные плиты церковного пола оросились кровью. Протяжные стоны, крики, и тут же ядреные шутки с перцем крепких словечек.

Татары с башкирцами при дележе добра затеяли меж собой рукопашную свалку.

Костры в церкви горели всю ночь. И всю ночь, когда крепость уже замолкла, с церковной паперти, как только на городской башне били часы, пугачевцы давали пушечный выстрел.

В полночь обер-комендант Валленштерн и начальник полиции Лихачев чинили доклады Рейнсдорпу. Комендант сетовал на большой расход ядер и пороху. По подсчету было с крепости выпалено 1643 ядра, 71 заряд кар-

течью, бомб брошено пудовых — 40, тридцатифунтовых — 34, одну пушку разорвало, у другой вырвало запал. Убитых семнадцать, раненых семьдесят человек.

Начальник полиции доложил, что убито в городе восемь мирян, в их числе именитый купец Кочнев.

— Как? Кочнев умирал? — удивился губернатор.

— Ему перешибло руку, ваше высокопревосходительство, сильно, раздробило кость. Сначала костоправ пользовал его, потом доктор. Доктор руку отнял по самое плечо, через что оный купец час тому назад помер.

— Ах, какой несчасть, какой несчасть, — скорбно качал головой губернатор. Он Кочнев уважал за его огромное состояние, нажитое не мошенничеством, не хапужничеством каким-нибудь.

— Жаль, жаль, — бормотал губернатор. И, обратясь к Валленштерну: — Да, ваше превосходительство, господин обер-комендант... Силы неприятеля велики, силы очень громадные... И без скорая помощь извне нам не добровать.

— Не так страшен черт, ваше высокопревосходительство, — ответил пучеглазый Валленштерн, и губы его насмешливо дернулись. — Людства у него хоть отбавляй, а регулярной силы весьма мало. Хотя, по правде-то молвить, в тактике этот Пугачев кой-что смыслит. Я, чаю, сей вор в военном искусстве не хуже иных наших полководцев.

Губернатор поморщился, приняв очередную обиду коменданта на свой счет, рыжие буки на его выпуклом лбу задрожали. Плотный грубоватый Валленштерн, прогремев шпорами вперед и назад, сказал как бы мельком:

— Между прочим, мне было доложено, якобы на приступе против Егорьевской церкви вел казаков сам Пугачев. На рослом коне и в кармазинном кафтане...

— Шо? Сам Пугачев?.. Очень хорошо, чтоб не сказать более... Пффе... — И в няк обидчику, делая руками хватательные жесты, он бросил: — Так что ж вы его ату-ату? Опять вы прозевали, проворонили. И говорите о сем спокойно...

— Я в этот момент, как вам известно, был вне крепости, а против Пугачева на валу стояли вы, генерал... Почему же не изволили учинить это самое ату-ату? — И Валленштерн, глядя в упор на побледневшего губернатора, точно так же сделал руками хватательный жест.

Губернатор заерзал в кресле, а привужденное, в желтых веснушках лицо его стало алеть и дергаться.

— Вот вы всегда... всегда, вы господин пра-комендант, этак. Ваш тон, ваш тон... — мямлил губернатор, подыскивая наиболее мягкое, но в пределах светских приличий, слово.

Начальник полиции полковник Лихачев вел нужным как-либо пригасить начавшуюся генеральскую перебранку. Он решился дерзнуть губернатора.

— Простите великодушно, ваше высоко-восходительство, — щелкнул он шпорами и братце, но довольно ярким языком, рассказы, как недавний герой, купчик Полухтов, явился при несчастном случае с Кочневым вопиющую трусость. — Он испугался гораздо больше, чем престарелый отец протопоп. Когда все, даже слабые дамы, бросились к пограбавшему Кочневу, купчик бежал по улице и таким благим матом вопил «караул», что и него шарахались верблюды...

Губернатор, слушая, округлил глаза, округил рот, ударил себя по бокам и сильно замялся:

— О! О! Вот вам русска герой...

В лагере Пугачева тоже шли разговоры.

— Сказывают, в ума иступление пришел ты, батюшка, — пеняли Емельяну Иванычу по атаманы. — Так-то не гоже. Поберегать себя надо, Петр Федорыч, ваше царское величество.

— Страшно дело до начала, — отшучивался Пугачев, чокаясь с атаманами. — А ну, руги, промочим трохи-трохи горло с немалою устаточку...

Ужин Ненила приготовила добрый, поедали го с водчбым апшетитом.

— Так-то оно так, — пошевеливая бороду, говорили атаманы. — Храбрости в тебе не климать стать, а все ж таки... Ежели тебя, ваше величество, порешат, с кем мы тогда станемся?

— Я завороженный, — подмигнул атаманы Пугачев. — Меня ни штык, ни пуля не возьмет. Мой дедушка, Петр Алексееч, пречный покой его головушке, не в таких же баталиях бился, а здрав бывал... — Пугачев перекрестился и, вздохнув, выпил вторую кру. — Ежели я, детушки, на рыск пошел, не за то таперь ведаю — мои казаки храбрысти отменной. Прямо — урванцы!

— А все ж таки, ваше величество, завороженный ли ты, нет ли, а так делать не мож, чтоб лоб под пули подставляять. А то и не всех загубишь, — не унимались пенять ему атаманы, выпивая и смачно закусывая. ...Ермялка подарил Нениле сапоги. Она в благодарность так доугощала его в кухне ужи-

ном, что казак в полную меру объелся, опрокинулся на лавку и, с ложкой в руке, заснул.

...Вдруг все заметили, как в лице государя произошла перемена: в глазах ни росинки хмеля, по челу — рябь, будто в ветер на Яике. Гости ожидали неистового парева слова, а он только вздохнул и негромко, но раздельно, словно по складам, выговорил:

— Силы да крови в жилах у нас хоть отбавляй, а вот руды вострой да пороху с пушками маловато... Ох, маловато, детушки.

Казаки примолкли, почуяв, что не так уж светло да весело на сердце государя, как это казалось с первого огляда.

— Да ведь не все вдруг, Петр Федорыч, — подал свой голос Шигаев. — Ведь и Москва не сразу строилась, как говорится... И пушки с порохом и всякое оруженье наживем.

— Ведь на Воскресенском-то заводе приказчик Беспалов пушки да мортиры готовит изм. И бомбы с ядрами также, — сказал Падуров, покручивая темные усы.

— Надо, чтоб скоропалительно было, а мы мешкаем, — сказал Пугачев. Помолчав, он снова и с такой же внезапностью переменялся в лице, прищурил правый глаз и ухмыльнулся в бороду: — Одно есть упование наше: кошъ мало у нас пороху, а, поди, больше, чем ума-разуменья у каткыных губернаторов. Видали, атаманы, как он, Рейнсдорпишка-то, туды-сюды заметался с войском своим, коль скоро мы в бока, да в зад ему саданули. Ох, дать бы нам в руки регулярство его, мы б такой шох-ворох подняли, что... Не токма Оренбург, а и столицу пресветлую деда моего полонили бы... Да гори моя голова — правду молвлю!.. Верно ли, детушки? Ась?

— Да уж... Чего тут много гуторить... До разу взяли бы!

— А ну, коли так, трохи-трохи по последней, да и спать... Пугачев чокнулся со всеми, перекрестился, выпил и, прощаясь с атаманами, проговорил: — Только упреждаю: дело наше боевое, чтоб у меня чутко спать, на локотке!

Глава двадцать первая

Кар ловит Пугачева, Чернышев ловит Кара. „К умному разбойничку“. Маячная гора

1

Утро в Петербурге было тусклое, туманное. По широким площадям, по прямым проспектам и улицам полз белый поземок. Седыми выюнками он облизывал ноги прохожих, фон-

ганом взмывал возле фонарных столбов. Вдоль Невской набережной высились стройные громады Зимнего и Мраморного дворцов. За Невой серым призраком маячила крепость. Туман то сгущался — и тогда все тонуло в его мутной пелене, то, под взмахами северного ветра, редел, открывая оживленную перспективу улиц, заречные дали.

Всюду сновал деловой народ, проносились сани с сѐдоками, плелись хмурые водовозные влячи — на дровнях стояли прикрытые дерюгой обледенелые ушаты с невской водой. Благородная собачонка в теплой кофточке играла с белым поземком: лаяла, прыгала, хватала ртом оживший снег.

— Кадо, Кадо! — закричал бравый лакей с бакенбардами и принял послушного песика на руки.

Четыре казака в опрятных темносиних чепемях с голубыми отворотами, в сдвинутых на ухо трухменках, поскрипывая начищенными до блеска сапогами, правились к дому графа Алексея Орлова. Казаки жили в Петербурге больше месяца. Опасаясь, что за ними следят, они принуждены были вести жизнь замкнутую, по людным местам не шались. Поэтому они и не могли знать о том, что творится на их родном Янке. Один из казаков — уже известный нам — есаул Афанасий Перфильев. После убийства генерала Траубенберга и занятия Яицкого городка генерал-майором Фрейманом, есаул Перфильев со многими замешанными в бунте казаками бежал, некоторое время скрывался, а затем во главе делегации был послан опальным казачеством в Петербург ходатайствовать перед императрицей о смягчении приговора осужденным.

Заготовленное на имя императрицы прошение делегаты передали Алексею Орлову, на покровительство которого они полагались. Орлов сказал им:

— Ждите резолюции. Просьбу вашу не замедлю вручить государыне.

Через две недели они были призваны к Орлову. И вот, прошагав по туманным площадям и проспектам столицы, они входят в его дом.

— Слушайте, друзья моя, — ласково встретив их, начал граф: — Только имейте в виду — веряю вам государственную тайну. За разглашение будете схвачены и навеки вечные посажены в Петропавловскую крепость. Поняли? С тебя, есаул Перфильев, первый взыск. Ну так вот. Правительству стало ведомо, что на Янке несчастье учинилось: некий вор и мошенник, беглый донской казак Пугачев, присвоил себе имя покойного императора Петра Третьего, собрал себе шайку из ваших же яицких ухорезов, укрываю-

щихся от кары за убийство Траубенберга, вот оный разбойник пошел гулять по Яи и даже подступил, говорят, под Оренбу Поняли, ребята?

— Поняли, ваше сиятельство, — стиснул зубы Перфильев и, в приливе искреннего возмущения, схватился за саблю. — Ах, подлец!

— Ну, вот, — с удовлетворением проговорил Орлов. Ему понравился искренний порыв Перфильева. — Так съездите-ка вы, молодцы к себе на родину, да постарайтесь обмануть казаков уговорить, пускай-ка они от этого ложного царя отстанут да схватят его. Вы постарайтесь-ка! Тогда, по возвращении к нам в Петербург, войсковое дело немедля будет решено в вашу пользу. А ты, Перфильев, сразу чин майора получишь.

— Рады постараться и послужить всемогущей монархине! — вновь воскликнул Перфильев, и шадриное, в крупных оспинах лицо его выразило полную преданность правительству. Чин майора!.. Да ведь это и ему и во сне не снилось. — Только представьте нам, ваше сиятельство, к вершению этого великого дела подходящие способы. А у нас...

— Вы, молодцы, у графа Чернышева были? Ах, нет? Ну и само хорошо, отличитесь и не заходите, не заходите к нему. Он во все время кашу портит. Кабы не он да Мартемьян Бородин ваш, не быть бы и нам варухе в Яицком войске, не гулять бы Пугачеву там...

В середине ноября Перфильев и Герасим слабленные от Тайной канцелярии документами и прогонными деньгами, выехали через Москву в Казань под видом «черкесов» — так значилось в их паспортах за подписью князя Вяземского. А два других казака были оставлены в Петербурге в качестве заложников. Всем этим ведала Тайная канцелярия. Военная же коллегия вместе с графом Чернышевым была от этой затеи устранена.

Таким образом, в сиятельную голову Алексея Орлова влетела почти та же мысль, что и губернатору Рейнсдорпу: один послал и жить Пугачева каторжника Хлопушу, другой — есаула Перфильева.

И не успел еще Перфильев доехать до Казани, как в Военную коллегия пришли требования и письма Кара, повергшие графа Чернышева в злобную растерянность, а императрицу — в гнев.

Однако опытный полководец Чернышев решил обвинять Кара в военных неудачах его взорвало отсутствие у того должной дисциплины и, главное, полного сознания отв

женности пред правительством. И вот после влады Екатерины, Чернышев тотчас написал Кару ответ:

«Государь мой Василий Алексеевич!

изъявленное в постскрипте помянутого письма намерение ваше, чтоб, оставя порученную вам команду, ехать сюда, учинили вы неосмотрительно, и буде оное исполните, вы поступите точно противу военных регул. Я рекомендую вам отнюдь команды своей не оставлять и сюда не отлучаться. А буде уже в пути сюда находитесь, то где бы вы сие письмо не получили, хотя бы то под самым Петербургом, извольте тотчас, не ездя далее, возвратиться».

Копия этого письма была направлена и завкомандующему в Москве, князю Волынскому. «На случай же,— писал Чернышев князю,— если курьер как-нибудь с Каром взбелхался, прилагаю при сем с оного моего письма дубликат и покорнейше ваше сиятельство прошу, как скоро Кар в Москву приедет, оное ему вручить, приказав наблюдать на почтовом дворе и где следует, чтоб Кар, не бывши у вашего сиятельства, Москвы проехать не мог».

Такого же смысла бумага была направлена и казанскому губернатору. Курьерам офицерского чина была дана особая инструкция.

Итак, шла ловля не только злодея Емельки Пугачева, но и генерала, против него грававшегося и надумавшего бежать с поля военных действий. А что Кар действительно бежал, в этом не было ни малейшего сомнения. Он самочинно передал командование отрядом генерал-майору Фрейману, сел в уютный возок и двинулся в Казань.

Среди солдат возникли по сему поводу толки:

— Ага! Учухали, братцы, пошто генерал-то удрал?

— Неужто нет!.. Уж он больше и глаз сюда не покажет.

— Знать, братцы, он уверовал...

— Вестимо, уверовал... Не хочет супротив заправдашного-то самодержца воевать... Пущай, мол, солдатня отдувается, с солдатни и спрос таковский.

— Во, во! Да и нам, ребятушки, это дело-то обмозговать надобно... Чать не бараны!

Перфильев с Герасимовым тоже правились в Казань, к губернатору Бранту, денегат у них было довольно, в пути питались хорошо, выпивали почасту. Зимняя дорога наезжена, уставлена верстовыми полосатыми столбами, а на взлобках, где гуляют ветродуи, утыкана частыми вешками. Темные, неуютные зимою деревеньки с покривившимися, крытыми со-

ломой избами; села с деревянными храмами, помещичьи усадьбы в садах да в рощах. Встречались порою и зажиточные, хорошо обстроенные села: церковь, два кабака, базар с торговыми балаганами, крепкие хозяйственные избы, даже — церковная школа для ребят.

По большой торговой дороге двигались взад-вперед скрипучие обозы с замороженной рыбой, мясом, свиной и птицей, с мешками муки, с возами сена. Или встречался собственный обоз какого-нибудь богатого купца-волжанина на пятидесяти сытых и рослых конях в доброй, кожаной, с медными бляхами сбруе. Под расписной дугой у каждого купеческого коня валдайский колокольчик, на шею шаркунцы с бубенцами, прива расчесана, хвосты подкручены. На объемистых возах, набитых в Москве красным товаром да сукном, укрытых от метелей кожами, перебитых пеньковыми веревками — сидят краснощекие, одетые в теплые тулупы, купеческие извозчики; у каждого в ногах по самопалу, топору, да по железному кистеню, — в пути всяко случается, можно угодить и на разбойничков.

— Чей обоз-то? — перегоняя вереницу подвод, кричит со своих санок Перфильев.

— Кобелевых, именитых казанских купцов, Афанасья да Ивана, братья они.

— В Казань правитесь?

— Пошто в Казань? В Нижний! — и рыжебородый богатырь скатывается с воза, чтоб в ходьбе маленько поразмяться. — В Нижнем на склады сгрузим до весны, а весной-летом товары водой пойдут — кои до Макарья на ярмарку, а кои в Казань.

— А из Нижнего куда же вы?

— А мы опять в Москву. С Нижнего-то заберем железо демидовское, да медь с собственных кобелевских заводов, да хлеба хозяйского, да юфти. Так вот до весны и будем ездить меж Волгой — Москвой. А ваш путь куда принадлежит? — неожиданно спросил извозчик. — Ах, в Казань? Так-так... Чегой-то, бают, не вовсе спокойно там, будто царь-батюшка народу объявился.

— Не царь, а самозванец, — возразил Перфильев, и пустил свою лошадь шагом. — Да и не под Казанью, а под Оренбургом. А ты откуда слышал?

— Да пробалтываются, — шагая рядом с санками Перфильева, ответил рыжебородый. Он достал из-за пазухи житную лепешку, перекрестился и стал кусать белыми, как снег, зубами. — Ведь оттедова, из-под Казани-то, кой-какие из помещиков в Москву подаваться стали, ну-к слухи-то и катятся от их ямщиков да дворни. Царь-объявленец, мол, дворян-то не шибко милует, больше,

мол, приклоняется он до простого народу, до черни, значит.

Перфильев переглянулся с Герасимовым, и оба пустили свои сани на полный ход.

Большая торговая дорога была оживлена и день и ночь. Много тысяч подвод ежедневно попадались нашим путникам. И так по всей Руси, от Черноморских степей до приполярной тундры, от Балтийского моря до Уральских гор и дальше — по бескрайним просторам Сибири, особенно в зимнее время, кишели дороги обозами, проезжим и прохожим людом.

Встречались нашим путникам и необычные, шумные подводы на плохих лошадаенках, в веревочной да лыковой сбруе. Это кака-нибудь волость спешно доставляла в Москву очередную партию новобранцев. В широких саних-розвальнях, как сельди в бочке, сидели пьяные парни, одни орали песни, другие — упившиеся — лежали поперек саней мертвыми телами, третьи били себя кулаками в грудь и, скосорогившись, горько, неутешно плакали.

Немало по дорогам металось и пешеходов. То шли артелями плотники, то пильщики, то пимокаты. Вот крестьянин ведет тощую коровенку на базар, ее подгоняет хворостиной парнишка, укутанный мамкиной шалью; вот божьи старушки семят неведомо куда и стрекочут между собою, как сороки, а вот два высоких крепких старика с посохами и заплечными берестяными кошелами. Они внушительного вида, лица их свежи, взоры светлы, белые бороды волнисты. Один, выставляя на мороз лысину, идет без шапки, он всю зиму — дома и в дороге — спит на сеновалах. Им в пути хорошо подают, а на почлегах сытно кормят. Оба второй уже год шагают по обещанию из-под Иркутска в Киев, на поклонение киевопечерским чудотворцам, а ежели война с неверными «чезнет», то старцы-трудники, пожалуй, примут путь на Иерусалим-град и ко святой горе Афонской.

— А как же дома-то у вас? — полюбопытствовал Герасимов.

— А дома у нас, в Сибири-матушке, все справно. Мы с Лукой соседи будем, шабры. У него семейство в двадцать душ, у меня того боле. У нас у двоих-то до двухсот коровушек, да сверху сотни лошадушек.

— Ха! — удивленно крутнул головой Перфильев. — Видно, помещиков-то нету у вас, в Сибири-то?

— Бог миловал... Этого сраму, позорима, чтоб человек человека, словно собаку, продавал да по своему хотенью истязал даже до смерти, у нас, в Сибири, не водится. Ваши мужьяки-то к нам бегут. Бе-е-гут без оглядки, бегут.

— Ну, а начальство-то? Поди тоже обжест?

— Мы начальства, тут его деря не боимся... Начальство нас самих боится. Тайга в наших руках непросветная, в случай чего — рогатиной в сердце, альбо из ружья. У нас с начальством счет короток. А какой начальник с нами хорош, тот по горло сыт.

— Конечно, утешения и у нас живут, — сказал старик с простоволосой головой, — без этого свет не стоит. За непокорство и нашего брата ладно жучат. А по суду и кнутом случается дерут и поздри вырывают. Чего греха таить. Ну, только жить сибирскому мужику во сто разов вольготней супротив Рассаи, то есть.

— А сколько же вам лет будет, старички? — спросил Герасимов. — По шестидесяти есть?

— Мне восемьдесят девять, — сказал дед без шапки, — а Лука-т на восемь годков старей меня, ему уж к веку подваливает, к ста годкам. Вот он, язви его в пятку, какой крепкиш. Репа репой. Ну прощевайте-ко-ся... — и светлые старцы легкой ступню пошатали дальше.

2

На ночевках, где-нибудь на постоялом дворе или в ямской избе, путники наши все чаще, все охотнее возвращались к одному и тому же заветному разговору. В дороге, при ямщиках, скрытные речи вести опасно, а вот с глазу на глаз, потягивая в теплой халм водочку или горячий сбитень с пахучим свежним караваем в прикуску, раскинуть умозразаумом весьма полезно.

— Да, брат, да, Перфильев, — начинал усатый казак Герасимов и ужимал глаза вприщур, — такне-то дела-делишки. Ведь я сказывал тебе, что покойного государя видел вживе не единожды и буде сей, называющийся, и впрямь государь, узнаю его зараз.

— Каким, однако, побытом могло статься, чтобы простой человек взял да и объявил себя государем? — озадаченно вопрошал Перфильев. — Кажись, и статься сему нельзя. А на мой смысл — называемый графом Орловым Емелька Пугачев и впрямь есть государь Петр Третий.

— Да ведь были слухи, ходила молва, будто манифесты о смерти государя ложны, будто выкраден он из-под ареста...

— А ежели так, — озираясь, нашептывал Перфильев, — тогда во истину под Оренбургом это он и есть. Ведь должен же он, державец наш, где не то объявиться...

— Знаешь что, Перфильев, — задышав в шадривое лицо товарища, таинственно говорил усатый Герасимов, — ежели я, повстре-

впись, узнаю государя, тогда, хоть убей меня, а злого умысла супротив него допустить не стану.

— И я не иначе. Как можно руку подыять на государей! — восклицал Перфильев. — Их головы помазанные. Только вот ты это мне скажи, чью сторону нам держать: государя, альбо государыни?

— Нам в их дела нечего встревать, они промеж собой как хотят, так пусть и делают. Наше дело маленькое.

— Что верно, то верно, — согласился Перфильев.

На том они твердо и порешили. А как прибыли в Нижний Новгород, пошли в кремлевский Преображенский собор и в нем, над югилою приснопамятного сына России — Бузмы Минина, поклялись служить государю верой-правдой.

Под Мазарьевым произошла у них неожиданная встреча.

— Стой! Перфильев! Герасимов! Да никак это вы? Стой, ежова голова! — и к остановившимся саням подбежал бородатый, косоглазый япцкий казак Федот Кожин. Простоявшее лицо его выражало необычайное удивление и радость. — Ой, да и соскучился по своим людям-то; по казакам-то. Ведь я, дружи, с чумного московского бунта. Да отоймте-ка подале куда, — и казак-гуляка кивнул в сторону курносого парня-ямщика.

Все три казака, взявшись под руки, стали весело прохаживаться вдоль дороги.

— Я после бунта московского по тюрьмам шей кормил, под плетью, ежова голова, был, да вот господь привел нам злот с дружкой-то этим вырваться, — и Федот Кожин указал рукой на сидевшего в санях человека. — Да уж я... Эй, Нил Иваныч, вылазь сюда на кумпанство!

Хряпов в вывороченной вверх шерстью овинной шубе, в мохнатой шапке походил на громадного стервятника-медведя. Жир с него пал, брюхо стало много меньше, бородатое лицо попрежнему красное, запойное, под глазами отвисшие мешки. Он и Кожин были веселе. Поздоровавшись с казаками, Хряпов, недолго думая, сказал:

— А нет ли у вас, господа проезжающие, венца глоточка с два? У нас было два што-ра да выпили, за то вареная курица есть в пироги-крупеники.

Через минуту возле саней бывшего мясника завязалась на морозце беседа с легкой вышивкой.

— Куда ж это ты пробираешься-то, Афанасий Петрович? — спросил Кожин есаула Перфильева и с жадностью опрокинул в рот пачанчик холодной воды.

— По секретному делу едем, — загадочно ответил тот.

— А-а-а, по секретному. Хм... Мы с дружкой тоже вроде как по секретному, — сильно захохотал вовсе охмелевший Кожин и облизнулся. — Ну так вот вместилах и поедемте, ежова голова... по секрету!

— Нам не по пути. Мы до губернатора Бранта едем, в Казань.

— Эво куда, — и косоглазый Кожин с какой-то веселой безнадежностью присвистнул. — Ну, а мы, брат, губернаторов да воевод как можно объезжаем, ха-ха-ха! Я напрямки скажу, Перфильев, хошь саблей меня руби, хошь из пистолета, — едем мы, без утайки тебе молвлю, как казак казаку, поспешаем мы, значит, ежова голова, к самому Петру Федорычу, царю-батюшке, вот куда.

— Да нешто он объявился где, государь-то? — схитрил осторожный Перфильев.

— Хах ты, ежова голова! — закричал Федот Кожин, даваясь пирогом-крупеником. — Неужли не слышал? Да нам в кабаках все уши прожужжали: под Ренбургом, мол, сам царь стоит с великим войнством.

— Пьянчужки брешут, а ты, косоглазый заяц, слушаешь, — подзадорил Кожина Перфильев.

— Нет, не брешут, господа казаки, — убежденно возразил Нил Иваныч Хряпов. Он широко распахнул шубу и стал набивать трубку табаком. — Мне доподлинно ведомо, что главнокомандующий Москвы князь Волконский военную силу из-под Москвы в Оренбург направил. Уж мне ли не знать. Ведь я первейшим купцом был, а по природе мужик я, крепостной барина Ракитина, в люди же вышел грешной головой своей, — и бородатый Хряпов, допив остаток водки, не торопясь рассказал казакам про свою жизнь: как он был богат и знатен, как разорился, как с горя стал пить и по дурости, ошалев от пьянства, ввязался в Москве в драку.

— Ведь я поставщик двора был, ведь я самого государя не только что видывал, а и в могилу провожал, царство ему небесное.

— Как, так... в могилу? — исподлобья посмотрев на купца, воскликнул Перфильев, а Герасимов крутнул головой и приснул смехом. — Да к кому же вы тогда едете, раз царь земле предан? Ну и чудоден вы, братцы мои! Мылом обвелись вы, либо щелоком охлебались.

— А еду я, — отставив ногу и разгребая пальцами бороду, начал Хряпов. — Еду я, честные господа, мужиков на бар подымать. Вот куда! А как сколочу шайку из крестьян, бар будем резать, барское житьельство пеклу предавать, хе-хе... И есть мое усердие при-

быть к батюшке по крайности вкупе с тысячью разнесчастных мужичков.

— Да к какому батюшке-то? — захохотал Перфильев, с большим любопытством приглядываясь к захмелевшему кушчу.

— А вот как дойдет до него, тогда и угляжу к какому: к воскресшему ли батюшке или к умному разбойничку. Ежели есть он истинный царь, а замест него в Невском монастыре похожего на него человека по требению предали, я тут же оборочусь к царю спиной да и заявлю в народ: хоть ты и государь был, Петр Федорыч, а только не в своем уже царствовал, баба ты в повойнике, а не царь!.. — Хряпов чем дальше, тем больше волновался, он вспотел на морозе, голос его стал сильным, крикливым, занозистым. — А ежели он, дай бог, разбойничек умный, упаду ему в ноги, да не раз, а сто разов ударюся башкой в землю. Разбойничек, заору, пресветлый разбойничек мой! Давай оба вместе, оба враз царствовать! Покажем свету, что и чрез разбой правда открыться может! — по пухлым морщинистым щекам его, по бороде текли слезы. — Ой, братцы, мужик я, мясник я, так уж замест коров стану я резать помещиков и прочих душегубей мужичьих!.. Эх, братцы!.. Еще бы вина мне, разбойничку, вина! — Он бил себя опухшими кулаками в грудь и всячески спына юродствовал.

Перфильев толкнул Герасимова в бок, и они исподволь покинули гуляк.

3

Полковник Чернышев, не получая никаких распоряжений от Кара, в ночь на 13 ноября выступил к Чернореченской крепости с целью пробраться в Оренбург. Он отправил губернатору Рейнсдорпу двух казаков с просьбой оказать его отряду содействие.

Гонцы еще не успели прибыть в Оренбург, как Рейнсдорп получил рапорт бригадира Корфа, что ночью 12 ноября он остановится в двадцати верстах от Оренбурга. Губернатор тотчас отправил как Корфу, так и Чернышеву приказание выступить со своих ночлегов одновременно, на рассвете, и правиться к Оренбургу со всеми военными предосторожностями.

Однако губернаторские гонцы были схвачены в дороге расторопными мятежниками, и это обстоятельство открыло карты Пугачеву.

Полковник Петр Матвеевич Чернышев¹ в первом часу ночи на 14 ноября прибыл в Чернореченскую крепость, разместив свой от-

ряд по квартирам и лишь расположился: и ночлег в доме священника, как к нему и стучались. Вошел с двумя казаками толпа что прибывший в Чернореченскую сажмацкий атаман Углецкий.

— Я вас должен предупредить, господин полковник, — сказал он, — что силы злодеев весьма порядочные. И ваш отряд непременно будет атакован, ежели вам не удастся протти как-нибудь скрадом. Мой совет — вы надлежит выступить сейчас, может, в темноте и проскочите.

— Да что-о вы, право... — опешил Чернышев.

— Да уж поверьте!

— Но я не имею точных указаний ни от Кара, ни от губернатора Рейнсдорпа, к кому отправлены мною два казака.

— Ваши казаки наверняка пойманы в гом. Что касаето генерала Кара, то он разбит и отступил, а высланная в помощь ему гряданская рота схвачена пугачевцами и угнана к самозванцу в лагерь.

— Да что-о вы, — опять протянул край озадаченный Чернышев, прислушиваясь к кому-то гаму за окном.

Чрез двойные рамы долетало: «Не имеем права, подлюга!» — «Какие мы пугачевцы. Сперва расчухай!...» — «Не хватай меня! глотку, а то нос отгрызу и выплону!»

В опрятную комнату с накрахмаленными занавесками и чижиком под потолком вбежал запыхавшийся адъютант:

— Господин полковник! Языков поймали.

Вскоре ввалилась к Чернышеву шумная толпа: чернышевские солдаты притащили пятерых пугачевцев.

— Вот, ваше высокоблагородие, — ед переводя дыхание, прохрипел старший казак. — Пошли мы, уж не погнайтесь, шинок, колено, в крчму. А эти молодцы там водку хлещут. Ну мы не знаем, кто такие, может, местного гарнизону, а шинки и шепчет мне: «Хватайте, это изменники, самозванца утекли»...

— Кто вы такие молодцы? — перебил капрала Чернышев, потряхивая седеющей лавой.

— Дозвольте! — выдвинулся из толпы бравый, безбородый, в рыжих усах казак пугачевец. — Нас казаков-бунтовщиков четверо, а пятый — это солдат, он не наш...

— Я, ваше высокоблагородие, рядовой в постного гарнизона Крылов, — и толсто губы с водянистыми глазами солдат шагнул вперед. При ошибке я к злодеям в полон попал, а третьего дня от воров бежал, тепер здесь-ка скрываюсь...

— Дозвольте! — перебил его рыжеусый заиграл глазами. — Какся, мы четверо каз

¹ Двоюродный брат А. Г. Чернышева, к которому Екатерина, будучи еще великой княгиней, была благосклонна.

в у батюшки служили по глупости. А вот к третий день, как тоже утекли... Батюшка не батюшка, а первый лиходей оказался, ну! Ему бы людей вешать... Вот, ваше высокоблагородие, хошь верьте, хошь нет... хошь жили из нас тяните... Обидел меня батюшка, вот как обидел... Принародно по шум дал... А я ли ему не служил по глупости...— казак зафыркал носом и плаксиво всоротился, прикрываясь широкой ладонью.

— А нас не мордовал батюшка, что ли?— юдали голос остальные трое пугачевцев.— Им только своих япцких жадует, а мы, слава богу, илецкие... Как добро делить, он все себе да все себе, а нам фига с маслом...

— Не в том дело!— выкрикнул рыжеусый, тараща на Чернышева заплаканные глаза.— Дозвольте! А зазорно стало нам в изменниках великой государыне ходить. Ведь мы не слепые щенята, ведь мы понимаем, вскородие, долго ли, коротко ли, а самозванному царю крышка...— и рыжеусый, а с ям и остальные, повалились пред Чернышевым на колени.— Ваше высокоблагородие! Помилуйте нас, охлопочите нам прощение, примите к себе на службу хошь в самые последние обозные...

— Изменники!— поднялся широкоплечий Чернышев и сердито затопал на них.— Как вам, чортовы дети, могу верить, раз вы присяге изменили?! Повесить вас мало...

— Нас, ваше высокоблагородие, и Пугач прозил повесить... Уж схваченные были, да угодники святые пособили утечь от виселицы-то! Господи, батюшка! Так где же нам оправдаться-то?— стал в отчаянии заламывать руки рыжеусый казак.— Помилуйте, не дайте душе загинуть! Ведь мы молодые, вся жизнь впереди... А уж мы вам службу сослужим. Васкородие, миленькие...

— Какую вы, мерзавцы, можете сослужить мне службу?

— А вот какую,— и рыжеусый пугачевец поднялся с колен.— Ежели вы пробудете здесь в Чернореченской до утра, так не сдобровать вам: Пугач непременно атакует вас, и вам, васкородие, со своей командой супротив злодея устоять будет не можно... У него силища много, уж мы-то, васкородие, знаем доподлинно...

— Вот видите, господин полковник,— вмешался молчаливый атаман Углецкий,— стало быть я дело вам советовал... Надо немедля выступать вам.

— А выступать надо тихо-мирно, чтоб без барабанов, без огней,— говорил раскрасневшийся, возбужденный рыжеусый.— А уж

мы возьмем на себя проводить вас скрытной дорожкой, чтоб злодею не чутко было...

— Как бежал я вчера из злодейского лагеря, там пьянка зачиналась,— сказал солдат Крылов.— Они, всеё ночь нынче будут гулеванить, винище лопать. А я дорогу в Оренбург знаю во как, зацуря пройду, восемнадцать-то верст еще до свету промахнем, вашескородие...

Чернышев задумался, и уже более милостиво поглядел на беглых пугачевцев.

Во время разговоров, один по одному, обратились к Чернышеву все тридцать два офицера. Им тоже казалось, что беглецы дают резонные советы. Тем более, что советы эти полностью совпадали с предостережением атамана Углецкого. А уж Углецкий свой человек, ему вся вера.

— Как удобнее нам выступить?— обратился Чернышев к офицерам.— В каком порядке?

Те пожимали плечами, переглядывались друг с другом.

— А вот как удобнее,— сказал рыжеусый беглец-пугачевец.— Дозвольте! Вперед, конечно, конницу пустить, следом артиллерию, а тут— пехота да обоз. А порох-то наготове держать, да ружья-то чтобы заряженные были, не как у гренадерской роты, коя и в плен-то понала из-за дураости своей... На них злодеи налетели, а у гренадеров-дураков ни пороха, ни ружей...

— Истинно так,— подтвердил атаман Углецкий.

Чернышеву понравилось поведение рыжеусого казака, он сказал:

— Ежели, ребята, благополучно дело сделаете, в Оренбурге награжу вас, по двадцать пять рублей каждому.

Казак и солдат Крылов низко поклонились Чернышеву и сказали:

— Не в награждение дело, ваше высокоблагородие. Конечно, спасибо... деньги великие... А само главное— похлопочи за нас, бедных...

Чернышев приказал капитану Ружевскому:

— Возьмите, Осип Федорыч, человек пять-шесть казаков, да выбирайте самых смысленых и скачите к Рейнсдорпу, скажите ему, что я сейчас отправляюсь в марш и прошу от него секурса. Будьте осторожны. враг зорек и хитер.

Было еще темно, выступили тихо. Редкий-редкий порохил снежок. Впереди без шума, без закура трубок двигалась конница: пятьсот ставропольских калмыков да сотня крепостных казаков. За конницей— пятнадцать

орудий с полным снаряжением. Далее — семьсот гарнизонных солдат и огромный обоз. Дорога виляла темным лесом, была узка и неудобна: отряд растянулся на большое расстояние. В голове ехали беглые казаки-пугачевцы и солдат Крылов — указывали дорогу.

Рыжеусый пугачевец нет-нет и повернет коня назад и проедет вдоль отряда, зорко наблюдая, в порядке ли движется обоз. «Тихо, тихо», — грозит он нагайкой. А подъехав к сбившимся в кучу офицерам, он громко говорит им:

— Еще часок и на Маячной горе будем. А как гору перевалим, тут тебе и Оренбург, версты с четыре останется.

Сам Чернышев, скрытно от всех нарядившись мужиком, в рваном измятом армяке, в овчинной с ушами старой шапке, сидит на обозной подводке, правит лошадей, помахивает кнутом. В темноте его никто не замечает и никто не знает, где он, полковник Чернышев. Да его теперь сам сатана в очках не сыщет. Его лошадь идет то шагом, то ленивой рысью: тух-тух-тух, сани клонит вправо-влево, на Чернышева накатывается дрема, но он упорно борется с ней.

Впереди, за две подводки от него, завалился воз, набежали соседи, стали подымать. Тотчас появился рыжеусый пугачевец, прыгнул с коня, тоже выпресь в дело, внаутр нажимает плечем, кричит, а сам во-голоса предупреждает возчиков: «Тихо, тихо, мужички, не шумите громко-то».

Воз поднят, все двинулись вперед. Мимо Чернышева проехал все тот же душа-парень рыжеусый. Чернышеву хотелось крикнуть молодцу: «Спасибо, мол, за старанье! Не двадцать пять, а сто рублей награды при-мешь».

Он стал думать о том, что его ожидает впереди. Как будто все ясно, и как будто все в густом тумане: для человека не только завтрашний день, но предстоящий час, даже ближайшее мгновение скрыто непроницаемой, как могильный мрак, завесой. Впрочем... вот он, блестящий полковник Чернышев, скоро вступит в Оренбург с огромным запасом продовольствия, изголодавшиеся жители осажденной крепости будут благословлять его имя, а губернатор Рейнсдорп, получив новую воинскую силу, придет в радость. А там — грозная, под командой Чернышева, вылазка из крепости, бродяга Пугачев схвачен и закован, его злодейская толпа разогнана, полковник Чернышев за боевой опыт и отвагу произведен в генералы. Генерал Чернышев!..

И может стать — государыня императ-

рица, просматривая списки награжденных споткнется на его фамилию своим светлым взором: «Чернышев, Петр Матвеевич... а да ведь это вот кто!..» — мысленно восклицает великая монархиня...

Тут думы Чернышева стремительно исутея в прошлое. Высокий, статный, сидящий красавец, физические качества которого не замаскировать никакими рваными и жичьими тулупами, вспомнил о днях юности, о счастливой поре своей придворной жизни в звании камер-лакея великого князя Петра Федоровича. Да, поистине, чудесная неповторимая пора, похожая на волшебную сказку Шехерезады!

Их было при дворе три брата, росли красивые, услужливые, они были любимым великим князем, но особой благосклонности юной супруги великого князя — Екатерины Алексеевны — пользовался их старший двоюродный брат — Андрей Чернышев. Однако привольная жизнь этих баловней судьбы продолжалась недолго: подозрительная императрица Елизавета положила быстрый суровый предел альковным шашням Анны Чернышева и Екатерины: все три брата были удалены из дворца и после двухлетнего ареста в Рыбачьей слободе под Петербургом направлены на военную службу в отдаленные местности.

Увялая мечтой в давно минувшем, Чернышев глубоко вздыхает, пристраивая кнутом ленивую лошадейку, озирается на стороны: справа и слева мелкий лес, кругом таинственная сутемь, но небо, стремительно вздымаясь ввысь, стало бледнее и проясняться.

И как это ни странно, мысли Чернышева снова и снова увлекают его в прошлое. Злясь на себя и недоумевая, он хочет рубь повернуть их, тужится думать о судьбе своего отряда, о том, благополучно ли он достигнет Оренбурга, ведь он сейчас еще вблизи злодейского логова, вдруг на его отряд со всех сторон бросятся дикие скопища пугачевцев и захватят его врасплох...

Но мимо, мимо этот страшный призрак эти мрачные, еще не прочитанные страницы: кругом все та же тишина, лишь слышен легкий скрип саней да отрывистое лехрапыванье обозных коней.

И взбудораженная память, как дьявольское наваждение, бросает Чернышева в захолустный Кизляр, куда двое из прорезанных братьев были определены на службу. То было почти тридцать лет тому назад. Тридцать лет! Да ведь это же половина человеческой жизни... Оба юные, они, за селой пирушкой, тогда почасту говаривали своим товарищам: «Мы у его высочества

были при дворе в большой милости, великий князь называл нас своими фаворитами и приятелями, а великая княгиня так жаловалась, что скрытно нас дарилась, и до сих пор у нас из ее даров вот эти часы, вот эта шпага. О нашем же несчастье она очень плакала. Хотя мы теперь и малы, а другие велики, но этим великим будут головы отрублены, а они, Чернышевы, станут высоки и знатны».

Но... прошло не мало времени, Чернышев попрежнему ни высок, ни знатен. Однако великая государыня все-таки вспомнила о нем, он с чином полковника был назначен юнкендантом города Симбирска, а ныне едет с трудным, но почетным поручением уничтожить злодея и крамольника Емельку Пугача. И чем черт не шутит, может быть вскорости он действительно станет высок и знатен!

Мысли текли, минуты проходили, лошади ютажились в гору, начинался пологий подъем-тянитус.

Засерел рассвет, все стало на виду: лес исчез, таянется лысая пологая гора, и сквозь рассвет откуда-то слышится резкий и бодрый, уже не таящийся голос рыжегого:

— Маячная гора. Горой едем... Теперь, ючитай, дома мы... Вот вздымемся на лыжину — и Оренбург, как на ладошке, тут и есть.

У Чернышева расплзлась по губам пригненная улыбка, он снял шапку и со всем жарким перекрестился. Он по плану прикинул, что Бердская слобода, этот вертеп разбойников, осталась далеко правее.

4

Но вдруг, как с неба гром, раскатился кто-то впереди пушечный выстрел, за ним ружей, третий.

Все пришло в неопишемое смятение.

Конный отряд, уже переваливший Маячную гору и внезапно осыпанный пушечной артелью, сразу остановился. Подлетевший к юным чернышевцам все тот же рыжеусый алак-пугачевец с появившейся на пике извевавшейся белой повязкой, что есть силы заорал:

— Довольно вам, ребятушки, царичкемке служить!.. За мной!.. Айда к государю императору! — и все шесть сотен чернышевской конницы с гиканьем помчались в пять лихими пугачевцами.

— Стреляй, стреляй изменников! — вопил вполносившиеся офицеры. Затрещали ружейные выстрелы, но пули летели безвред-

Чернышев с ужасом видел, как из-за лысой Маячной горы темной тучей по белому снегу вымахнули пугачевские всадники. Стреляя из ружей и поигрывая пиками, они помчались на артиллерию и растерявшихся пехотинцев. Чернышев смертельно оробел, но знал, на что ему решиться, хотел бежать к сбившимся в кучу офицерам, но душевные силы оставили его, он как бы впал в столбняк, весь обмер и затаился на возу.

К Пугачеву, державшемуся со свитой в некотором отдалении, подскочил с белой на пике повязкой рыжеусый казак Тимофей Чернов, тот самый сорви-голова, который недавно докладывал батюшке, как он, казак Чернов, чуть ли не один взял Сорочинскую крепость, и над которым батюшка весело подшучивал.

— Вот, ваше величество! — гаркнул он, молодежато вскидывая голову. — Приказ твоей милости исполнен, дело сделано, неприятельский отряд заманули мы не надо лучше.

— Спасибо, Тимоха, благодарствую, — кивнул ему Пугачев и обернувшись к свите: — А ну, атаманы, вперед!

Но впереди почти все было кончено: пугачевцы уже сидели на лафетах чернышевских пушек, четверо сопротивлявшихся артиллеристов валялись порубленными, поколотыми. Канониры, бомбардиры и куча обозных мужиков, стоя на коленях, просили о пощаде.

Семьсот старых и молодых, переязбших на морозе солдат, дрожа от волнения и не видя возле себя офицеров, под напором многочисленной вражеской конницы впали в робость.

— Кто за государя императора, бросай ружья! — скомандовал подскакавший к ним с илецкими казаками полковник Творогов.

Солдаты, не долго думая, будто по уговору, покорно сложили тесаки, ружья, патронные сумки, опустили на колени, завопили:

— Не чините нам смерти! Мы согласны служить вашему величеству...

Все покорились наскочавшим пугачевцам. Лишь офицеры, стоя плечо в плечо, яростно защищались.

— Падем в честном бою, но не сдадимся разбойникам! — в исступлении выкрикивали они, отстреливаясь из ружей, из пистолетов, с отчаяньем рубились пашками.

Казак напирал со всех сторон:

— Бей их! — Не нашего стада скотина... Бей! — визгливо орала они и падали, сраженные офицерскими пулями.

Но пули расстреляны, силы в офицерских плечах иссякли, еще момент — и все они будут растерзаны.

— Не трог их, детушки! Бери живьем,— приказал подъехавший Пугачев.

Он был в простой казацкой одежде и ничем не отличался от рядового казака. Офицеры не обратили на него никакого внимания, они ругали вазавших их казаков, плевали им в лицо, вгрызались в руки.

— Именники подлые! Клятвопреступники!— выкрикивали охрипшими голосами наиболее мужественные из них.— Вот уже будет вам... Дураки!.. Царя себе выдумали... Беглый казацкишка Емелька Пугачев вас за нос водит, а не царь... Где он? Покажите-ка нам хоть рожу-то его богомерзкую...

— А вот в Берду придешь, там и царя увидишь!— прокричал с коня засверкавший гневными глазами Пугачев.— А эти ваши бабьи сказки-то слышали мы, про Пугачева-то... Своими ложными манифестами царица Катерина только простой народ с толку сбивает. Да только простой-то народ поумней вас, дураков!

Двухтысячная пугачевская конница и весь схваченный отряд с крупным обозом провианта, которым Чернышев собирался порадовать осажденных оренбуржцев, на виду у проснувшейся крепости, неспешно двигались по сыртам в Бердскую слободу.

На крепостном валу, как и всегда в тревожные часы, стояли жители. Был тут со своими знакомцами Рычков, духовенство, многие начальствующие лица, была и любопытная Золотариха с курским купчиком Полухтовым.

На белом, покрытом снегом, высоком валу пестрели серенькой грязной солдатой, казаки и толпы простолудинов. Все, решительно все с немощной тоской в глазах провожали взглядами опромный обоз с удовольствием, тихо ползущий вдали в сытую, пьяную Берду.

— Прощай, хлебец-батюшка, прощай мясцо... Эх-мааа!..— вздыхали голодные, и по их иссохшим щекам катились слезы.

Губернатор Иван Андреевич Рейнсдорп, окруженный святой, укутанный в теплую шубу — воротник выбитой,— тоже присутствовал на валу. Время от времени он прикладывал подозрную трубу к глазу, поставлял и морщился, как от зубной боли.

В центре города башенные часы над зданием гауптвахты пробили восемь утра.

Рядом с губернатором стоит гонец Чернышева, капитан Ружевский. Каким-то чудом ему удалось благополучно и во-время добраться до Оренбурга. С пятью казаками он подъехал к воротам крепости четыре часа тому назад, когда было еще совсем тем-

но. Крепостные ворота стояли на замке без разрешения обер-коменданта Валленштерну на впуску в крепость никому не бы. Пока Ружевский ездил к Валленштерну ордером на открытие ворот, прошло немалое времени. Затем Ружевский помчался к Рейнсдорпу, чтоб доложить убедительную просьбу полковника Чернышева выслать ему встречу скорую помощь. Когда Ружевский разбудив губернатора, сообщил ему о громом пугачевцами генерала Кара, озадаченный губернатор изумленно воскликнул:

— Какого генерала Кара? Где, откуда?

— Неужели вам, ваше высокопревосходительство, ничего не известно про Кара?

— Голубчик!.. Откуда ж мне знать. Весь городок окружен... Люди этого торжника Пугачова день и ночь кругом в посты чинят разбежы. А вот уже я им, как кот, волчьих ям нарою, чтоб они атаку... Бар... Кто этот Кар? О мой бог!.. надо действовать, действовать... Эй, одевайся!— он сбросил колпак, сбросил стеганый плащик с кистями, сказал:— Пардон,— остался в одном исподнем.

Было уже шесть часов, когда они шли на улицу. И в этот миг, раз за раз ударили вдалеке три пушечных выстрела. Губернатор затаенным шопотом выдохнул: «О! Вы слышаете?»

Сели в сани, поехали в крепость, чужая прислушиваясь к морозной тишине. Но выстрелов больше не повторялось. Рейнсдорп фатальным голосом произнес:

— Ясно... Все ясно. Чернышев либо отград ретираду, либо попался в плен.

— А третьей возможности вы, ваше высокопревосходительство, не допускаете?

— Шо? Штоб победа была на стороне полковник Чернышев? Нико-гда. Я не могу победить эта шволочь, даже я! О!— выпучил глаза, губернатор добавил:— Ежели бы Чернышев, да ежели бы Корф соединились, я бы грянул из крепости очень больша секурс. Пугачеву был бы самый капут, и мой смятка. Талкофф моя вчерашний джек... Но, но... как видите... Этому торжнику душа сама сатана помогает. О!

Он подъехал к главному бастиону. Валленштерн доложил губернатору, что больша воинский отряд уже выступил из крепости на помощь Чернышеву, но...

— Што но? Што но?

— Но наши кони слишком истощены генерал, и я полагаю...

— Шо я полагаю? Ну шо?— терпя неудачу за неудачей, губернатор был очень нервно настроен. Он завертел головой и кричал:— Вернуть отряд!

Тем временем в Бердскую слободу уныло шли тридцать два арестованных офицера.

— А где же Чернышев? Где полковник Чернышев?— озираясь, спрашивали они друг друга.

— Я видел Петра Матвеевича в Черно-реченской, перед самым маршем,— густым басом сказал тучный майор Семенов. Он отдавал какие-то приказания капитану Ружевскому и неизвестно куда исчез...

— Но ведь не мог же он отправить в марш нас одних... Не сидит же он в Черно-реченской,— сказал такой же тучный, задышавшийся на ходу, капитан Калмыков.

— А вдруг да он, не дай бог, убит,— предположил молодой подпоручик Аверкин.— Шальная пуля, либо картечь...

В Берде пугачевцы тоже исполошились, спрашивали офицеров, спрашивали солдат:

— Где ваш начальник? Где полковник Чернышев?

Офицеры, как в рот воды, отворачивались, глядели в землю. Спрошенные солдаты только руками разводили.

— Знать не знаем. Мы люди мелкие...

Рыжеусый Тимоха Чернов, так ловко одурачивший полковника Чернышева, из себя выходил от злости, он внимательно всматривался в лицо каждого солдата, выкрикивал:

— Ну и хитер, ну и хитер ваш змей полковник. Как сквозь землю... Да уж не чорт ли его с кашей съел?..

Дежурный Давилин пытливо осматривал всех обозных мужиков, коим велено было сидеть на козлах. Осмотрены тридцать семь

чвочков, еще осталось больше пугачевцев. Подошел к тридцать восьмому, склеившему в рваном измызганном армяке, в овчинной с ушами шапчонке, только вот... что-то лицо у него не мужичье, а барское, бритое, и тонкий нос горбинкой... Э-ге-ге.

— А ну, дядя, сними рукавицу, покажь руку.

У полковника Чернышева задержались концы губ, в помутившихся глазах стал меркнуть свет.

— Что ты за человек?

— Извозчик...

Подбежавший на разговор Тимоха Чернов, захлебываясь мстительной радостью, громко закричал:

— Он, он! Вот те Христос, он...— и Тимоха, состроив плаксивую рожу, с надевательством повалился перед Чернышевым на колени:— Ваше высокоблагородие! Помилуйте... Пожалейте... Пожалейте мою молодую жизнь!

— Братцы,— обратился Давилин к подбежавшим солдатам.— Скажите по правде-совести, что это за человек?

— Наш полковник это, Пётра Матвеевич Чернышев,— не сморгнув глазом, в голос ответили солдаты.

Бледное, помертвевшее лицо Чернышева вдруг налилось кровью, глаза ожесточились, он соскочил с облучка и, заскрипев зубами, крикнул:

— Да, это я... Вешайте, негодяи!— затем сорвал с себя армяк и с негодованием бросил его в лицо Давилина.

(Продолжение следует)

Раздумья

I

Года пройдут крутым путем,
И снова, любопытства ради,
Мы на досуге перечтем
Свои военные тетради.

Разгорячит, взволнует кровь
Нам ветер молодости нашей
Тоской дорог, дымком костров
И гречневой солдатской кашей.

И скажем мы: когда б тот путь
Нам повторить пришлось сначала,
Тоской все той же ныла б грудь,
Все также б сердце в ней стучало.

Походкой той же сквозь туман
Мы б шли под ветреные трубы,
Но перевязывая ран
И закусив до крови губы.

II

Война свой закончит маршрут,
И во время, без опозданий,
Саперы придут, уберут
Обломки разрушенных зданий.

Ты будешь стоять и вокруг
Себя озираться, волнуясь,
Авось под обломками вдруг
Саперы найдут твою юность.

Ты помнишь, пропала она
Во время той первой бомбежки,
Когда отпела тишина
На желтой садовой дорожке!

Так пусть же разделит она
Солдатскую светлую славу
И будет погребена
По воинскому уставу.

1943

Мы из Орла

После целого дня безуспешных поисков я нашел их, наконец, под вечер, в полотняной палатке приемника медсанбата. Пожилой капитан медицинской службы, опытный военный врач, помнящий Хасан и Карельский перешеек, выдавший виды человек, которого, казалось, на войне ничто не могло уже удивить, идя со мной в палатку, поражался:

— Ведь совсем мальчуганы, а какая сила воли!.. Мы в их годы пестарей ловили да варенье у матери таскали. Сжечь себе руку!.. Нет, ведь какое нужно для этого самообладание, какая душа! У меня все вертится в голове древнеримский герой, который такую же вещь сделал, — с гимназических времен этот образ в памяти, а вот имени никак не вспомню.

Он распахнул жесткую полость, и в полумгле мокрой от дождя палатки мы увидели ряды пустых походных коек, а в углу группу раненых, в центре которой сидели два худеньких подростка — один чернявый, остролицый, с большими черными глазами; другой — поменьше, круглолицый, с конопатым и задорным носом пугавкой.

Чернявый, должно быть, только что рассказывал и замолк, когда мы вошли, а рыженький держал в левой руке губную гармошку и что-то тихо-поко из нее выдувал. Правые руки у обоих были забинтованы по локоть и висели на коричневых платках, привязанных прямо к шее.

— Ну, как, товарищи Волковы, дела? — спросил врач, обращаясь к мальчикам.

— Лучше всех, — бойко ответил рыженький.

— Ничего, товарищ доктор. Теперь вот, как смазали, не так дергает, только горит нень, — деловито отозвался чернявый, испуганно поглядывая на нас своими прекрасными, лучистыми глазами, — усталыми глазами пожилого, много видевшего и страдавшего человека.

И тут, сидя на походных койках, под аккомпанемент далекой канонады и успокаивающий шелест дождя, они еще раз рассказали свою историю — историю обыкновенную и вместе с тем необычайную, как обыкновенно и необычно все в этой великой войне.

— Мы из Орла, — начал младший, рыженький Сережа Волков.

— Мы коренные орловские жители, — перебил его старший, Володя, беря инициа-

тиву беседы в свои руки. — И дед, и отец работали у нас машинистами в депо Орел-второй. Жили мы в железнодорожном поселке на улице Спартака. Домик у нас там был. Маленький, в два окошка. Когда немцы пришли, папа в рейсе был, а мама болела. Ложала и не поднималась. Мы с Сергеем хотели унести ее на руках. Не вышло. Только растревожили. Очень ей худо стало, говорит: «Положите меня в родном доме, умру тут, а сами уходите». А большую мать как бросишь? Вот мы и остались. Мы — это мать, сестра старшая, Клава, да я, да оп вот — Серега, да маленькая сестренка Женичка. Ну сначала все вроде ничего было. Немцы наступали, им было не до нас.

— Они корову у нас увели, забыли? — вмешивается Сережа.

— Ну, конечно, корову увели, боровка, курей слопали, — про это я не говорю. На те они и немцы. Но потом, когда фронт от города отошел, привалили к нам эти их эсэсы. Вот тогда-то они за нас и взялись. И обыски, и облавы, и так людей на улицах ловили. Схватят, потом всех в кучу, да в машину, и увозят. Говорят: в тыл возим опасных людей. А какой там тыл! Потом, когда их солдаты на базаре стали старые вещи и барахло всякое гражданское на сало да на муку менять, все и открылось. Те, кто менял, увидели на этом барахле кровь. Кто-то даже и одежду узнал. Ну, тогда и поняли, что возят людей не в какой-то тыл, а как расстрел.

— Тысяч десять, говорят, расстреляли, — вздыхает Сережа, но брат обрывает его.

— Погоди. Сколько расстреляли, точно мы не знаем, и никто наверно, кроме немцев, не знает. Но только много. Целыми грузовиками увозили. Немцы говорят, что коммунистов и партизан возят. А какие тут коммунисты. Вот у нас на улице Спартака все семейство Гороховых увезли. А разве Гороховы партизаны? Сам-то Горохов до самой войны в церковь ходил. А увезли потому, что от немцев вместе с депо эвакуировался, а немцам кто-то и сказал. А Соловйиху? Эта и вовсе старая была. Так ее расстреляли за то, что она не дала своему квартиранту-немцу ковырять фотографию ее сына, лейтенанта.

Потом немцам это надоело, вроде попри- тихли. Но кто-то ночью сжег у них стояв-

шую во дворе автоцистерну с бензином. И опять пошло! А ту улицу, на которой цистерна сгорела, всю как есть дочиста спалили.

В конце первой зимы в городе начался голод. Все, что было у людей, съели. Немцы ничего не дают. На рынок никто не едет, да и какой дурак поедет, когда немец — он все так берет. Вот и пошло, и пошло людей косить! Особенно по окраинам. Целыми семьями умирали, а хоронить некому. И так все еле-еле юги таскают. Вот и лежали покойники в домах, кого где смерть застала. Идешь по улице, видишь — к дому тропинку снегом замело, окна побелели — замерзли. Значит, готово дело — все померли. У нас через улицу жена сцепщика Васильева жила с двумя малышами. В середине зимы они померли, да так до весны и лежали у себя в доме на кровати. Ну, конечно, когда весной покойники оттаяли, подальше, из домов стало нести, — немцы взялись за похороны.

— Да не немцы, какие немцы! Они пленных наших пригнали и заставили по домам мертвых собирать, за город вывозить и жечь, — солидно поправляет Сережа.

— Это правильно, у них порядок такой. Как тяжелое или опасное дело, так сейчас русского пленного под конвоем ведут. Они, говорят, и дорогу на Брянск так разминировали: впереди гонят пленных толпой, а сзади грузовик с песком едет. Пленного-то им не жалко, а грузовик жалко. Но не об этом речь, — продолжает рассказ Володя. — Словом, эту зиму мы кое-как протянули, и все живые остались. Лето тоже прошло ничего. Да летом легче. Летом трава, и кислица, и крапива, и лебеда — все это у матери в дело шло. А там грибы, ягоды, да и на огороде урожай поспевать начал. А тут новая напасть. Приходит к нам наш квартальный — была тут одна колченогая сволочь, русский, да не лучше немца — и приносит Клаве посылку: с бельем и вещами явиться на вербовочный пункт. И до этого многих из города в Германию угоняли. Мимо нас их на Брянский вокзал везли под конвоем. Идут, бывало, с узелками, плачут. Вы думаете, девчата только плакали? Нет и парни, взрослые мужики. Идут и режут, кричат: «Прощай, Орел». А то раз за одной такой партией провезли ребят и девушек связанными — целый грузовик. Это те, что добром идти не хотели. Так связанных в вагон и побросали, что дрова.

Да, так вот, дошла эта беда и до нас. Мать и Клава весь день плакали. Потом мать собрала Клаве узелок, перекрестила ее на

дорогу. «Беги, — говорит, — дочка, можешь спастись, а не спасешься, лучше от пули помереть, чем в неволе». И Клава убежала ночью. Мы с Сергеем удивились. Ведь тихоня была всегда, все возле мамы да возле мамы, а тут откуда что взялось. Не побоялась, убежала. На утро заходит соседка, заплаканная: так и так, Клаву вапу часовой поймал, — видели, как веди в комендатуру. Потом через несколько дней является колченогий, требует десять марок на похороны. На какие похороны? — «Да вот, — говорит, — ваша дочка повесилась».

Уж потом кто-то матери говорил, будто в комендатуре били ее розгами и будто даже над ней снасильничали, но это мы не знаем, потому никто после этого ее не видал. Так и пропала наша Клава. А хорошая была, в маму, тихая, и все, бывало, чего-нибудь да делает.

Голос у Володи сорвался, зазвенел, подбородок поворобила гримаса, нижняя губа задрожала, он быстро прикусил ее, отвернулся, потом пересилил себя и заговорил даже как будто сердито:

— Ну, что там размазывать. Разве мал людей немец убил? Ну, а в конце этой зимы заболели мама с Женичкой. Лечить их немец, а по правде сказать, и покормить немец. Лежат обе, потом обливаются, бредят нивесел что. Мама все Клаву звала, а Женичка кричит: «Немец! Немец!» Ну, мы с Сергеем ходили по городу, побирались, кое-чем их кормили. А им все хуже. Тут колченогий узнал, что в доме больные. «Сходите, — говорит, — в районную комендатуру, пришлют врача». Я бы нишчем не пошел. У меня как сердце чуяло. А вот этот вот, Серега почтенный ходит за мной и скулит: «Сходи, да сходи померет мама без врача, сходи». Ну и выскочил. Я сдуру пошел. И верно, врача прислали ихнего, военного. Приехал он в мою циклетке. Посмотрел больных, все чин-чинно «Сынпой, — говорит, — тиф, — дал какие-то капли, — дайте на ночь, полегчает». А с такой с виду ничего, добрый, в очках, у него учитель такой в ФЗО был. Я еще подумал вон он какой, — значит и среди немцев люди попадают. Вечером дал я маме и Женичке эти самые капли. Своей рукой поднес. Никогда я себе этого не прощу. Сначала верно, мать с Женичкой с этих капель сразу утихли, заснули. Ну, думаю, хорошо. А утром просыпаюсь — обе холодные. Отравил немец, моей рукой отравил! И, главное, интересно: немцы знали, что они помирают. Утром еле рассвело, а от них, без всякого зова, уж крытый грузовик приехал — и

вых забрать. Потом из дому нас выгнали, дом заколотили и зажгли. Колченогий говорит: «Санитария, чтобы зараза кругом не пошла...» Вот тебе и немецкое лекарство!

Володя некоторое время молчит, покусывает губу. Липо его горит тяжелой ненавистью.

— И поселились мы с Серегой в траншею за домом,— продолжает он свой рассказ.— Траншею еще батя вырыл в начале войны. В этой яме и прожили до самого этого лета, благо картошка-то у нас в земле была закопана и не сгорела. Ну, а дальше что вам рассказывать? Сами знаете, на фронте бои начались. Мы-то о них узнали потому, что наши самолеты начали вокзалы бомбить, да еще потому, что немцы вдруг стали грузы грузить на Брянском вокзале. Ну, думаем, наши идут! Повеселели все. А тут новая напасть. Стали немцы народ в Германию угонять. В прошлом году угоняли по выбору — тех, кто помоложе да крепче. А тут стали без разбору, и таких вот мальчишек, как мы, и стариков. Что только было! Пошли по улицам облавы. С собаками ловили. Кого поймут, сейчас на вокзал, в вагоны. Проститься ни с кем не давали, так с ходу и увозили.

Мы с Серегой целые дни из своей ямы не вылезали, она крапивой заросла, лопухом. Ну, думаем, чорта с два нас здесь пайдешь! А ведь пашли. Должно быть, тот колченогий чорт на след повел. Утром мы еще спали, а немец к нам в окоп и трясет: ком, ком... и пошли. И пришли в лагерь, за проволоку. Сот пять людей тут эшелона дожидалось. Вот тут-то мы с Серегой и завывли. Убежать — как убежишь? Проволока сажени на две вышиной, по углам будки, в будках часовые, у часовых пулеметы. Чуть к проволоке подойдешь — тра-та-та, и нет. Ревели мы весь день. Да что мы, — взрослые мужики и те ревели, кому охота под немца. А что делать?

Утром мы узнали, что несколько девчат втихую с собой покончили, перерезали бритвой жилы у локтя, так кровью и истекли. Я подумал: может и верно, этак вот бритвой — раз и все. А потом, думаю, чорта с два, наши-то совсем близко, может, как убежать удастся. Тут вот, у этого братишки у моего, у Сереге, мысль появилась. Костры нам днем разрешили развести. Он разводил, на руку себе и обжег. Бежит ко мне и говорит, что если руки нам съесть, куда мы немцам нужны инвалиды?!

Руку съесть? Ладно, хорошо! Мне это понравилось. Только надо скорее, пока эшелон не подошел. Попросил я девчат вокруг костра встать потеснее да, чтоб слышно не было, песню запеть. И сунул я руку в самые угли. Сунул — и назад. Чуть не заорал — уж очень больно. Только кожу опалил. Ох, думаю, неужели у меня не хватит духу. И вспомнил я тут все — и Клаву, и немецкие капли, и маму с Женичкой. Неужели после всего этого к немцам поеду? Ни в жисть! И опять руку в костер, и держал должно быть с минуту, пока в глазах не позеленело. Аж жареным мясом запахло!.. А этот вот, Серега почтенный, вдруг сдрейфил.

— Ничего я не сдрейфил, — покраснев до ушей, говорит Серега.

— Ладно, ладно! Сам плачет: не могу, боюсь. Ты, говорит, меня силком — рот зажми, чтобы я не кричал и силком. А как его силком, если у меня теперь только одна рука. Говорю девчатам: «Пой веселей!» Те кричат во все горло, а у самих слезы в три ручья. Ну, лег я на Серегу, собой ему рот зажал, руку его в костер вытянул и подержал... Так вот и стали мы, братья Волковы, инвалидами. Перед погрузкой поглядели на нас какие-то офицеры, не то полицей, залопотали чего-то: хент, хент. Потом дали нам по затылку: катитесь, куда хотите, на кой дьявол вы нам, инвалиды! Ну, и пошли мы на восток. А руки наши — вроде проуска. Нам немец: хайт, — а мы ему руку в нос: дескать, калеки, по миру идем. Так ночью к вам и пришли. Вот и все дело... Не свернешли кто, товарищи, покурить.

Володя смолкает, прижимая к груди большую руку и раскачивая ее бережно, как хворого ребенка. Потом оба брата жадно затягиваются заботливо зажженными для них папиросами, в палатке наступает молчание.

— Муций Сцевола! Вспомни, Муций Сцевола, — вот как звали того героя древности! — вскрикнул врач и задумчиво добавил: — Но ведь то был зрелый муж, а это, видите...

В палатке настает тишина, потрескивает табак в цыгарках, шелестит по мокрому полотну дождь, где-то далеко, как гром прошедшей грозы, перекатываются отзвуки канонады. Обожженный танкист бредит в углу палатки:

— По фашистской сволочи очередь... Проверной башенный... Не уйдешь... врешь, не уйдешь.. Очередью, осколочными, не уйдешь!..

Салют

Сегодня мальчишки бежали, крича:
— Ракета! Ракета! Ракета еще!..—
Еще один город лучом освещен,
От вражьего ига — от смерти спасен!
И день салютует высоким лучом —
День скорби днем гнева и славы
отмщен!..

* * *

Я видел, как остановился слепой
И крикнул: «А ну-ка мне песню запой,—
Не ту, что певала в младенчестве мать,
Укладывав и баюкая — спать,
А ту, что вела меня в праведный бой,
И я с нею рядом пойду за тобой».

Я видел, как выбежала на балкон
С ребенком кудрявым, смеющимся мать,—
И мальчик стремился руками поймать
Одну из семи рассыпавшихся звезд.
Дитя, то разряд освежающих гроз,
То дождик весенний, что счастье принес...

* * *

Мальчишки бегут и кричат мне: — Салют!
Ты слышишь, как наши их гонят и бьют!
И день, будто зрелость,
В Москве — золотой,
Улыбкой победы,
Как мы, залитой.

Рабочая блуза,
Армейский погон,—
Вся грудь в орденах,—
Пролетает вагон.

Ракет ордена рассыпает Москва.
Еще один город!
Нет, слушайте,— два!..
Бежит детвора из другого двора,
Как крылья вспорхнувшие.
— Киев! Ура! —
Пошло то от Белгорода и от Орла,
Дойдет, побратим, до родного села.

* * *

Видны тополя
На холме на крутом,
Где млин¹ лишь с одним
Раздробленным крылом

¹ Мельница — по-украински.

Стоит на кургане,
Как старый орел:
Врагами изранен,—
Стирает он кровь,
Но, плечи расправив,
Сердит и суров,
С друзьями-ветрами
Он шепчется вновь.

Летит мое сердце
Туда — за орлом,
Лежит мое сердце
Под этим крылом.

* * *

Где Девой Обидой
Насыпан курган,
Там битва за битвой
Сметает врага.

* * *

История впишет
В свой огненный стих,
Как тело Гастелло
В бессмертье летит.
Истории суд —
Тот торжественный зал,
Раскаты орудий
Грохочут — грозят.

Пусть эти раскаты
И этот салют,
Что радуют нас,—
Врагов наших бьют...

Пуškai эти звезды,
Что ловит малыш,
Железо сорвут
С провалившихся крыш
Берлинцев и мюнхенцев,
Гансов и фрицев!
Сыпь гневные грозды салютов,
Столица.

* * *

Отпы к пепелищам
Своим прибрели:
Смотри, как их лица
страшны и белы:
Ведь дом их так грустен,
Следы лишь золы,
Лишь трубы да трупы
Детей и жены...

впоякоренным, это значит сопротивляться, а значит бороться до конца, до победы.

Наши бойцы на фронте на боевом опыте убедились, что сохранить жизнь легче всего в ожесточенном сражении. Наши советские люди, временно попавшие в условия фашистской неволи, убеждаются в том же: сохранить жизнь можно только в борьбе, не отступая и не сдаваясь, не покоряясь и не жертвуя ни одним из тех высоких принципов, на которых воспитала советский народ большевистская партия.

* * *

Повесть Бориса Горбатова — чудесная поэма о душевных качествах советского человека, величину которого удивляется весь мир. Теперь не только наши друзья, но и наши враги начинают понимать, что означает великая Отечественная война со-

ветского народа против немецко-фашистских захватчиков. Это война, в которой сражаются не только вооруженные армии, но и безоружные люди, сражаются не только на фронтах, но и в тылу, бьются не только силой оружия, но и силой своего высокого морального духа. Совершенно правильно охарактеризовал эту сторону нашей всенародной войны сын Тараса Андрей, когда он после беседы с Настей с удивлением и даже завистью подумал: «А они тут свою войну с немцами ведут: малую, конечно, войну, но гляди-ка, какую непримиримую».

В этой непримиримой борьбе — большой и малой — всех советских людей, больших и малых, победа останется за нами.

Этому заставляет глубоко и страстно верить замечательная, подлинно-патриотическая и боевая книга Бориса Горбатова «Непокоренные».

Книга о Суворове¹

Показать многогранность облика Суворова и раскрыть глубоко народное содержание его военного искусства — вот цель, которую ставил себе автор очерков, объединенных заглавием «Солдат-полководец».

В своих построениях автор исходил из двух совершенно правильных принципов: он рассматривает великого полководца исторически, то-есть, в неразрывности связей не только с его современностью, но также с предыдущим и последующим временем, а в образе Суворова видит органическую слитность черт полководца и человека, — притом ярко выраженного русского человека.

«Горжусь, что я русский», — часто говорил Суворов, и К. Пигарев взял это изречение в качестве эпиграфа к очерку «Слава и честь русского оружия», посвященного характеристике военного искусства Суворова как национального явления.

Наследие мировой военной мысли было во всей полноте усвоено Суворовым, но ближайшим его учителем и предшественником был Петр I, «редкий, чудесный смертный», в голове которого вмещались «сверхчеловеческие силы», «первый полководец своего века», — как говорил Суворов.

Принципы, положенные Петром в основу строительства армии, воспитания войск, и опиравшегося на эту базу военного искусства, были глубоко национальны. Они проистекали из исторического опыта и правильного понимания особенностей русского воина.

Петр всемерно стремился к развитию личности солдата, его сознания, чувства чести и достоинства. «Солдат есть имя общее, знаменитое, — говорил он, — солдатом называется первый генерал и последний рядовой». От каждого солдата, так же как от себя самого, Петр требовал стремления «жить для пользы и славы государства и отечества не жалеть здоровья и самой жизни для общего блага».

В период правления ближайших преемников Петра, когда распространилось слепое подражание Западу, а хлынувший в Россию поток немцев оставил по себе мрачную память — «бироновщины» и «миниховщины», — из солдата стремились «сделать машинку, а обучение свели к механической муштре. Национальные принципы военного искусства Петра, его оценка армии и солдата, его военно-воспитательная система, были забыты.

Возрождение здоровых основ русского военного искусства началось в условиях Семилетней войны; талантливым сторонником их выступил тогда будущий фельдмаршал П. А. Румянцев. В этой школе начал складываться и полководческий облик Суворова, который в своей дальней-

шей деятельности не только воскресил и развил и поднял на высшую ступень начала, заложенные в русском войске Петром I.

Составлением ряда высказываний Петра и особенно статей его «Устава воинского» (1716 г.) с положениями суворовских приказов и «Науки побеждать» (1796 г.) К. Пигарев убедительно показывает не только сродность, но и прямую преемственность военных принципов Суворова и Петра I.

Глубоко и правильно понимая сущность психологии русского человека, оба полководца сумели выработать целесообразную военно-воспитательную систему, развивавшую в солдате присущие ему качества самоотверженности, индивидуальны, стойкости, боевой товарищеской спайки, смелости, активности и дисциплинированности. В соответствии с петровским требованием: «надеясь на мир, не ослабевать в военном деле», Суворов обучение войск подчинил исключительно интересам войны, по принципу: «готовься в войне к миру, а в мире к войне». В результате военно-воспитательной и учебной системы Суворова войска его по своим моральным и техническим качествам стояли на исключительной высоте.

Уровень солдата и армии отвечало опиравшееся на эту базу военное искусство Суворова. Сочетание решительности и осторожности характеризует его так же, как и искусство Петра. Цель, которую оба полководца ставят себе, — это истребление живой силы противника. Их стратегия и тактика таким образом могла быть только активной. Но в методах осуществления своих военных задач Суворов ушел далеко вперед по пути, намеченному Петром, создав совершенную систему русского военного искусства, жизнеспособность основ которой не поколебало время, отделяющее нас от поры Суворова.

Решительное действие в главном направлении — «глазомер, быстрота и натиск», внезапность, смелость, стремительность нападения, последовательность ударов, вплоть до полного уничтожения разбитого врага в преследовании — характеризует военное искусство Суворова. Он выступает как непоколебимый и исподражаемый мастер наступательной тактики. Армия его стремительно движется вперед, внезапно является перед противником, смело, решительно и с неизменным успехом атакует и громит его.

Однако при всей яркости суворовского стремления к наступательным действиям великий полководец отнюдь не считал недопустимым пользоваться отступлением. «В том и состоит военное искусство, — писал он в 1799 году в одном из предписаний генералу Краю, — чтобы во время отступить, без потери... уступленный пост можно снова занять, а потерю людей невозвратима».

¹ Кирилл Пигарев. «Солдат-полководец». Очерки о Суворове, Гослитиздат, М., 1943, 163 стр., цена 4 руб.

Когда Суворову в самом конце его полководческой деятельности в героическом Швейцарском походе пришлось действовать в условиях, где наступательные операции оказались невозможными, он, при всей своей ненависти к отступлению, сумел осуществить его с таким блеском и доблестью, что эта его отступательная операция по справедливости занимает место в ряду его самых величайших побед.

Но и в тех немногих случаях, когда Суворову приходилось прибегать к обороне, оборона эта была в высшей степени активна. В Швейцарии, в тягчайших условиях полного окружения, суворовские войска во время своего отступления не только сдерживали напор нападавшего на них врага, но постоянно переходили в штыковые контратаки, которыми далеко отбрасывали врага, вводя его в заблуждение относительно своей численности. Естественно, что отступление мыслилось при этом как маневр, вынужденный обстоятельствами, как этап в переходе в сокрушительное наступление. «Суворов оглядывается назад, но не с тем, чтобы бежать, а чтобы напасть», — цитирует Пигарев слова Суворова.

Со своим блестящим «глазомером» Суворов идеально ориентируется во всей сложности меняющейся обстановки, учитывает все многочисленные факторы, ее слагающих, и никогда не опаздывает ни на мгновение. Он придает величайшее значение способности уловить нужный момент и в высшей степени обладает этой способностью.

«Все кампаний различны между собой», — говорил Суворов; и для каждой из них, так же как и для каждого сражения, он находил оригинальное, точно отвечающее требованиям момента решение.

Военное искусство Суворова не было статичным: он постоянно развивал его «непрестанной наукой и непрестанной практикой». Вот почему «Суворова-полководца необходимо изучать в его эволюции», — пишет Пигарев.

Внимательный разбор указанных положений позволил автору рецензируемой книги протянуть от Суворова нити в последующий период русской военной истории, и прежде всего к величайшему из представителей этого времени — М. И. Кутузову. В нем, так же как и в его сражениях, раскрывает автор прямых продолжателей, а не подражателей Суворова, творческие силы елиной русской национальной военной школы. «Ярче всех сверкает планета звезда этой плеяды — Суворов», — творит Пигарев, — но и мерцающие вокруг большие и малые светила горят своим, а не отраженным блеском».

* * *

Не менее интересен второй очерк «Герой Суворова», где автор, исследуя идеальный образ полководца, обрисованный Суворовым в письмах к А. Карачаю и П. Скрынничу, устанавливает автобиографическое значение этих документов. Справедливо отмечая, что Суворов-человек и Суворов-полководец составляют неразрывное органическое единство, как это

отметил сам фельдмаршал в своем письме (1794 г.) к графу Дукато, К. Пигарев дает яркую характеристику Суворова, в которой его личные качества выступают как качества воина и полководца. Автор приводит известную латинскую поговорку «Poetae nascuntur, oratores fiunt» («поэты рождаются, а ораторы делаются»), по поводу которой Суворов сказал: «Жаль, что нет на латинском языке и этой: «Одни генералы рождаются генералами, а другие делаются». Имелось ввиду прирожденным полководцем был Суворов.

Материалы, собранные и умело соединенные автором, ярко показывают эти прелетающие из человетческих — полководческих качества Суворова, которые он развивал в себе на протяжении жизни. Вот образ, который Суворов принял для руководства воспитанием собственного «я» и который рекомендовал всякому офицеру: «Герой, о коем идет речь, весьма смел, но без запальчивости, скор без опротечивости, деятелен без легкомыслия, подчинен без униженности, начинающий без самонадеянности, победитель без тщеславия, честолюбив без кичливости, благороден без гордости, непринужден без лукавства, тверд без упрямства, скромн без притворства, основателен без педантизма... Решительный, избегающий колебаний, он предпочитает вдумливый рассудок остроумию... честь и честность составляют его достоинство... В день сражения или в походе он все полагает на весы, все обдумывает и совершенно препоручает себя провидению; он никогда не увлекается стечением обстоятельств, но подчиняет их себе, действуя всегда по правилам своей неусыпной прозорливости».

Нельзя не согласиться с Пигаревым, что этот созданный Суворовым образ героя — не только литературный опыт характера, но и верный психологический автопортрет Суворова. Для полноты образа его следует дополнить чертами, отмеченными Суворовым в письме к Карачаю и остающимися прямым указанием всякому вообще офицеру: «Непрестанное изощрение глазомера делает тебя великим полководцем: умея пользоваться местоположением; будь дерзлив в трудах военных; не поддавайся унынию от неудач; предупреждай обстоятельства истинные, земительные и ложные; остерегайся неуместной запальчивости».

Никогда не презирай своего неприятеля, как бы он ни был, знай хорошо его оружие и способы обращения с ним; знай, в чем заключается сила и в чем слабость врага.

Приучайся к неутомимой деятельности, повелевай счастьем, ибо одна минута рождает победу. Покоряй себе эту минуту с быстротой Цезаря.. будь неуныным в том, чтобы твои войска никогда не испытывали недостатка в пропитании».

В тех же письмах Суворов настойчиво рекомендует какому офицеру, желающему быть полезным на своей должности и достигнуть успехов и положения полководца, непременно расширять круг своих знаний в области не только специальных, но и общих наук. Сам Суворов являлся в этом от-

являлись живым примером. Круг его научных интересов и чтения был исключительно широк. В его скупом походном багаже всегда были книги; в периоды менее напряженной военной деятельности он внимательно следил не только за русской, но и за всей мировой литературой. Он владел восемью языками и до последних дней жизни не переставал в них совершенствоваться. Он был не только великим знатоком военных теорий и военной истории, но обладал также громадными знаниями в области географии, живо интересовался вопросами филологии, художественной литературы и в особенности поэзии. «Историю древнюю и новую цитировал он с памятью исключительной. Поистине он был чудом образованности», — записал Лавверн, один из первых биографов Суворова. Беседа Суворова с лордом Клинтонем произвела на последнего такое впечатление, что он охарактеризовал фельдмаршала, как лучшую военную академию.

Все эти качества замечательно сочетались в Суворове с его народным, солдатским духом, выражавшимся в органическом соединении с солдатской массой. Автор рецензируемой книги прав, называя Суворова «солдатом-полководцем». «В продолжение полувека я солдат», — говорил о себе фельдмаршал, и подчеркивал это всем своим поведением. Суворовый жизненный режим, который выпадает на долю солдата в походе, Суворов сохранял до последних дней своей жизни, даже в период предсмертной болезни. «Я солдат», — отвечал он врачам в ответ на требования изменить этот режим. «Вы генералиссимус», — возражал ему лейб-медик Вейкарт. «Правда», — отвечал Суворов, — но солдат с меня пример берет».

Глубоко народный характер, который отмечал Л. Н. Толстой в Кутузове, был в высокой степени присущ Суворову. «При всей своей сложности, он прост в своем героизме и героичен в своей простоте», — формулирует Пигарев. А ведь эти его черты — черты глубоко народные, отличительные и отличающие русского человека на всем протяжении его многовековой истории.

* * *

По выразительности, точности, сжатости несравненен язык суворовских приказов. В нескольких строках тут дается все: и цель операции, и принципы ее осуществления, и моральное возбуждение войск к предельному делу. «Неприятельскую армию взять в плен», — начинается один из приказов Итальянского похода. «Быть стремительно вперед, маршируя без ночлегов. Ночное поражение противников доказывает искусство вождя пользоваться победой не для блистания, но постоянства», — пишет Суворов в приказе по войскам Кубанского корпуса.

Большой интерес представляет исследование языка частной переписки Суворова. Очень разнообразный и меняющийся, в зависимости от корреспондента, он, несмотря на обильную примесь выражений,

типичных для насажденного Петром официального языка, в основе своей глубоко народен.

Именно этот народный русский язык Суворов поощрял и любил, как немалую из его современников. Пигарев удачно приводит по этому поводу выдержку из сообщения Е. Фукса, слышавшего от фельдмаршала высказывания «о богатстве нашего алфавита», «о богатстве русского слова». «Славянский язык, происходящий от славы, — говорил Суворов, — есть наш Перу, но к сожалению бросили мы открывать сокровища».

Как свидетельствуют современники, Суворов был неподражаемым мастером живого слова, и всякое обращение его к войскам было, по словам Багратиона, «речью военного, красноречивого, великого оратора», производившей неотразимое действие и на офицеров и на солдат. Некоторые из подобных выступлений полководца в особенно важные моменты его боевой истории, хотя и не в полном, и, возможно, искаженном виде, — сохранили нам записи современников. Но Суворов говорил с войсками и повседневно. Почти каждое из учений, проходивших под его руководством, он заканчивал краткой речью, в которой подробно разъяснял сделанные во время учения ошибки или смысл удачных действий. Это было обучение основам тактики.

* * *

Книжка К. Пигарева — прекрасный вклад в нашу литературу о Суворове. Созданная на основе внимательного изучения обширного, часто малодоступного и полузабытого материала, она хорошо документирована, а выработанные автором положения четки и убедительны. К. Пигарев изучил и показал Суворова не изолированно, а в его исторической среде и внутренних связях с предыдущим и последующим временем. Он ярко обрисовал органическое соединение Суворова и его искусства, с одной стороны, с Петром I, с другой, — с Кутузовым, его соратниками и преемниками. В своих очерках Пигарев показал Суворова и как полководца, и как человека, — причём ярко выразительно русского человека, а его военное искусство раскрыл как национальное русское военное искусство, основы которого сохраняют всю свою действительность и для нашего времени.

Особенно интересен первый в советской литературе опыт изучения языка Суворова, представляющий высокий интерес для более полного и совершенного представления о великом русском полководце.

Задача автора — дать разностороннюю характеристику Суворова — выполнена с несомненным успехом. Книга написана хорошим, ясным языком; она будет прочтена с пользой и интересом, а обрисованный в ней образ русского военного гения XVIII века будет воспринят как близкий, родственный и побуждающий к подражанию.

Пером и мечом¹

«Война и мир» Толстого и «Бородино» Лермонтова — вот два классических произведения, которые первыми приходят на память, когда вспоминаешь, кто из русских писателей и в каких произведениях всего ярче отразил 1812 год. Можно смело утверждать, что ни один роман в первое полугодие со дня нападения фашистов на нашу родину не читался у нас с таким напряженным вниманием и патриотическим подъемом, как «Война и мир». И ни одно стихотворение не имело такого действительно агитационного значения для наших бойцов в октябре — ноябре 1941 года, как строфы из «Бородина» с призывом: «Ребята, не Москва ль за нами. Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали».

Вполне понятно, что 1812 год в творческих воссозданиях Льва Толстого и Лермонтова, заслонил для нас поэтические отклики и живые свидетельства его современников, как вообще художественная литература середины и второй половины XIX в. заслонила прошлую предпушкинскую эпоху. Если спросить, какое отражение в художественной литературе нашел 1812 год у современников, каждый назовет прежде всего «Певца во стане русских воинов» Жуковского, затем, вероятно, несколько басен Крылова, может быть, вспомнят Батюшкова с его посланием «К Дашкову». Вряд ли к этому еще что-нибудь прибавят. А между тем еще залогом во взятия Парижа, в первой половине 1814 года, в Москве выпло в двух томах «Собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 1812 году». Сюда вошли живые непосредственные отклики на войну: оды, песни, сатиры и шутки — произведения, более чем шестидесяти авторов.

Если спросить современного читателя, кто из русских писателей принимал непосредственное участие с оружием в руках в войне 1812 года, каждый, не задумавшись, ответит: «Денис Давыдов». Этот юст-партизан хорошо запомнился. А если спросить, кто еще, кроме Дениса Давыдова, участвовал, ответ последует уже не так решительно и быстро. Назовут Жуковского, затем Батюшкова, может быть, Вяземского и Грибоедова, назовут Федора Глинка, автора «Писем русского офицера».

И только. Кого же еще можно было бы назвать? Кто из старших современников Глинка — самому Пушкину в 1812 году шел тринадцатый год — записал родину Наполеона? Об этом рассказывает С. Н. Дурылин в своей интересной книге «Русские писатели в отечественной войне 1812 года». «В этой книге, — говорит автор, — речь идет о писателях, участвовавших в войне 1812 года не только пером,

но и мечом, а также о тех писателях, которые, не сражаясь на поле брани, сумели заострить свое перо до остроты разящего меча».

К этой второй категории Дурылин относит адмирала Шишкова и Крылова. Манифесты, писанные Шишковым, имели, по мнению автора, положительное значение в деле мобилизации масс на борьбу с иностранным нашествием. По свидетельству С. Т. Аксакова, они действовали «алектрически на целую Русь». О Крылове говорится: «Басни Крылова, поддерживавшие Кутузова как народного вождя, имели неслыханный успех в армии и широких кругах общества. В басне «Волк на исарне» Крылов поставил лицом к лицу «седого ловчего» Кутузова с «серым зоблякой» Наполеоном. Вся Россия — в том числе сам Кутузов — повторяла наизусть конец басни: «Ты сер, а я приятель сед».

Все это более или менее известно всем еще со школьной скамьи. Главный интерес книги в том, что в ней дана галерея писателей — около тридцати имен — непосредственных участников войны 1812 года, и автору удалось показать патриотический энтузиазм, охвативший русских писателей в 1812 году.

Во главе их стоят два брата-патриота: Сергей и Федор Глинка. Ставший — Сергей Глинка был «давным и убежденным» врагом Наполеона. Первым начал с ним борьбу пером, он первый же поднял против Наполеона и меч: еще в 1806 году после Аустерлица он вступил в ополчение. В годы «союза» Александра I с Наполеоном, когда вышее общество преломилось неудержимой галломанией, Сергей Глинка повел упорную борьбу за пробуждение интереса к героическим событиям русской истории. Он писал патриотические поэмы и трагедии, а в 1806 году, предвидя неизбежность решительного столкновения с Наполеоном, начал издавать журнал «Русский вестник» для возбуждения духа народного против Наполеона. По словам П. А. Вяземского, Сергей Глинка «рожден был народным трибуном». Когда в 1812 году объявлен был призыв в ополчение, Сергей Глинка в 5 часов утра явился к московскому главнокомандующему, графу Ростопчину, и ему удалось первым записаться в ратники, чем, повидимому, впоследствии он очень гордился. Свои воспоминания о войне он назвал «Записки о 1812 году первого ратника московского ополчения».

Младший брат его — Федор Глинка — участвовал в войне с Наполеоном в 1805—1806 годах. После Тильзитского мира он усиленно занялся литературной деятельностью. Война 1812 года застала Ф. Глинку в его имении в Смоленской губернии. Он бросил имение и поступил

¹ С. Н. Дурылин. Русские писатели в отечественной войне 1812 г. М. «Советский писатель», 1943, 122 стр. Цена 3 руб.

добровольцем в русскую армию, отступавшую к Бородину. Он принял участие в в заграничном походе 1818 года. Большую популярность приобрели его «Письма русского офицера», выпущенные отдельным изданием в 1815—1816 годах, а много лет спустя, по случаю открытия в 1839 году памятника на месте Бородинской битвы, он издал «Очерки Бородинской битвы».

Основная мысль и в «Записках» Сергея Глинки и в «Письмах русского офицера» Федора Глинки приблизительно одна и та же: не усилия правительства, не столько искусство полководца, не мастерство дипломатов, а единодушный и повсеместный народный отпор был причиною гибели Наполеона. В противоположность большинству историков 1812 года, у которых история войны превращалась в историю генералов, ее ведших, Глинка любовно выискивает и тщательно отмечает в своих «Записках» все факты, в которых особенно ярко проявляется основная особенность войны 1812 года, что ее вел и довел до победы народ. Если русский народ является героем повествования Сергея Глинки, то героиней является Москва, принесшая себя в жертву за народное освобождение.

В главу о С. Глинке Дурьлин ввел интересные характеристики двух молодых русских ученых — друга Жуковского, талантливого профессора Дерптского университета Андрея Кайсарова, и будущего знаменитого слависта К. Ф. Калайдовича. Тот и другой в 1812 году оставили науку и поступили в армию. В 1813 году Андрей Кайсаров был убит в Германии при взрыве порохового погреба. Калайдовичу Сергей Глинка помог поступить в ратники ополчения.

После Сергея Глинки наибольшее внимание автор уделяет Денису Давыдову. По словам С. Н. Дурьлина, «Давыдов раньше других понял отличие войны 1812 года от прежних войн с Наполеоном». Он понял ее народный характер и захотел отдать все силы именно народной войне. За пять дней до Бородинского сражения он сообщил Багратиону свои мысли о партизанской войне и, поддержанный Багратионом, стал первым организатором партизанских действий в ближайшем тылу неприятеля.

Позднее Наполеон в своих мемуарах отрицал какое бы то ни было значение партизанской войны. Прочтав это, Давыдов издал особой книгой «Разбор трех статей, помещенных в записках Наполеона» (1825). Дурьлин придает этому разбору большое значение и приводит из него ряд выдержек.

«Давыдов-писатель избирает против Наполеона оружие не менее смертоносное, чем Давыдов-партизан против его армии в 1812 году, — он решает опровергнуть падшие на партизанов наших нарекания доказательствами, которые были бы основательнее нареканий...» Давыдов постарался отыскать их в бюллетенях французской армии.

«Он поставил Наполеона лицом к лицу перед свидетельскими показаниями его генералов, маршалов и... самого Наполеона...» В литературной своей схватке с Наполеоном поэт-партизан одержал над ним блестящую победу: никто из биографов Наполеона, никто из историков 1812 года не ответил ни одного из свидетельств, представленных Давыдовым в защиту победной действительности народной войны против великой армии».

В книге приведены цитаты из стихов Пупкина, прославляющих Дениса Давыдова. Таких стихов во славу поэта-партизана было много сложено и при жизни его и после смерти. Укажем также, что известность Дениса Давыдова выходила за пределы родины. Недаром в кабинете Вальтер-Скотта висел портрет Дениса Давыдова. Следует уточнить и напсе представление о нем как о поэте-партизане.

В 1812 году Денис Давыдов не был деятельным поэтом, не написал ни одного стихотворения. В дальнейшем, когда он писал стихи, тема о партизанах занимала скромное место в его творчестве, даже в его военных стихах. Никто из его исследователей до сих пор не обращал внимания, что слово «партизан» ни разу не встречается у него ни в одном законченном стихотворении. Оно есть только в тексте необработанного наброска послания к Жуковскому и в заглавии одного неоконченного стихотворения. О партизанах он писал много, но в прозе, как военный писатель, а не как поэт, в стихах. Таким образом певцом партизанства он не был. Тема партизанской борьбы нашла отражение в творчестве других, например у Неведомского, о котором речь будет впереди.

О военной деятельности Батюшкова, Жуковского, Вяземского и Грибоедова можно заметить, что только первый из них был настоящим военным. Он воевал с Наполеоном еще в 1807 году и тогда же был ранен. В 1812 году он занимал должность хранителя рукописей в Публичной библиотеке в Петербурге, но потом опять поступил в армию, проделал всю кампанию 1813—1814 годов и участвовал в сражениях под Дрезденом, под Лейпцигом и т. д. Остальные трое: Вяземский, Жуковский, Грибоедов — участники ополчения. Под Грибоедова стоял в резервах, Жуковский в Московской дружинной во время Бородинского боя. А Вяземский, который по его собственному признанию был посредственным наездником, никогда не брал в руки огнестрельного оружия, словом, ничего и думал в себе воинственного, участвовал в Бородинском бою, как адъютант Милорадовича. Одна лошадь была под ним ранена, другая убита. За Бородино он был награжден орденом Владимира.

Участниками войны 1812 года были автор «Юрия Милославского» Загоскин и автор «Ледяного дома» Лажечников. Они были тогда начинающими безвестными литераторами, послужили в ополчении, служили адъютантами, также как Батюшков, Вяземский, Федор Глинка и многие другие писатели. Оба были награждены орденом

Загосыня за сражение под Полоцком, где был ранен, Лажечников после взятия Парижа. Свои впечатления, вынесенные из участия в войне, они отразили впоследствии в своих произведениях.

С. Н. Дурылин рассказывает об участии в войне и других еще менее известных писателей. О патетике хотелось бы знать больше, чем сообщается в книге; он как раз принимал большее участие в военных действиях против Наполеона, чем кто-либо другой из включенных в книгу писателей. На военной службе он был с 1810 по 1820 год. Следовало бы упомянуть, что он участвовал и отличился в сражениях при Бородине, Люцене, Бауцене, Кульме и Лейпциге. Интереснейшие сведения сообщаются в книге о приятеле Жуковского — Черовском, известном в русской литературе под именем Антона Погорельского. Он добровольцем поступил в армию и как лихой кавалерист принимал участие в партизанских действиях.

С. Н. Дурылин мастерски умеет привлечь внимание и внушить уважение к забытым именам. Он владеет обширным историко-литературным материалом, обладает даром живого увлекательного изложения.

Увлекательны страницы, посвященные И. Неведомскому, имя которого Дурылин читает делом справедливости «извлечь из забвения». «Чиновник Неведомский, хрой пиита, над которым беспрестанно подругивали товарищи», стал отважным партизаном. Наступил 1812 год, и этот чиновник, мирно писавший басни, нашел в себе силы выйти из-за канцелярского стола и ринуться в борьбу за родину... Он издал свое обращение «К русским на всеобщее вооружение» и сам первый последовал своему призыву. Он поступил добровольцем в казачий полк. «Хромой пиита» стал выделяться своей отвагой в партизанских налетах на французов. Когда отважнейший из партизан знаменитый Фигнер организовал «легion месле» во главе с отборной командой мастеров партизанского дела, в числе этих мастеров оказался и Неведомский. 30 сентября 1813 года небольшой отряд партизан, где находились Фигнер и Неведомский, был окружен врагами и прижат к Эльбе, большинство партизан было перебито. Фигнер и Неведомский бросились в реку, осыпаясь рядом неприятельских пуль. Фигнер пог, не достигши берега. Неведомский был ранен и взят в плен. Освободившись из плена, он продолжал принимать участие в военных действиях и только через шесть лет после взятия Парижа вышел в отставку. Как Денис Давыдов, и Неведомский впоследствии печатал ряд статей о партизанской войне, но несравненно большее внимание уделял партизанам в своем стихотворном творчестве. Он издал несколько книг военных стихов: в 1819 году «Поэтион», а в 1829 г. «Партизаньы». Другая его поэма носит характерное название «Новая Россиада».

С. Н. Дурылин хорошо сделал, что привлек из забвения имя Неведомского. Не безынтересно отметить в партизанских стихах Неведомского такие строчки:

Кто вперед — смерть отплатится,
Кто назад, тот не спасется.

оозвучные популярнейшим в наше время строкам Сурьова:

Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет.

Жаль, однако, что автор, придавая такое большое значение партизанской борьбе, вообще участие народа в войне с Наполеоном, прошел мимо тех, совсем безвестных авторов, которые писали для народа. А между тем, кроме писателей с именами, появилось немало партизан от литературы, которые действовали весьма удачно, а по окончании войны опять уходили в безвестность. Они умели говорить с народом, и некоторые их произведения вошли в фольклор. Назову хотя бы только четырех из них. Отставной солдат Фанагорийского гренадерского полка Никанор Осташев в июле 1812 года, то есть в начале войны, в далекой Вологде, куда известия с фронта не скоро доходили, написал песню: «Братцы, грудью послужите!», которая стала распеваться в войсках и вошла в фольклор. Петербургский чиновник, Иван Кованько, получив известие о взятии Москвы, написал замечательное стихотворение, начинающееся словами: «Хоть Москва в руках французов, это, право, не беда», и кончающееся предсказанием, что русская армия будет в Париже. Это произведение вызвало много шума, автора обвиняли в неуместном хвастовстве, но в массах оно нашло широкую отклик, стало популярной песней. Еще разительней третий пример. Николай Ильин имел успех как драматический писатель. Задолго до войны 1812 года он стал писать драмы в вольном духе и за свою склонность к народному языку подвергся нападкам со стороны блюстителей «хорошего вкуса».

В 1812 году Н. Ильин переключился на более актуальный жанр — солдатские песни, — и его прекрасная песня «Ночь темна была и не меслячна» настолько прочно вошла в фольклор, что многие и не подозревали ее литературного происхождения.

Нельзя не отметить досаднейшей опечатки: в книге 10 портретов и среди них портрет Гоголя выдается за изображение Грибоедова.

С. Н. Дурылин написал хорошую, нужную книгу. — Он показал, как единомышленный патристический порыв охватил «цех пера», и глубоко штатские мастера стали доблестными воинами, а подмастерья написали талантливые произведения. В книге С. Н. Дурылина исторически верно и увлекательно представлена великая традиция патристизма в великой русской литературе.

Содержание

	Стр.
МИКОЛА БАЖАН — Харьков, 1943, <i>стихи</i>	1
АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ — Иван Суханов, <i>стихи</i>	2
ЕВГ. ДОЛМАТОВСКИЙ — Пропал без вести, <i>поэма</i>	3
КОНСТАНТИН СИМОНОВ — Орел, <i>рассказ</i>	10
ДМИТРИЙ ОСИН — Нам долго будут снится, <i>стихи</i>	32
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — Воин, <i>стихи</i>	33
ВИТАЛИЙ ЧЕРНЫХ — Над орлиными гнездами, <i>стихи</i>	33
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Мать и дочь, <i>рассказ</i>	34
ВЯЧ. ШИШКОВ — Емельян Пугачев, <i>историческое повествование</i> (продолженне)	42
НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ — Раздумья, <i>стихи</i>	100
БОРИС ПОЛЕВОЙ — Мы из Орла, <i>очерк</i>	101
ДМ. ПЕТРОВСКИЙ — Салют, <i>стихи</i>	104
В. ЗАХАРЧЕНКО — Застольная, <i>стихи</i>	105

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

А. ПАНКРАТОВА — Советские патриоты	106
Проф. Н. КОРОБКОВ — Книга о Суворове	114
ИВ. РОЗАНОВ — Пером и мечом	117

П о п р а в к а

На стр. 3, в левой колонке
18—19 строка снизу, напечатано:
Руки раскинув, лежал послушно...
Коля в небо смотрел равнодушно.

Следует читать:

Коля в небо смотрел равнодушно,
Руки раскинув, лежал послушно...

Редколлегия: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ПАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРОВ,
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ШИПАЧЕВ, М. М. ЮНОВИЧ (отв. секретарь)

Адрес редакции: Москва, Б. Черкасский пер., 10/2. Телефон К 3-44-22

18-й год издания. А2677. Подписано в печати 27/ХІІ 1943 г
Печ. листов 7¹/₂. Уч.-авт. листов 15. В печ. листе 80640 зн.
Тираж 25 000 экз. Цена 5 руб. Зак. 934

18-я типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР,
Москва, Шубинский пер., 10

